Дм. Фурманов

Дм. Фурманов

2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том второй

МЯТЕЖ

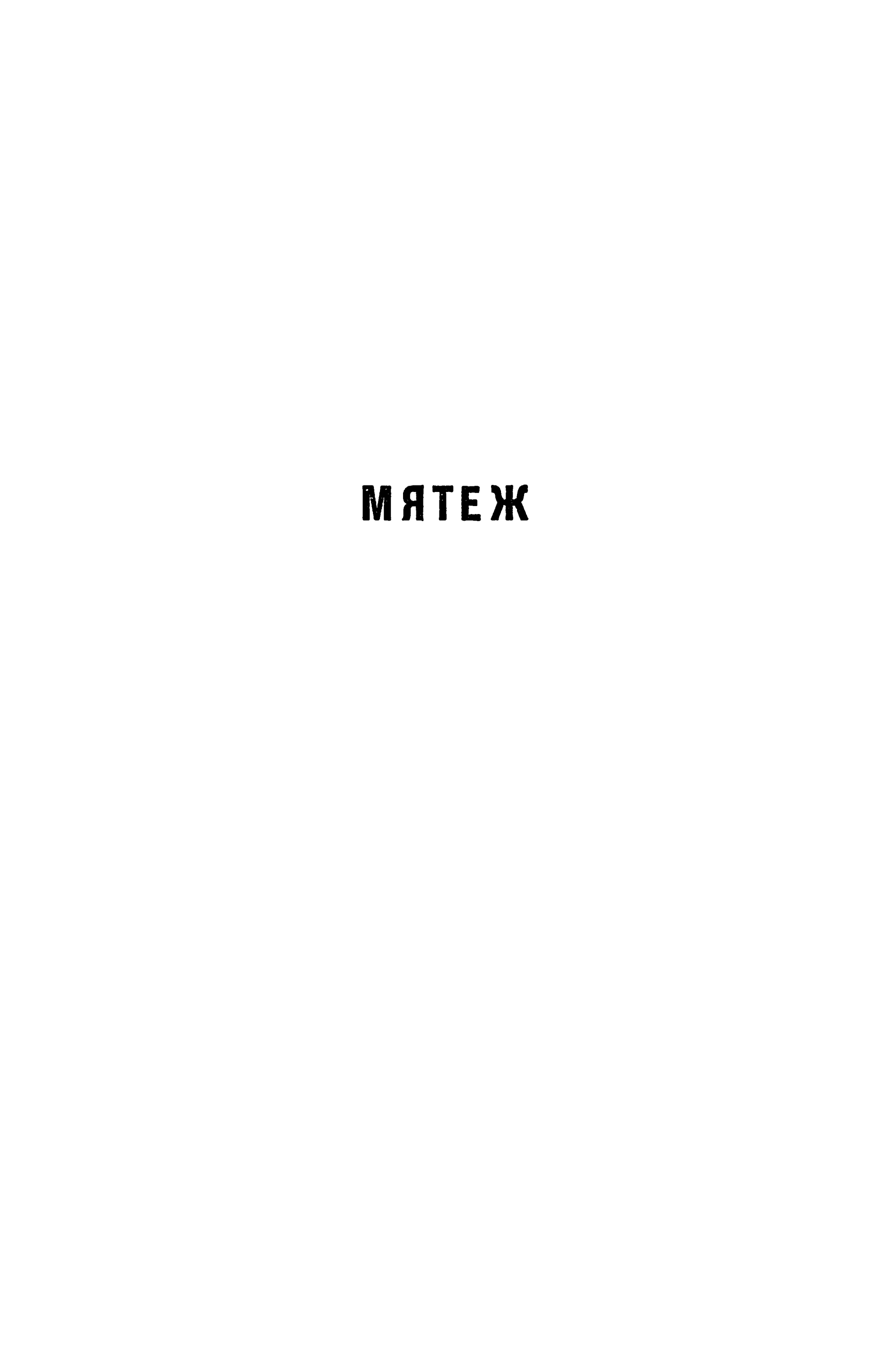
Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Под общей редакцией
А. Г. ДЕМЕНТЬЕВА, Е. И. НАУМОВА,
Л. И. ТИМОФЕЕВА

Подготовка текста и примечания
М. Н. СОТСКОВОЙ

Оформление художника
В. МАКСИНА

Д. А. ФУРМАНОВ



МЯТЕЖ

I. По Семиреченскому тракту

Девятьсот двадцатый год. Март. По Ташкенту, по аллеям — золото ранней сухой восточной весны. В теплом воздухе — сонная, ленивая тишина. Многоцветные пряные сарты[1] по уютным лавчонкам смачно пожевывают сочный кишмиш. Редким гостем проскочит из-за угла кожаная тужурка, проскользнет парусиновый зеленый портфель, зафыркает в отдаленье автомобиль,— это мчится кто-то на заседание ревсовета. Все туда — к огромному каменному дому, где кипит тревогой жизнь, где до зари и за зарей прыгают лихорадочно бессонные пальцы по растянутым на стенах полотнищам карт, унизанным многоцветными клумбами звездочек, головастых булавок, пернатых флажков.

Глухая, забаюканная, ленивая тишь. По улицам в мертвом городе мертвый покой. А в каменном доме — за широкими столами, у карт стенных, у столиков, где стрекочут неугомонные морзе, в глухой шифровалке — таинственные имена: Иргаш, Мадамин, Хал-Хаджа, Курширмат...

От разбойников нет покоя многострадальной Фергане. И в другом краю, на далеком Семиреченском

---

[1] Так, неправильно, называли до революции местное коренное население Ташкента и некоторых других городов Средней Азии. Фурманов употребляет это название, так как оно было еще в ходу в годы утверждения советской власти в Туркестане. *(Прим. ред.)*

фронте, где под Копалом сдалась белая армия,— грозные, ядреные остатки битой армии с Анненковым, со Щербаковым скачут в Китай... Им надо отрезать путь, нагнать, уничтожить, убить последнюю возможность возврата тяжелой боевой страды. Не замирающая ни на миг, тревожная забота мечется по холодным высоким комнатам ревсовета, и нет здесь доступа золотым лучам туркестанского солнца. И люди здесь иные,— не те, что в сонной дремоте бродят тенями с аллеи на аллею: перехвачены ремнями тугие корпуса, оттянуты револьверами кожаные куртки, строги суровые желтые лица, кратки и четки холодные речи. И встретив на воле — долгим изумленным взглядом провожают их цветные халаты, лениво пережевывая пряный кишмиш.

Мы сегодня целый день, как волчки, вкруг ревсовета. Мы завтра ранним утром покидаем Ташкент. Уезжаем в Семиречье, в Верный. На заманчивую, неведомую работу. Неизменный Василь Василич прихлопывает нам оранжевой печатью семимильные мандаты. Я на свой улыбнулся не раз: тут целая программа в сто параграфов, устав, весь мой символ веры. «Если,— подумал я,— все выполнять, что сказано в этом мандате,— сроку надо никак не меньше двести годов. Это вот так мандатец: с таким и в воде не утонешь, в огне не сгоришь». Гляжу — и сам Василь Василич улыбается. Но не место здесь шутить. Он молчалив и серьезен: должность такая. Он посмеется потом, а теперь лишь смачно и крепко прихлопнет именитую бумагу, подожмет плотно губы под черные усики и крякнет ядрено, словно после рюмки в трескучий мороз.

Это в ревсовете. А против — угол на угол — политуправление фронта. И здесь суета неуемная. Шутка ли: уезжает в глухую даль — кто знает, на сколько времени, на какие дела и тревоги и опасности — целая артель ответственных работников. Тут мы все, в политуправлении, жили тесной дружеской семьей. Многих спаяли и давние боевые связи: кому помнились погони за махновскими бандами, кому — уфимские бои с Колчаком, уральские ли вольные степи,

донские ли просторы, а с ними — Деникин, Краснов, Каледин, Покровский. У каждого — свое. У многих — общее. И у всех — одно.

Семья спаялась — любо работать. Вчера ввечеру собрались мы последний раз и до глубокой ночи сидели вместе: это была прощальная дружеская беседа. Вспоминали разное — кому что в памяти, кому что дорого. Но было одно, что пронизывало звонкий, веселый шум:

— Ах, и жалко же, ребята, расставаться!

Привычка — дело не малое. А привычка в работе, да еще к таким ребятам — уж и вовсе дело большое.

Мы раскалывались пополам: одна половинка здесь, другая — далеко-далеко, почти на тысячу верст за горы, в Верный. Были мы все в эту ночь то безудержно веселы, шумны, то серьезны вдруг, торжественно-молчаливы — со стороны, верно, немного смешны. Не было ложного пафоса — задушевная, волнующая искренность, нужные, простые слова. Речи, речи, речи... Выступали до единого. А было нас человек тридцать... Ах, какая это была удивительная, незабываемо памятная ночь!

Вот Полеес, черный, как ворон, с трубкой в зубах, проводит рукой по кудрявой, косматой гриве, заканчивает свое очередное слово:

— Что бы ни было, товарищи, а эти последние месяцы останутся лучшими в моей жизни...

— Они станут еще лучше, Полеес, если сделаешься большевиком,— ввернул кто-то с другого конца стола.

— Ну, это оставь, не тронь — теперь не время...

— Большевиком сделаться всегда время...

И сидевшие за столом громко рассмеялись.

Женоподобный, безусый Гарфункель — тоже меньшевик, как и Полеес — поспешил на подмогу своему приятелю:

— Это, товарищи, верно... Сейчас нельзя. И не надо сейчас,— вопрос требует, чтобы над ним глубоко подумать...

Сказал — и пунцовые девичьи щеки залило краской смущенья.

— Бросьте, ребята, сами очухаются,— молвил кто-то примиренным тоном.

Эти слова были пророческими: оба липовых меньшевика уже вскоре были в наших рядах. Не слова, не увещанья, а живая практическая работа, в которой варились они изо дня в день, убедила их отказаться от фальши меньшевистской и взяться за серьезную, настоящую работу — по-настоящему, по-большевистски.

Вот девочка Лидочка, восемнадцатилетний несмысленыш — кристально-чистая и наивная, как дитя. Она — наша общая любимица. Лидочка в те дни еще ничего-ничего не понимала: только улыбалась и торопилась скорей согласиться с тем, кого слушала,— боялась обидеть своим несогласьем. Она в ту прощальную ночь ничего-ничего еще путем не знала — про революцию, про большевиков, она разумом была, как птенчик: робка, невинна и чуть-чуть даже смешна. А потом... Потом вместе с нами и она прошла трудный путь, вынесла и выдержала испытанья тех дней, когда смерть стучала нам по вискам,— Лидочка в эти дни была в грозе и буре восстанья вместе с нами... Она теперь тоже большевичка. Она заведует областным женотделом...

Так-то бывает в жизни: от девичьих грез — на широкую дорогу классовых битв!

Был Капельницкий: двадцать лет в большевиках. Эмигрант. Умница. Через год в Москву приехал на съезд. И он, которого не убили ни ссылки, ни тюрьмы, ни жандармские побои,— он погиб от глупой, случайно сорвавшейся пули.

И знаете, кто еще был: Павлуша Войтек. В петербургских районах знают рабочие и помнят до сих пор Павлушу Войтека. Это был на редкость искренний, прямой, благородный человек. Мы на него всегда смотрели как на лучшего из лучших. Он был всегда для нас образцом того настоящего, подлинного борца-коммунара, в котором удивительным образом сочетались и мудрость жизни, уяснение сложнейших, мучительно трудных проблем, и голубиная чистота, детская невинность — тихая, незлобивая... Вы от бесе-

ды с Павлушей неизменно уносили аромат его искренности, этой неколебимой, крепкой его веры во все, что говорил он с такой задушевностью. Кажется, и не сказал он вам ничего серьезного и большого, кажется, и слов у него не было нужных, а вот поди же ты: как поговоришь — словно и умней себя чувствуешь, и бодрей, уверенней, и дело делается у тебя веселее, и мысли стали отчетливо свежими, будто окропил их Павлуша живительной влагой. Он обладал редким даром: разрубать узлы, делать простым и понятным все то, что на первый взгляд темно, запутанно и недоступно. Павлуши Войтека теперь уже нет: он с первыми цепями шел в атаку на мятежный Кронштадт, и хищная пуля насмерть крепко поцеловала его горячим свинцом. Такие — так погибают. Они в ударный момент — всегда на вышке, на открытом, опасном посту. Их видно кругом, со всех сторон. А пули — миллионами. И одна — непременно в сердце. И снимет с боевого поста такого Павлушу Войтека.

В ту последнюю ночь он был вместе с нами: смеялся, пожимал торопливо нам руки, говорил, как всегда, задушевные, возбужденно-радостные речи. Не помню я слов тех речей — да и зачем они. Он говорил о том, что в каждом месте — своя нужда, своя работа. Будет нам большая работа и в Верном.

— Поезжайте, ребята, будьте и там молодцами. В такой глуши свежая сила нужней, чем здесь.

Это было давно. Теперь уж Павлуши нет. Мир твоему праху, друг. Мы о тебе, Павлуша, не забудем никогда: слишком был ты и чистый и благородный человек, отважный и простой — как надо — коммунист.

Может, и еще теперь нет кого — не знаю. Пошел четвертый год. А мы привыкли время считать минутами.

Прошла та ночь. Наутро как ни в чем не бывало мы встречались в политуправлении. Даже усиленно торопились: мы уехать, а они — нас проводить. И взаимную нашу торопливость каждый видел, понимал и даже чуть-чуть стыдился ее.

«Уж скорей бы ехать, что ли...»

Эта мысль была у каждого. И потому особенно быстро заготовляли документы (их готовили и здесь), снабжались наскоро продуктами, упаковывали разные «деловые» сумки, ящики, корзинки... Писали последние письма — да и как же было их не писать: чтобы добраться к Верному, надо ведь проползти целых шестьсот с лишком верст на лошадях, горами и равнинами: ишь в какую дыру законопатимся.

Мы о Верном были наслышаны немало. Прежде всего, конечно, один другому с таинственным, значительным видом сообщали, что несколько лет назад — и совсем даже недавно, не то в 1911, не то в 1912 — было в Верном последнее землетрясение...

— Да... и здоровенное!

Скажешь, и всматриваешься зорко в лицо собеседника, наблюдаешь, как поразит его это известие. Эка новость, словно и он не знает того же! Но чуть-чуть поинтриговать ребячески нам всегда была тогда охота.

Вот, дескать, в какое чертово пекло едем — то ли не герои!

Впрочем, эту «новость» за последние дни мы успели друг другу сообщить уж по нескольку раз, и потому она чем дальше, тем меньше оказывала действия. Затем мы еще наслышались об ужасающей распутице: старожилы пророчат нам гибель в пути от горных бурных рек, от обвалов и провалов, уверяют, что мосты снесены водопольем.

А нам и любо: предстоящая поездка кажется теперь — после всех этих слухов и сообщений — каким-то диковинным, почти фантастическим событием. Скорей же, скорей в дорогу!

И — как всегда бывает в таких случаях — врали нам, грешным, почем зря, кому что вздумается, кому сколько влезет, благо мы жадно слушали, развесив уши, всему верили и за все сведения сердечно благодарили.

Наконец, вот он — момент: все выслушано, упаковано, подписано, расцеловано,— прощай, Ташкент.

Лошаденки с бубенцами покатили на вокзал. Чего тут рассказывать: сели и поехали.

От Ташкента до Верного что-то верст восемьсот. По железной дороге можно было тогда ехать только до станции Бурной, а дальше — верст шестьсот — на перекладных, на тройках. Медленно, скучно тянулся поезд, часто останавливался по неведомым для нас причинам, подолгу стоял и, наконец, где-то застрял по-настоящему: впереди оказались снежные заносы. Вот вам и солнечная туркестанская весна! Впрочем, мы не горевали ни о каких дорожных неудачах,— нас чрезвычайно занимало это далекое таинственное Семиречье, о котором так много наслышались еще в Ташкенте. В дырявом холодном купе вагона, усевшись кружком — кто на лавке, кто на полу,— мы горячо обсуждали методы предстоящей политической и иной работы. Совершенно новая среда, неведомые доселе условия, отсутствие городского пролетариата, незнание туземного языка,— все это были такие обстоятельства, над которыми можно было поломать голову, подумать, поговорить. И мы усердно говорили: без умолку, многоречиво, неуверенно и крайне возбужденно, особенно возбужденно потому именно, что путем и толком никто ничего не знал: спорить и оспаривать был полный простор. Что же еще оставалось нам делать за долгий-долгий путь? И в то же время хотелось всю нашу поездку обставить таким образом, чтобы от нее получился действительный толк. Во-первых, надо точно определить, что собою представляют эти «подступы» к Семиречью — первые районы, что на нашем пути, во-вторых, поучиться здесь на деле, близ живой работы,— поучиться тому новому, ради чего мы едем в этакую даль, и, в-третьих, помочь им уже теперь, этим попутным селам и городам, ежели только будем в состоянии чем-либо быть полезными. А как же не быть полезными? Они ведь тут один раз в месяц получают газету, они несносно отстают от жизни, мало что знают и уже во всяком случае путают все самым беззастенчивым образом. Тут, за горами, темп жизни совсем иной. Какому-нибудь москвичу или иваново-вознесенцу даже диковинным, непонятным будет: как это люди могут, дескать, терпеть целый месяц, а то и

больше — терпеть и не знать того, что совершается на белом свете? А вот терпят. Обстоятельства такие, ничего пока не поделать. Мы это знали заранее, что глушь, тьма и неведение здесь кругом — умопомрачающие. Потому и решили отдать по пути все, что могли отдать: наш организационный навык, наши общие знания, нашу осведомленность о последних, свежих событиях.

В Семиречье командировался, собственно говоря, я один: в качестве уполномоченного по области от реввоенсовета фронта. Иные уверяли меня, что еду даже в качестве «особо уполномоченного», а то говорили, будто в чине «чрезвычайного уполномоченного», но я, по совести признаться, в семимильный мандат свой не заглядывал, а рассудил, что на месте по делу ясно будет, что можно делать и чего нельзя. Но уж такая у всех у нас ухватка была в те годы: командируют тебя, а глядь — одному-то ехать и тошно — непременно надо ухватить с собой целую охапку лучших товарищей. С ними сработался, к ним привык, да и они тебя узнали близко. Закинул и я в Ташкенте удочку реввоенсовету:

— Так и так, дескать, еду в глухое Семиречье, с кем там буду дело делать, на кого опереться первое время? Отпустите дюжинку политдрузей!

И удивительное дело: ревсовет охотно согласился. На редкость редкое и диковинное дело. Вот почему и ехать было так радостно даже в этакую глухую трущобу. Чего скрывать — уж воистину дыра. Ребята со мною ехали, что называется, «на все руки» — спецы по всем отраслям: тут были и мастера-организаторы и военные инструктора, агитаторы-пропагандисты, лектора, руководители партийных школ, газетчики, трибунальщики, театралы и прочая. По сему случаю, не доезжая Бурной, план шестисотверстного пути был разработан примерно в следующем виде.

Один местный хлопец, Верменичев, скачет вперед и по всем крупным селам и городам назначает собрания, заседания и совещания ревкомов, партийных комитетов, ответственных работников. Назначает для

этого точный час, а об этом часе по телеграфу заблаговременно столковывается с нами. Я с некоторыми товарищами еду верст на сотню позади вчетвером: Лидочка — она кой-что и печатает в пути; «кум» — товарищ по работе; Ная — и друг, и жена, и верный спутник во всех походах гражданской войны. Дорог был каждый час. Надо было торопиться в Верный. И в то же время хотелось кой-что сделать в пути. Потому так и наладили. Одни, таким образом, подготовляют, другие проводят собрания, заседания и открытые митинги и оставляют на месте письмо-инструкцию едущей сзади компании: Никитченко, Альтшуллер, Полеес, Муратов, Колосов Алеша. Они подробнее, основательнее входят в работу, выполняют и то, что мы оставляем в инструктивном письме. Этот план показался нам всем наиболее целесообразным. Так и решили сделать.

Всех позади, замыкая шествие, во главе небольшого отрядика, охраняя обозы — двигались: единожды ранее упомянутый Гарфункель, с ним «капрал Вильгельма» — как в шутку называли мы своего коммуниста — товарища Линденбаума, и общий дружок — Рубанчик. Этот Линденбаум — занятная фигура: он никогда не различал большого дела от малого, за каждое брался с одинаковой охотой и выполнял его с одинаковой добросовестностью и настойчивостью. Теперь, принимая на себя охрану обоза, он клялся нам, что доставит все невредимым «в самый Верный, на самый двор, где будим спать-жить». По-русски говорил он хреновато: мы не всё и не всегда у него разбирали, тем паче, что осоловелые, рыбьи глаза его всегда смотрели на вас одинаково пристально и пронзительно. «Я никакой балянс партии не терплю»,— докладывал он иной раз, и это следовало понимать, что «лишних» людей в партии, бездельников, *балласт* — он ненавидит, в партии не терпит.

Кроме сих двух, с обозами ехал Медведич — мой близкий друг и вестовой на всем протяжении гражданской войны. Еще в девятнадцатом году после ранения он попал ко мне вестовым в уральских степях. И с тех пор кружил: в Самару, в Ташкент, в

Семиречье, на Кубань... Там и в партию вступил. Застрял. Пропал из виду. У всех нас в памяти он остался как лучший и верный товарищ в самые трудные, опасные моменты: он в дальнейшем пережил с нами все тревоги за дни мятежа.

За беседой, за спорами не заметили, как убегали полустанки назад, как ближе, все ближе подвигались мы к конечной станции — к Бурной. Уже далеко позади оставлены и фруктовые ташкентские сады, и жаркое солнце, и голубое прозрачное небо, и сартовские разноцветные халаты. Распутица в этих краях — такое время, когда запасайся и жестким брезентом на слякоть, на дождь и овчинным тулупом — на случай горных буранов и утренних холодов.

Вон — далеко-далеко, за открытой пустынной равниной сверкают ослепительно в солнечном блеске снежные хребты Тянь-Шаньских гор. До них так близко и так далеко. А впереди по пути будут еще и вязкие глиняные топи и буйно прорвавшиеся горные реки, сбитые мосты, величавые скалы, и на горных высотах еще не раз скуют нас прощальные морозы, закрутят последними буранами бешеные ветры гор. Всего будет: об этом пророчат местные знатоки.

Чем дальше от Ташкента, тем выше уходит дорога, и ближе, все ближе к полотну подступают высокие гордые скалы.

В равнинах снег почти сошел, он остался только на предгорьях и выше — в горах.

Коротко, редко пробивается солнце сквозь повисшие темно-бурые тучи и густые туманы, приникшие к горам. Пасмурно. Холодно. Тихо. Растительности никакой. Только возле киргизских поселков и раскиданных здесь и там угрюмых серых юрт — одиноко, сиротливо чернеют какие-то чахлые незнакомые деревца. Сарта здесь не встретишь — ютятся только киргизы. В этих горных просторах по склонам киргизы пасут свои стада. Возле станций прилипли и наезжие, главным образом русские поселенцы,— их особенно много в придорожных городках.

И здесь до Бурной, пользуясь долгими стоянками, кой-где слезаем, ознакамливаемся с постановкой

дела — в совете, в партийном комитете, в военном комиссариате. Обнажаются печальные и любопытные картины.

По советам, куда ни глянь, затесались совсем чужие дрянные людишки: кулачишки, кулаки, кулачищи, баи — тузы туземные, всех сортов торговцы и спекулянты. И вся эта случайная шпана творит под флагом советской власти самые смердомерзкие дела. Больше того — многие из них проникли в партийные комитеты и уж под именем «коммунистов» творят свою собственную, из ряда вон оригинальную «политику». На одной небольшой станциешке нам, например, сообщили, что товарищем председателя в партийном комитете состоит отъявленный спекулянт, владелец целого ряда всевозможных лавчонок. Он недавно открыл еще одну лавчонку со специальной «высокоблагородной целью». Эту лавчонку он предназначил для сына, и когда ему передавал, то строго-настрого выговаривал:

— Это тебе, Алешка, теперь не то, што старая капитализма какая... Теперь у нас советский строй, и каждый должен в ём работать. А ты, шалопай, чего баклуши бьешь... Кто не работает — тот не ест у нас, вот што... Все должны трудиться... И ты не болтайся впустую, сам зашибай деньгу...

Это не шутка — факт самый доподлинный. И рассказывал нам его железнодорожный рабочий — по всем данным, серьезный, отличный парень, не врунишка, не пустомеля. В этой достославной партийной организации насчитывалось членов свыше трехсот человек. И это в местечке, где всего-навсего три с половиной — четыре тысячи населения. Как будто радоваться бы надо, что такой завидный процент, что партия здесь такой успех поимела. Но скоро нам открылся этот «секрет». Дело обстояло до смешного просто: как-то пронесся чарующий слух, будто «всех коммунистов мануфактурой делить станут» — и жители поперли в партию ватагами... Мы слушали — ушам своим не верили. Потом справились, что за состав,— оказалось, рабочих всего человек пятьдесят, а остальные «так себе... жители». Эти «господа так себе» в те дни

по глухим районам Туркестана отнюдь не составляли редкостного исключения,— ими обильно восполнялись партийные организации. Недаром же в те дни распускались по Туркестану даже областные партийные организации, а сколько пораспущено было мелких — о том одному Цека туркестанскому известно. На этом примере мы сразу хватили горького яда туркестанской действительности. И первоначально даже опешили, струхнули перед такими ужасами. Но когда остались одни и стали обсуждать, что увидели, услышали, узнали,— только острее почувствовали весь размах и всю серьезность работы, что предстояла нам впереди.

— Советы и партийные организации забиты всякой швалью,— рассуждали мы.— Слой рабочих тощ, а может, и недостаточно к тому же сознателен... Трудовое мусульманство — опора советской власти, ее основной, коренной здесь фундамент,— эта масса все еще темна и в плену у своего духовенства, у своих богачей, манапов и баев... Пока эта масса не раскачается, пока в ее мрачную толщу не проникнут лучи просвещения — до тех пор не выполнена будет главная, основная задача по укреплению здесь советской власти. Вот как стоит вопрос. Задача чрезмерно трудна. Так бодро за дело. Будем верить в успех!

Мы примерно в этих тонах, с такими выводами вели свою беседу. И уж не страшна, не трудна была предстоящая работа, хотя понимали мы, что это приподнят был лишь краешек завесы, что если настежь распахнуть — обнажатся раны еще более глубокие и гнойные, которые лечить надо — ой, как долго, ой, как настойчиво.

И все же, почувствовав мысленно верный путь, поняв, что только в туземном кишлаке сплетаются все нити и сходятся все пути — мы почувствовали себя увереннее и быстро превозмогли свою мимолетную растерянность. Уже здесь, в пути, зародилась у нас мысль создать в Верном для «нашего брата» курсы туземного языка: эту мысль по приезде быстро и осуществили. Здесь же обменивались мыслями и о том, что для

туземцев надо создать летучие начальные курсы,— эту мысль тоже не забросили, когда по приезде взялись за дело. Но об этом потом, в своем месте, а теперь воротимся на Бурную.

Наши представления о распутице оказались преувеличенными. Лучше сказать — опоздали мы со своими опасеньями: главная распутица уже две недели как миновала, теперь остались только следы,— коегде припрятавшиеся, уцелевшие снежные горки, притихающие, но все еще буйные ручьи, выброшенные на берег мосты... Это хвостики распутицы. Только по горам еще царствует зима, только там до сих пор и стужа, и снег, и бураны. А здесь везде по равнине чувствуется во всем горячее дыхание весны.

От Бурной без передышки нас должны везти шестьдесят — семьдесят верст до небольшого городка Аулие-Ата. Но лошадей раздобыть здесь чрезвычайно трудно. Несмотря на наши «особенности» и «чрезвычайности», несмотря на грозные наши жестикуляции семимильными мандатами, несмотря даже на вдохновенную классическую брань станционного коменданта (не то сочувствовавшего нам, не то торопившегося сбыть нас поживее),— несмотря на это всё, председатель совета той деревушки, откуда следовало взять лошадей, невозмутимо докладывал:

— Нет лошадей...

— Так как же мы поедем? — грозно наступали мы на спокойного мужичонку.

— А мне што?

— Как што — нам ехать надо: немедленно, срочно, по особым делам,— понял?

— Понял.

— Ну, так что же?

— Ничего...

И мы снова начинали пронимать его то мольбами, то угрозами, но мужичок, знать, «видывал виды», и на мякине его не проведешь: невозмутим, как истукан.

— Не сам запрягусь, повезу: ишь какие нашлись.

С тем и уехали. Лошадей не получили.

Скакать пришлось в другую деревушку верст за восемь. И только наутро оттуда пригнали две «обывательские» подводы. Горой нагромоздили мы разное барахло (мужичок совсем не умел его увязать), забрались на самую макушку — тронулись. Крепко потряхивало — то и дело ждали, что полетим кувырком. Было всем почему-то весело. Мы перекликались с воза на воз, острили, забавлялись, как малые ребята. Клим Климыч — так звали моего возницу — оказался очень разговорчивым, толковым, умным мужиком.

— Из новоселов мы будем, — пояснял он тихим, задушевным говорком.— Новоселы тут статья особенная...

— А что это за новоселы? — спрашиваю его.

— Мы этак прозываемся, видишь ли,— так что недавно здесь совсем — ну, шесть али восемь годов... До тех пор в Харьковской губернии проживали. Тесно стало — мы и давай сюда. Помощь дали нам на поездку, правительство способствовало. И здесь помощь была — земля, постройка... Так все вот мужики, что наехали сюда не больше годов десяти,— все они новоселами и зовутся, а те, которые годов сорок али шестьдесят живут,— старожилы они. Старожил — мужик богатый, у него одной скотины невесть что. Хозяйство какое! Стройка, сад, огород,— ну, да што говорить — одним словом, купец-мужик.

— А вы? — спрашиваю Климыча.

— То ись новоселы, што ль?

— Да, вы-то как живете?

— А мы вот то-то и дело, што — «как живем». Плохо живем, одним словом. Годов-то десяток пройдет — и мы окрепчаем, а пока што — никуда не годится. Нету у нас ничего, окромя земли. Да и земля — какая она: не везде одна... Сунься вон на Каюк-гору, как она тебя камушком-то щелкнет...

— А вот рассказывают, Климыч,— обратился я к нему,— будто киргизы, так эти и вовсе нищими живут. У них и того нет, что у вас, новоселов?

Мне любопытно было послушать, что он скажет на этот скользкий вопрос. Климыч ответил не сразу.

Полминутки помолчал. Потом осанисто расправил карюю бороду-лопату, потрогал себя за нос, сплюнул и, глядя перед собою в пустую равнину, словно только для нее выжимая слова, медленно выговорил:

— Все лень одна.

— Как лень! — изумился я.

— А то што? лень... И начисто лень, больше нет никаких причинов. Ты сам посуди, господин хороший...

— Не господин — товарищ,— поправил я.

— Ну, товарищ, все одно,— согласился он невозмутимо.— Я, к примеру — вот она, весна подошла — што я делаю? Не все же вашего брата — комиссару разную катаю,— язвнул он,— бывает, что и работать возьмусь. А уж как возьмусь работать — лови меня по полю с утра до ночи. Пахота миновала, яровые приготовил — там колесом закружило: травы подошли, сенокосы, жнитво, а под осень — опять ее, матушку, ковыряй, загодя думай, што надо... Так весь мокрый от пота и ходишь все месяцы. А он што, киргиз? Сел на кобылу, свистнул, да и был таков — лазит тебе по горе, мурлычет, скотинку пасет... Скотину пасти — што не пасти? а ты вот с землей повозись, тогда узнаешь кузькину мать.

Я дал ему, Климычу, выговориться до конца и стал объяснять, почему киргизы занимаются главным образом скотоводством, какое это длительное и трудное дело — от скотоводчества и непрестанных кочевий осесть на землю, взяться совсем за иное, за непривычное дело. Сказал Климычу, что и советская власть заботится о том, чтобы кочующих киргизов превратить в оседлых...

— Да, превратишь его,— ухмыльнулся Климыч,— ему на што любо по горам-то шататься: это тебе не землю пахать.

— У них же и земли нет по-настоящему пахотной,— говорю я Климычу,— нет навыка к работе, ни плуга, ни бороны, ни серпа — ничего нет.

— А кто ему велит... Пробовали, давали. И борону давали, и серп... Повертит-повертит в руках, даже и работать, пожалуй, возьмется сгоряча, а потом плюнет, марш на кобылку — только его и видели.

Поэтому крестьянин здесь и дружбу с киргизом не ведет... В этом самая сила.

— Значит, дружбы нет? — задаю ему острый вопрос.

— Оно не то штобы нет, а и не то штобы есть,— разводит Климыч мудрейшую, непонятную философию.— Где как водится — то ись насчет этой дружбы. Старожилы их самих уж больно не любят: собаки, говорят, какие-то блудущие, да и только... Ну, старожил — ясное дело — не любит отчего: богат не в меру. Где ему киргиза нагова за человека, да еще за равного себе сосчитать. Он поди и нашим братом гнушается — новоселом. А новосел за то не уважает киргиза, что к труду он не способен. Единственно. А что в прочем, тут ладно идет... Одно слово: ладно...

Я долго пытался внушить Климычу мысль, что исторические периоды в жизни целых народов чередуются в известном порядке с железной, неумолимой последовательностью; что каждый киргиз в отдельности ни прав, ни виноват в том, что он кочевник, что он до сих пор не осел на землю, что не занимается пока земледелием и т. д. и т. д. Я все хотел ему доказать одно: что какого-то особенного, прирожденного, национального *порока* во всем этом нет и быть не может, что все эти особенности были бы свойственны и любому другому народу, если бы только он оказался в совершенно таких же условиях, как киргизы. Климыч слушал внимательно. Даже перестал окончательно высказываться сам и усиленно, сосредоточенно пытался ухватить какую-то одну, самую коренную, самую главную из высказанных мною мыслей.

— Коли он ни при чем, так я, значит, тоже ни при чем. Я, значит, что бы ему ни делал, что бы ни говорил — так оно тому и быть? Так, што ли?

Он простыми, неуклюжими словами подходил к глубочайшему вопросу материалистического учения: свободен человек в поступках своих или нет. Сам по себе он поступает, человек, тем-иным образом или обстоятельства, условия — предшествующие и настоящие — заставляют его поступать именно *так,* а не иначе?

Это был воистину преинтереснейший разговор. Я не помню его в подробностях, но знаю, что вместе с Климычем мы оглядывались на жизнь киргизов до наезда сюда крестьян, потом припомнили, *что* заставило крестьян кинуться саранчой именно в Семиречье (обильные нетронутые богатые земли; выгодные условия, предложенные царским правительством; дешевая жизнь; легкая возможность забрать в кабалу темное киргизское население края и т. д.), вспомнили, как себя крестьяне вели по приезде, как измывались над туземцами и *как* по праву заслужили со стороны киргизов глубочайшую и искреннейшую ненависть. Когда мы все эти факты перебрали по пальцам, когда подвели все итоги:

— Ну, что,— говорю,— Клим Климыч, как по-твоему, рассуди своей умной головой, могли *после всего этого* как-нибудь по-иному сложиться у крестьян отношения с киргизами или с крестьянами у киргизов? По-моему, нет...

— И по-моему, нет,— сознался откровенно Климыч,— а все-таки он, киргизяк, лодырь.

После такого неожиданного заключения я даже рассмеялся. Это чуть-чуть обидело Климыча.

— Вам, комиссаре, известно — смешки, а нам тут туго вместе-то жить...

И разговор повернулся на иные темы. Я видел, что насчет «комиссаре» надо ему кой-что сообщить поподробнее, указать, кто они и откуда берутся, разъяснить, что это совсем особенные «комиссаре», которые записываются в партию лишь для получения мануфактуры, и что таких мы из партии выгоняем.

Основное состояние Климыча при разговоре со мною — было состояние недоверия. И все же в конце, в итоге любой темы я видел, что если он *не поверил* моим словам, так уж во всяком случае *усомнился* в своих: а это тоже немалое дело — поколебать человека в его привычных, мертвенно-окостенелых взглядах. Надо сказать, что какого-либо систематического разговора вовсе у нас не было, с темы на тему скакали мы с быстротою молниеносной, к одной и той же теме возвращались по нескольку раз.

— Вот за Каюк приедем — сухо будет,— сообщил деловито Климыч и, переждав, добавил: — все пузо утрясло...

— А где это Каюк?

— Где Каюк? Да вот он самый тут и есть, по ём стали ехать... Вишь, гора...

Климыч насчет горы заганул рановато: подъем начинался только версты через три, а Каюк в эту сторону, к Бурной, издали был как-то даже и не особенно приметен. Мое отношение к Каюку, видимо, не понравилось Климычу.

— Ты сам-то откуда будешь? — спросил он совершенно неожиданно.

— Из-под Москвы, а што?

— У вас там поди и вовсе гор нет никаких, что у нас по Харьковской.

— Какие горы...

— То-то вижу: человеку всегда обвыкнуть надо, чтобы сразу понимать али видеть...

Мы за разговором дотряслись до подножья Каюка и стали заметно подниматься в гору — и чем дальше, тем круче-круче. И трудно и любо. Мы уж соскочили давно со своих опасных вышек и перескакивали с камня на камень. Когда миновали подъем, открылось широкое ровное пространство, по которому выпирали всюду огромные каменные глыбы. Эти глыбы местами на двадцать — тридцать шагов представляли ровную, гладкую площадку, а то вдруг выскакивали каменными тумбочками, одна за другой — подобно тому, как торчат памятники на татарском кладбище. На Каюке просторно, вольно, легко. Здесь и помину нет о той непролазной глинистой грязи, по которой все время хлюпали мы от самой Бурной. Здесь совершенно сухо, местами даже пыльно. Дорога кружит и мечется из стороны в сторону, приноравливаясь к местности, обходя неудобные скалистые места, выбиваясь на ровные плоскогорья. А когда начали спускаться и круто повертывали за скалы, вырываясь из тесных стен,— одна за другой, одна другой прекрасней развертывались картины широких лугов, бескрайной дороги. За Каюком, под горою, сразу поражает

какая-то особенная тишина. Здесь и самый воздух как будто легче, светлее, здесь и дышать свободнее, чем по ту сторону, здесь и дорога совсем иная: широкая, ровная, укатанная, без малейших рытвин, без ухабов, по которым так намаялись-натряслись перед горой.

Как только спустились вниз — попали на развалины древнего караван-сарая. Здесь, по преданию, когда-то был и богатый и гостеприимный перепутный пункт, в котором любили останавливаться проезжие: и сами могли отдохнуть и коней, взмыленных перегонами, подкормить,— платили за все грошами, а то и в долг питались у знакомого гостеприимного чимбая. Все шло хорошо, как вдруг чимбай — хозяин караван-сарая — куда-то бесследно пропал. Говорили, что он уехал к себе на родину, в один из горных кишлаков в тянь-шаньских ущельях. Стали содержать караван-сарай его двоюродные братья. И вот в глухую осеннюю ночь на Каюке какие-то молодцы наскочили на ехавший обоз... Была свалка — с ножами, с криками о помощи, со смертельными хрипами и стонами умиравших.

Слышали это в караван-сарае. Но никто не отважился в глухую пору побежать на помощь. И до утра не знали ничего: в трепете провели остаток ночи, а с зарею, когда пошли дознаться, что было на горе,— увидели там пять трупов, зарезанных и задушенных, а повозки были разграблены, и все было растащено или разбросано тут же около телег, возле трупов. Лошадей тоже не было — их выпрягли и угнали. И с той самой ночи пошла про Каюк дурная молва. Недаром пошла она: то проезжего, то прохожего задушат, оберут до нитки, угонят лошадь, пустят в чем мать родила.

И стали доглядывать за братьями, которые поселились в чимбаевском караван-сарае. Брало сомнение, что не без ихней помощи проходят на Каюке все эти черные дела. И дознались: разыскали как-то три прохожие солдата армяки и тулупы, снятые с убитых на Каюке проезжих сельчан. Когда не было дальше никаких сомнений, а народу вдосталь съехалось

в караван-сарай — выкатили из погреба бочку с керосином, облили с разных сторон преступное гнездо и зажгли. В пылающее пламя связанных забросили обоих братьев и спалили их вместе со всем добром. С тех пор на месте караван-сарая только груда камней да разрушенная печь торчит сиротливо и угрюмо.

В этот милейший приют мы теперь и приехали. Климыч быстро выпряг лошадей, задал им корму, а сам начал возиться с возами: подправлял, подтягивал, засматривал с разных сторон, зубами раскручивал тугие узлы и опять упаковывал, перевязывая наново, ухватив веревку и крепко упираясь коленкой, словно засупонивал хомут. Он все время, пока стояли, хлопотал с возами, даже не присел и тогда, когда дела возле них уже не было явно никакого. А мы вчетвером (кроме Лидочки и Наи, ехал с нами еще один случайный товарищ, фамилию его не помню, а звали мы его почему-то «кум»), как водится, расположились сейчас же с хлебом, с яйцами. Не удивляйтесь в двадцатом году хлебу и яйцам — Семиречье и в те годы голода не знало: хлеб и яйца там были совсем не в диковинку. А тут уж близко и к сытым местам. От караван-сарая поехали быстрее по гладкой, ровной дороге. Скоро были в Головачевке. А за Головачевкой — и в Аулие-Ата. Головачевские мужики, надо сказать, приняли нас совсем нелюбезно и негостеприимно: в два-три дома толкнулись за молоком — не дали наотрез, а когда хитрая, лукавая бабешка из богатого высокого дома согласилась дать, то заломила настолько невероятную цену, что мы только отблагодарили ее уж совершенно «невежливо» (выражаясь скромно) — и с проклятиями поехали дальше.

Не забыть переправы через реку. Буйные весенние волны, разыгравшиеся от тающих горных снегов, неслись настолько шумно и быстро, что страшно было к ним приступиться с берега. Речонка неглубокая, дно у ней каменистое, и в обычное время, верно, куры вброд ее переходят без смущенья. Но теперь раскатилась она на двадцать сажен шириной и так отчаянно бесилась, как, помню, бесится только Аракс под

Джульфой на персидской границе или Кистинка — горная река близ Дарьяльского ущелья.

— Не объехать ли? — смущенно запрашивали мы Климыча, с тревогой поглядывая на бешеную скачку волн.

— Некуда — здесь надо будет,— ответил спокойно Климыч и, видно, для того, чтобы убедить еще больше нас в этой необходимости, рассказал, как тут два дня назад при переправе у мужика с воза сорвало и унесло бочку с маслом и телегу всю вдребезги разбило, а сам он уцелел лишь потому, что цепко ухватился за гриву своего надежного пегого мерина.

Становилось и в самом деле не по себе. Попасть в эту кутерьму, ой-ой как неохота. Но выхода нет — ехать все-таки надо.

— Кричать надо шибче,— поучал нас Климыч,— лошади чтобы посередке не стали.

«Ну,— думаем,— уж на этот счет, Клим Климыч, не сомневайся,— так нашумим, всем чертям тошно станет».

Медленно, осторожно ступали лошади по крутому каменистому ложу реки. И чем дальше отходили от берега, тем заметнее тужились и напрягались, отворачивая в сторону от волн разгоряченные морды и всем корпусом инстинктивно повертываясь навстречу холодным накатам, подставляя им широкие, мускулистые груди. Понуканья и оклики Климыча и наш безумный, звериный вой едва ли оказывали на замученных коней какое-либо существенное воздействие. Видно было, что они поступают так, как им самим и легче и удобнее. А мы все надсаживались и добросовестно орали что было мочи. Каждую секунду казалось, что телегу нашу со всем барахлом уже перекосило, накренило и кувыркает в бешеные волны, мы инстинктивно цеплялись за узлы и веревки, перебрасываясь всем корпусом в другую сторону. Наконец миновали главную опасность, стали близиться к другому берегу. И вдруг повеселели, рассмеялись над своим недавним страхом: так всегда — пережитый страх или мгновенный испуг уж через минуту кажется и смешным, и странным, и непонятным.

В густые вечерние сумерки подъезжали к Аулие-Ата. Последние версты до окраины города, где разбросалось киргизское кладбище, изрезаны оврагами, исполосованы узкими щелями в песчаных скатах, испещрены глубокими, зияющими норами: здесь любимые волчьи места. Совсем близко к дороге подступают густые заросли мелкого кустарника, опоясано кустарником и киргизское кладбище. Рассказывал Климыч, будто здесь совсем недавно волчья стая бросилась ввечеру на верхового киргиза, и наутро от гнедой кобылки нашли только горсть волос, а от несчастного наездника — дырявые, старые баретки. Мы невольно после этих милых рассказов похватались за оружие и в первую улицу засыпавшего городка так и въехали с револьверами наготове.

По-дружески, радушно встретил нас военный комиссар. Уж знали, что к этому часу приедем, ждали в партийном комитете, отвели пару комнат, даже диваны для спанья приготовили. Словом, мы были очень рады такому началу и целую ночь пробалагурили в саду и в комитете о разных делах. Только женскую половину нашу укачала шестидесятиверстная дорога,— их уложили. На утро, в девять, было назначено объединенное заседание партийного комитета, ревкома и военкомата. Цель заседания: получить от них наиболее полную информацию о партийно-политическом, экономическом и военном положении района. С другой стороны, ввести их в курс последних событий. Впервые здесь, на заседании, я почувствовал подлинный восточный аромат: больше половины присутствующих работников было из киргизов и татар. Отдел за отделом, одна организация за другой сообщала об итогах проделанной работы.

Выяснялось, что по селам работа среди кулацкого, колонизаторского крестьянства вообще не имеет никаких шансов на успех,— кулаки глумятся и издеваются над советскими распоряжениями, отказываются выполнять всевозможные приказы, особенно по части продовольственных сборов, гонят из сел советских

представителей — и слушать их не хотят, угрожают расправами. Их, кулаков, если и понукают подчиняться приказам, так исключительно угрозой подвести один-другой батальон под самое село. Совсем не то у новоселов. Эти середняки к советской власти относятся хорошо, бесчинств не творят никаких и дело до скандала не доводят. Все работники, конечно, понимают, что основой для работы должен быть туземный кишлак. Но подступиться к нему чрезмерно трудно. Масса киргизская — это пока неприступная глухая стена. В лобовую политическую атаку с ней ничего не поделаешь. Эта темная масса еще не вырвалась из-под влияния баев, манапов и мулл — своих угнетателей. Рассказали один характерный пример. Где-то в голодном кишлаке очутился отряд красноармейцев и помог беднякам-киргизам забрать из амбаров местных богатеев все залежи продовольствия. Увлеченная примером — беднота живо разобрала все, что было припрятано у баев по амбарам. Но лишь только отряд оставил кишлак, все эти голодные бедняки с мешочками и сумками потянулись к тем самым амбарам, откуда недавно брали муку,— они ее возвращали сытому баю, потому что перепугались своих же собственных дел, а помощи в лице отряда больше уж не чувствовали. И отдали обратно все, до последней пылинки, а сами продолжали голодать, как голодали и прежде.

К такой массе действительно подходить надобно было крайне осторожно. Да и кому подходить: работников вообще тут кругом — хоть шаром кати, а опытных работников из мусульман — и совсем мало. Кишлак остается без присмотра и без помощи, а это значит, что в стороне остается пока основная сила революции — трудовое мусульманство. На эту тему долго, много говорили,— впрочем, мы, приезжие, больше слушали,— ну, что мы тут могли посоветовать, когда половину фактов слышали только впервые и только теперь начинали себе составлять о них ясное представление. Оказалось, что по селам и кишлакам киргизским ходят слухи, будто скоро крестьянам с киргизами надо схватиться врукопашную, померяться силами, припомнить 916-й год. Но об этом после: про

916-й год я подробно узнал лишь через несколько дней, об этом расскажу в своем месте. Эти тревожные слухи на всех нагоняют панику. Всем чудится зловещее дыхание неминуемой грозы. И не знают, что делать, как бороться, чем предупредить это страшное и неизбежное. Разослали в разные стороны партийных работников, дали им наказы, инструкции: убеждать, что слухи тревожные — выдумка, сплошная ложь, что эту выдумку распространяют враги трудового народа, которые хотели бы свергнуть здесь советскую власть. В этом же духе составлялись и листовки,— они массами распространялись по селам-кишлакам.

«Трудящиеся массы Семиречья,— значилось там,— никогда не допустят, чтобы их стравили, словно злых собак. У трудящихся всегда одни интересы, какой бы нации и какого бы племени они ни были. Пастуху-киргизу или землепашцу-крестьянину должен быть одинаково ненавистен и киргизский бай и русский крестьянский кулак. И тот и другой сидят на чужом трудовом горбу. Так не верьте, товарищи, подлым слухам о том, что близится час какой-то расплаты, будто крестьяне должны напасть на киргизов или киргизы на крестьян. Этого не будет и быть не может. Трудовые киргизы и крестьяне — друзья меж собой, а не враги. Будьте спокойны. Работайте, трудитесь, как это было и до сих пор. А советская власть стоит на страже ваших интересов, она не позволит над вами глумиться разным подлецам и проходимцам,— она расправится с ними достойным образом...»

С такими воззваниями кучки партийцев и разлетелись в разные стороны. Слышно, будто за последние дни стало тише. Слухи уж не так настойчивы. Кой-где поймали белых офицеров-агитаторов. Положение разъясняется.

Такова была политическая обстановочка. Нечего сказать — веселого мало. В дальнейшем мы убедились, что услышанное в Аулие-Ата характерно и для всей области. То, что творится здесь, творится и повсюду.

Когда приступили к заслушанию докладов на темы экономические — изо всех них можно было заключить

следующее: край богат всяким добром, но добывать его пока не умеют и не имеют никаких возможностей. Крестьянство, как водится, пашет, киргизы — пасут стада. Но сократилась и пахота, сократились и стада; население, особенно киргизское, переживает тяжелую полосу. В самом городе и в наиболее крупных пунктах по уезду быстро растет и объединяется кустарная промышленность. Разрабатываются в окрестных горах, добываются различные руды, собирается в огромном количестве какой-то особый дубильный камень; в горных ущельях на диких деревьях собирается немало какого-то драгоценного смазочного материала. И добычу всего этого добра можно было бы удвоить, утроить, удесятерить, но общая беда — нехватка инструментов и всяких приспособлений — затормозила размах работы.

Видно было, что тут ребята не из теста сделаны и совсем неплохо себе представляют план работы. Только все это у них как-то слишком отвлеченно, слишком теоретично.

«То бы хорошо, да вот это бы неплохо... Если бы вот нам иметь это, да не иметь того, да если бы, да кабы...»

В этих условностях они запутались вконец. И, видимо, твердо-натвердо убедили себя, что «раз инструменту из Ташкенту не дают, значит, и делать дальше нечего», раз «общее положение республики тяжелое — значит, и у нас должно так быть»,— словом, какая-то примиренность, успокоение на том, что есть, и неверие в то, что обстановку иной раз можно и перекувырнуть, можно многое изменить в ней и многому помочь даже с голыми руками, не то что «с инструментой из Ташкенты»: этой вот настойчивой, всепобеждающей энергии, всеперерабатывающей веры в успех, в возможность многое-многое перебороть своей настойчивостью — мы не чувствовали. Создавалось впечатление, что сидят себе ребята — кумекают:

«А хорошо бы... А неплохо бы... Дабы... Кабы...»

И ждут инструкции сверху. А пришлют оттуда указания — и они преют, несчастные, добросовестно хо-

тят их выполнить, искренне полагая, что весь смысл работы заключается в добросовестном механическом выполнении данных свыше указаний. Мертвенность, спячка, неуверенность в своих силах и в своих действиях, недостаточная вера в трудовую массу, ожидание указок сверху, медлительность — вот основные черты работы, которые бросались в глаза свежему человеку по всем этим бесконечным докладам, где «мероприятия» чередовались с «планами и предположениями», где снова и снова встречались «если бы» да «хотя бы», где в каждом слове чувствовалась узость, косность, омертвелая привычка к исполнению вместо живого самостоятельного и инициативного творческого труда. Рассуждали неплохо, а вот работать как надо не умели.

Потом говорили о военном положении. Видите ли, слухи о готовящейся стычке между киргизами и крестьянами особенно настойчивы именно потому, что «гарнизоны ненадежны»: эти гарнизоны, пожалуй, и впрямь не прочь будут поучаствовать в каком-нибудь дебоше. Дело в том, что народ туда был собран без достаточного отбора, и попало в батальоны гарнизонные немало самого заядлого кулачья. Теперь проходит «чистка», но пока что результатов больших еще не видно. На днях мобилизовали полторы тысячи человек, отослали в Ташкент. Ничего. Мирно прошло. Среди мусульман мобилизации не было — шли только добровольцами. (Эту мобилизацию провели позже, когда мусульманство к ней было достаточно подготовлено.)

Гарнизоны ненадежны. Их усиленно, поспешно обновляют. Торопятся с политической работой, но пока «надеяться в случае чего я, братцы, на них не хочу»,— так заключил военный комиссар свой коротенький доклад.

С девяти утра мы протолковали до пяти: целых восемь часов. И, надо сказать откровенно, это заседание сразу поставило нас на ноги, дало нам довольно разностороннее и верное представление об общей обстановке не только здесь, в Аулие-Атинском районе, но вообще по всему Семиречью: качество работы и ра-

ботников, отношения между киргизами и крестьянством, преобладающие настроения, качество гарнизонов — все это, как две капли воды, всюду похоже было на аулие-атинские.

Ввечеру уехали. Не на почтовых — комиссар дал пару добрых военкоматских коней. Остальных — из ревкома. И такое подарил нам «ландо»,— что твой ноев ковчег: уберется десять пар чистых и десять нечистых... Покряхтываем, попрыгиваем на ухабах, вспоминаем, передумываем слышанное на заседании. Здесь дорога чудесная: слева бесконечные просторы, а справа приковалась к пути неизменная спутница — горная цепь. Местами мы едем почти у самого подножья — так близко нависают к нам снежные вершины. В лучах багрового заходящего солнца ущелья были совершенно темны: словно на снежную ризу серебряных гор накинули черные долгие простыни, и эти простыни-ущелья зияли теперь по откосам. А снега переливались, как драгоценные каменья: и рдели янтарем, и голубели васильками, и полированной блестящей сталью сверкали в вечерних лучах. Была горная красота — величественно спокойная, поражающая нежданными гигантскими панорамами.

Так всю дорогу сопутствуют горные цепи, освежая воздух дыханьем поднебесных ледников и высочайших снежных вершин. Как они хороши, Тянь-Шаньские горы, в закатных, в вечерних лучах; не узнать, не различить очертания снежных массивов от бегущих над ними белоснежных облаков: контуры движутся, меняют границы и формы, облака сплетаются, пропадают, возникают вдруг и вновь из темно-голубой небесной пропасти,— и не знаешь, где тут горы, где легкие, подвижные облака.

Было уж совсем темно, когда подъезжали мы к Уч-Булаку: это крошечный поселок в несколько дворов. Рядом с поселком — почтовая станция. Две шершавые, паршивые собачонки вынырнули из тьмы и жалобно, по долгу службы, облаяли нас хриплым

лаем. Вышел на крыльцо заведующий почтовым пунктом — мы его даже и не рассмотрели как следует в темноте: только слышен был его глубокий, нутряной кашель,— было ясно, что с легкими дела у него плохи.

— Ночевать будете?

— Да нет, ехать надо бы,— отвечаем ему.

— Ехать нельзя, лошадей нет,— ответил он.— А потом — волков тут много, ночью не ездют...

— Што волки — волки пустое... Вот лошадей главное: неужто нет ни тройки.

— Ни одной. То с почтой уехали, то пассажиры. Нет.

Я тогда еще не знал обычных приемов этой почтовой братии. Они смерть не любят возиться по ночам и непременно стараются дотянуть дело до утра, а иной раз и утром не прочь поканителиться, чтобы вообще было меньше им всякой возни и чтобы знали их почтовую милость: захочу — дам, захочу — не дам. Пришлось мне эту братию впоследствии и за ворот трясти, но об этом потом, потом...

— Так нет лошадей?

— Нет и не будет,— добавил он угрюмо.

Оставаться не хотелось, да надо было и ехать скорее, торопиться. До следующей станции, Ак-Чулака, семнадцать верст.

— А ну, махнем-ка на этих конях, не так уж они устали!

Начальник станции не знал, что у нас за кони, откуда взяты и во тьме не разобрал ни возницы, ни ноева ковчега.

— Нельзя ехать,— заявил он строго.

— Отчего нельзя?

— Оттого.

— А ты точнее, отец.

— Приедешь в Мерке, там узнаешь *точнее*, как составят «настоящий» протокол.

«Ага,— думаем,— значит, тут бывают протоколы и «не настоящие», а так себе: шутевые, плевые, для виду?»

Так он ничего и не объяснил. Лишь потом узнали мы, что на почтовых тройках можно ехать только один перегон.

Тронулись. В степи чёрная, глухая тьма. Не видно больше сизых бескрайных просторов, не видно серебряных горных вершин. Где горы подступают слишком близко, вплотную,— там еще мрачнее, гуще сумерки, сосредоточенней и строже ночная тишина. А в местах, где уходят горы вдаль, свободней вздыхают степи: здесь и мрак словно не так уж густ, здесь и звуки звончей, и легче, веселее, просторнее нашим коням. Где-то в отдалении — то приближаясь, то пропадая, уходя все глубже и глубже во тьму — жалобно и заунывно выли степные волки.

Недалеко от Ак-Чулака на развалинах сгоревшего караван-сарая засверкали нам навстречу три пары огненных глаз: мохнатые здоровенные волки, во тьме казавшиеся еще крупнее, стояли недвижные на мусорных ямах и обернули теперь в нашу сторону точеные энергичные головы. Мы проезжали совсем близко, и казалось — вот-вот они кинутся, вцепятся в наши повозки. И уж было слышно странное грозное рычанье. Но получилось нечто удивительное: они не тронулись с места, только прекратили рыться в отбросах и сверкающими взглядами провожали три мчавшиеся тройки. Кони зафыркали еще тогда, когда мы не видели самого караван-сарая,— теперь они рванули в сторону и вскачь понесли околесицей! Все это совершилось в несколько секунд. Мы похватали оружие, но кони промчались вперед, и стрелять уж не было нужды. Только все еще чудилось, будто сзади, по пятам — мчится не три, а целая стая мохнатых мускулистых хищников, ядрено сверкая жадными умными глазами.

Увидели, знать, что силы неравны: и не подумали кинуться, но и не скрылись, остались недвижимо в степи, словно застыли в раздумье.

Остатки, несколько верст, мы домчали живой рукой. Вот он и Ак-Чулак.

Эти почтовые станции по Верненскому тракту — все на один манер: низкий каменный домик, выбеленный известкой; через тесовые ворота — широкий двор; там десятка полтора-два заморенных лошаденок; по двору и в стойлах обычно грязно, вонюче, мерзко.

Самый домик разбивается на четыре комнатки: две для посетителей, а две для начальника станции, причем живет он, по существу, лишь в одной, так как вторая собою представляет «рабочий кабинет»: здесь он принимает, отмечает приезжих, дает им бумажки, получает с них другие, проверяет документы, заставляет расписываться — словом, проделывает всю свою немудрую процедуру управления станцией.

Вся разница между одною и другой станцией разве лишь в том, что один начальник отведет свои «покои» налево от крыльца, а другой — направо. В остальном же одинаково. В помещении пусто, холодно, неприютно. По стене, глядишь, приежился старый, грязный, весь изодранный диван на трех ножках — под четвертую подложен кирпич, на нем дощечка, и все это закутано тряпицей. Стены совершенно голы — когда-то на них висели, верно, императорские портреты: до сих пор остались темные четырехугольные плешины и дырки из-под выхваченных гвоздей. Потолки совершенно черны от разных ночничков, коптилок и подобной прелести. Мыть их, видимо, никогда не удосуживаются: я, ради смеха, устроил баррикаду из стола и стульев, достал-таки до потолка и, коснувшись пальцем, почувствовал, как он увязает, словно в болоте, в густом скользком слое всякой слизи и мерзости. По углам раскинуты настолько обширные паучьи сети, что, думается, не только мухе, и человеку будет из них выбраться нелегко. Во всяком случае мы к углам подходить остерегались: огромные черные пауки выглядывали оттуда зловеще и угрожающе — брала невольно жуть. В разбитые, вывороченные рамы без стекол были воткнуты скорбные грязноватые дощечки, и болтались остатки брошенного киргизами-возницами отрепья. Сквозь зияющие дыры и ночью и днем приятно освежал свободно гуляющий ветер.

Мы отлично понимали, что «хозяйственная разруха берет свое», что «общее положение государства тяжелое», что, говоря прямо, нет стекол, нет кроватей, хороших стульев, столов, посуды, что лошадям нет достаточно корму, а двор вымостить — ни щебню, ни тесу, ни асфальту — ничего нет. И все-таки станции эти,

а с ними лошадей, самый двор,— все это добро казенное можно бы содержать в десятки раз и чище и крепче, если бы об этом хоть сколько-нибудь заботиться. Не так, видимо, смотрели на дело станционные смотрители: запущено и поломано все было у них до последней степени, а исправлять, чинить никто из них и не думал. Особенно тяжелое положение было у возчиков-киргизов. Эти возчики со своими семьями обычно селились тут же, около станции, часто во дворе, тотчас за воротами укрепляя свою утлую юрту. Набита она была битком черномазыми нагими голодными ребятишками; из одежи и обуви, видимо, имелось лишь то хламье, что болталось на ногах и на бронзовом полуобнаженном теле.

Женщины чаще всего прислуживали на станции приезжающим, кормили-поили лошадей, ковырялись по двору, а возницы-киргизы, не зная отдыха, то и дело взбирались на облучок: то с почтой, то с пассажирами, то в одну сторону, то в другую. Они настолько были замучены и настолько привыкли эту замученность считать за обычное, положенное им, видимо, состояние, что даже не роптали, не протестовали, не веря в то, что когда-то и кто-то сможет облегчить им эту трудную долю, эту дьявольскую нищету. Киргиз-возница даже днем то и дело засыпает на облучке — настолько он утомлен постоянным недосыпаньем, истощен постоянной голодухой.

Когда задается несколько часов свободных, возница-киргиз так и засыпает, в чем ходит и ездит целый день,— это, во-первых, делается от усталости, да и жаль было бы на раздеванье и одеванье тратить лишние минуты, а во-вторых, в стужу голяком спать холодновато, а под отрепьем, называемым одеждой, у возницы обычно нет никакого белья.

Нищета непередаваемая. Терпение изумительное, граничащее с омертвением, полной бесчувственностью, примиренностью с самою ужасною, неслыханною нуждой.

Вот и вся обстановка, вот и все персонажи крошечной станции на Верненском тракте. Ак-Чулак, куда мы теперь приехали, похож был, верно, и на Уч-Булак,

откуда мы уехали,— как и все они вообще были похожи друг на друга.

Забравшись в угольную комнатку, мы побросали там свои вещи, живо наладили самовар и стали вокруг него отогреваться. В соседней комнатке, на столе, отрезали от огромной буханки хлеба несколько кусков, а остальное (фунтов, может, двенадцать — тринадцать) оставили. Уже через пару минут буханки не было,— ее смыла со стола через окно чья-то ловкая рука.

Чему ж тут было особенно удивляться: голодуха брала свое, и нашу буханку разом взял на мушку чей-то зоркий глаз. Это обстоятельство заставило нас поснимать с окон разбросанные вещи, а дверь на ночь чуть-чуть припереть: кой грех, вместе с веща́ми упрут и всякие наши бумаги, портфели, документы и дела?

Только расположились чаевничать, с противоположной стороны, от Верного, подкатила тройка. Приехали два киргиза — оба советские работники из верненского исполкома. Уж не запомню, совсем ли они оттуда уезжали или только в командировку ехали, но впоследствии в Верном я их ни разу не встречал. Одному было лет двадцать, другой, пожилой, годов тридцать восемь — сорок, с узкими щелочками умных черно-глянцевых глаз, с крутым четырехугольным лбом, шевелюрой смоляных волос — быстрый, энергичный в движениях. Фамилия его была, кажется, Чурбеков. Он даже как будто учился в Харькове и совершенно легко владел русским языком. Он понравился мне с первого взгляда. В такой глуши, в такой своеобразной обстановке было бы странно, если бы мы не разговорились в первую же минуту; во вторую минуту они сидели с нами за общим столом, и Ная дружески то одному, то другому подавала стаканы горячей мутной жидкости, которую мы без улыбки осмеливались называть чаем. Вполне естественно, что их интересовало то, что делается теперь в Ташкенте, а еще больше — что в Москве. Нас занимал Верный. И каждой стороне поскорее хотелось услышать ответ на целую охапку вопросов, задаваемых обычно сразу, один за другим, и по характеру самых разнообразных.

Что Польша? Что Врангель? Как в Донбассе? Верно ли, что в Москве открыли новый заговор? Почем там хлеб? Где Дутов и Щербаков? Что за население в Верном? Каков там исполком и партийный комитет? Кто читает лекции? Почем масло и яйца? Давно ли было последнее землетрясение? Каково состояние Красной Армии?..

На всю эту уйму вопросов мы отвечали друг другу кое-как, второпях, и не заметили того, как остальная наша компания слегка начала подремывать... Мы с Чурбековым перебрались на ту самую хламиду, которую здесь называли диваном, приятельски закурили и, почувствовав один в другом нужного собеседника, затеяли долгий-долгий разговор. Он, этот разговор, совсем затушевался теперь в моей памяти, я запомнил лишь одно: рассказ Чурбекова о резне семиреченской в 1916 году.

— Чтобы эту резню понять,— начал он,— надо начинать не с девятьсот шестнадцатого года, раньше. Царское правительство всей своей политикой способствовало тому, чтобы кровопускания эти были неизбежны. В самом деле, посмотрите: оно сюда, в глухое Семиречье, через свои переселенческие управления нагнало массу крестьянства. И во что это крестьянство превратилось? В сплошную кулацкую массу. А разве мы его можем за это винить? Да опять же нет: здесь как раз бытие определило сознание. Только подумайте: колонизатору-переселенцу дается земля, дается пособие на постановку хозяйства, дается полная возможность размахнуться на большое частное хозяйство. Ну, он и размахивается. Он становится настоящим богатеем, помещиком. То же самое и с казачеством. С другой стороны — гонимое, презираемое туземное население. Ему не только помощь — его с годом год все глубже оттирают в ущелья, всё выше загоняют в горы, окончательно отбивают от воды; от хорошей земли. Здесь киргизы ведь все больше занимались скотоводством,— впрочем, и до сих пор они занимаются тем же, да только... э-эх!..

И Чурбеков махнул рукой.

— Плохо? — спрашиваю его.

— Надо бы хуже, да нельзя,— процентов, думаю, двадцать — тридцать осталось скота-то всего, не больше... Киргиз остался теперь совсем с голыми руками. А тогда — в годы заселения Семиречья — стада были крупны, земли было много, нужды здесь не знали. Надо к слову сказать, что тут по области живут еще таранчи и дунгане, но этих немного: пашут, ремеслом чуть-чуть промышляют, извозничают... Эти тоже, сердяги, хватили горя немало. В общем можно сказать, что на всю область, то есть на полтора миллиона населения, киргизов приходится семьдесят пять процентов, так сказать, три четверти... А что они собою значили? Нуль. Круглый нуль — и больше ничего. Жали их, как только вздумается: тут тебе и кулачество, и чиновники городские, и своя же туземная шпана из баев, занявшая какой-нибудь пост по волости или уезду; потом обирают какие-нибудь торговцы, грабят, ошаривают скотопромышленники,— где силой, где обманом,— ну, и естественное дело, что довели несчастную миллионную массу до белого каления. Царские пристава и волостная администрация считали киргиза примерно за собаку: высечь его, отодрать, избить, даже прикончить — было делом самым заурядным, а главное — безответственным: кто тут будет жаловаться? кому? на кого? Были кругом назначены всякие границы: здесь киргизу можно, здесь — нельзя, здесь его порют, здесь колотят, а здесь и расстреливают. Несчастное население заметалось в агонии, не знало, как ему выразить свой протест, как попытаться сбросить это тяжкое ярмо. И вот подошел 916-й год. До той поры кочевников-киргизов никогда не мобилизовали в армию, а тут вдруг посыпались приказ за приказом — понадобились сотни тысяч на пушечное мясо. Не выдержали киргизы — поднялись, заявили свой протест, свое нежелание идти в царскую армию. Эта грозная волна недовольства захлестнула все Семиречье, промчалась по горам, подняла киргизов на открытый бой. Царское правительство с молниеносной быстротой помчало сюда карательные отряды, помчало транспорты оружия, которым снабдило кула-

ков... И пошла резня. Открылась неравная кровавая битва: с одной стороны, вооруженные отряды и освирепевшие кулаки, с другой стороны — почти безоружное туземное население, которому отчаяние и круглая безвыходность придали силу, отвагу и стойкость изумительную. Там, где врасплох заставали крестьян или задремавший отряд, киргизы расправлялись жестоко со своими угнетателями, но, разумеется, долго выдержать они не могли, были разбиты и здесь и там, были теснимы все дальше, все дальше от своих кишлаков,— и скоро очумевшая от ужаса пятидесятитысячная масса рванулась через границу и ушла в Китай... А здесь, на месте, творились ужасы: насмерть засекали нагайками детей на глазах у матери; малюткам, ухваченным за крошечные ножки, мозжили голову о деревянный столб и мозгами обрызгивали стоящих вокруг хохочущих палачей; пленников строили шеренгой — и одному за другим срубали головы, протыкали шашками, выпускали кишки, пропарывая живот. Изнасилованиям женщин и девушек, конечно, не было счету. В огне пожарищ похоронены целые кишлаки... Несчастное население считало себя заживо погребенным. Это были годы таких невыразимых ужасов, которые словами трудно передать, которые нельзя забыть, которые должны себе найти какую-то историческую искупительную жертву...

Чурбеков замолчал, провел рукою по волосам и остановился на мне своим умным печальным взором.

— Вот оно,— говорю,— и пришло теперь историческое возмездие: революция... Она дорогá трудовому бедняку киргизу и ненавистна кулаку...

— Да, мы так же думаем и говорим, только вот...

Он словно поперхнулся на слове — встал. Я не хотел прерывать у него течение мысли, молчал, ожидал, когда продолжит.

— Тьма-то... Невежество — вот что страшно. Кабы не это, разве до сих пор оставались бы *они* в такой кабале и в такой нищете? Э-эх, да никогда!

— Раскачается в свое время,— сказал я ему, и от этой общей фразы стало как-то неловко.

— Я тоже знаю, что раскачается,— отвечал он, как бы не заметив никчемности моей фразы.— Только время надо большое. А знаете,— оживился он вдруг,— ведь эти пятьдесят тысяч киргизов, что убежали тогда в смертельном ужасе в Китай,— они возвращаются. Турцик[1] выпустил соответствующее воззвание, зовет их вернуться, обещает дать им всяческую помощь,— даже комиссию специальную назначили во главе, кажется, с Джиназаковым... Эта комиссия едет сюда, если только уже не приехала... Ох, дела большие — и трудные дела, ай-ай, как трудные!..

— Что именно?

— Как же: ведь они там, беженцы-то эти, четыре года провели в ужасающей нищете, много вымерло из них голодной смертью; какой был скарб — все это прожито или разбито, никуда не пригодно. Они идут сюда — измученные, изголодавшиеся, нищие в буквальном смысле слова. И что же находят? Или черные пепелища сожженных кишлаков, или постройки и земли, давным-давно занятые кулаками. Попробуйте теперь этого кулака выбить с ухваченной им земли. Это — новая война. Это — новое восстание, только уж кулацкое,— на защиту отнятой у киргизов земли, на защиту своих привилегий, своего богатства... Вот положение. Комиссия Турцика, говорят, имеет огромные права. Так оно и должно быть. Иначе за такую работу и браться не следует... Но чует мое сердце, что даром это не пройдет: такие вопросы спокойно не разрешаются...

Мне еще мало понятны были тогда опасения Чурбекова,— я понял и оценил их только впоследствии, а теперь больше слушал и попросту верил ему на слово: его простая, бесхитростная речь убеждала удивительным образом.

Наш чуточный светлячок уж давно догорел. В комнате стояла черная тьма. Наговорившись вволю, пожали друг другу руки, и я ушел в соседнюю комнату,

---

[1] Турцик — сокращенное: Туркестанский центральный исполнительный комитет. *(Все примечания, кроме оговоренных особо, принадлежат автору.)*

где на полу вповалку спали мои товарищи. Чурбеков остался спать на диване.

Они уехали ни свет ни заря. Когда мы поднялись часов в пять, Чурбекова с товарищем уже не было в комнате.

Следующую ночь переночевали в Луговом у кривого почтаря. Жена этого почтаря — взбалмошная франтоватая бабенка — все допытывалась, нет ли у нас пудры, краски, крему, духов, губной помады, румян, белил... И когда узнала, что мы едем по совершенно иному делу, была несколько огорчена. Бабенка сама командует на станции за своего кривого витязя, а он предпочитает, видимо, гнать самогон и сбывать его наискорейшим образом. Такие сведения дал нам про него другой почтарь, со станции Подгорной: лихой старик, смахивающий на царского пристава, бывший ротмистр и шведский подданный, по фамилии фон Шень. Старик впал в детство, бредит героическими походами, в которых никогда не участвовал, но на которые считает себя безусловно способным и готовым ежеминутно; ротмистр невероятно врет, как старая дева — играет глазами и молодится, но зябнет на солнце и дрожит, как котенок: стар.

Третий почтарь, на станции Акер-Тюбэ — опять-таки глубокий старик, бывший крупный торгаш и несомненно бессовестный эксплуататор. Теперь он представляет собою дряхлую, жалкую руину, которая готова рухнуть от малейшего прикосновения. Старик сух, строг и сердит. Говорить не любит: полная противоположность «героическому» холостяку фон Шень.

Одним словом, почтари — публика очень своеобразная, разнообразная и оригинальная. По части советской власти у них самым левым взглядом был примерно такой:

«А черт с ними — пущай там становят кому что вздумается: нам-то што?»

Так мыслили наиболее радикальные из них, остальные размышляли более просто и довольно прозрачно,— нашего брата, «советчика», ненавидели. Так и говорили. Так и давали понять — совсем недвусмыс-

ленно. Выходило это у них, конечно, среди обывательской болтовни; было ясно, что дальше слов они никуда не уйдут,— ну, и черт с ними, пока пущай себе сидят — всему свое время.

Наконец приехали мы и туда, где составляют «настоящие» протоколы: в Мерке.

Начальник милиции дал нам джигита, а джигит привел на квартиру богатого сарта. Было ли тут у них раньше условлено, очередь ли пришла или просто наугад его выбрал джигит,— этого не знаем. Но прием был замечательный: ввели нас торжественно и чинно в большую светлую пустую комнату. Ни стола, ни стула. С непривычки мы сразу почувствовали себя неловко. Потом эти драгоценные ковры, которыми устлан весь пол: так жаль их топтать сиволапыми грязными сапогами. Не выдержали мы — разулись. В глубокой выемке стены поставлен сундук, окованный в жестяные полосы,— на этом сундуке почти до самого потолка наложены подушки и многоцветные дорогие одеяла. Ковром накрыт сандал [1]. В сандале тлеют угли. И как только раскрыли перед нами предупредительно двери, сейчас же сами все куда-то убежали, а через пять минут втащили омытые стулья и стол,— все это очистили, насухо вытерли, накрыли прекрасной цветной скатертью. Обстановка начинала веселить. Живо согрели самовар, и хозяин собственноручно наливал и разносил нам пиалы [2]. С нами все время был один товарищ от парткома с какою-то невероятно замысловатой фамилией.

Тем временем местные коммунисты собрались на общее партийное собрание. Здесь стояли почти все те же вопросы, что и в Аулие-Ата. Только уж не потребовалось нам заслушивать их столь подробно,— многое было знакомо, понятно, ясно без слов.

Вопрос о взаимоотношениях туземцев и крестьян-

---

[1] Сандалом называется выложенный посреди комнаты четырехугольник, где постоянно тлеют угли.

[2] Пиала — кружка вроде небольшой миски, из которой пьют чай.

ства стоял и здесь в центре всеобщего внимания. Было ясно, что этот загадочный процесс, это таинственное, чуть уловимое движение является повсеместным — то более, то менее опасным, то вялым, то настойчиво жгучим. Говорили здесь, на собрании, что особенно неспокойно держит себя по селам крестьянство, что молва идет от него, а киргизы лишь ее воспринимают и насторожились чутко, ожидая новой бесшабашной расправы. Вопрос стоял именно так, иначе стоять он и не мог,— но в этом убедились мы лишь позже, когда узнали всю правду о ликвидации Семиреченского фронта и о настроениях освободившейся Красной Армии. Мы пробеседовали здесь часа три. Какой-то седенький старичок с благочестивым видом записывал все, что говорилось, то и дело перебивая вопросом:

— Что вы изволили сказать?

Старикашка был, видимо, глух. Я ему сначала сердобольно отвечал, но потом перестал — и что он там записывал, уж, право, не знаю: вряд ли что и слышал путем.

Когда мы снова очутились в своем сказочном жилище, немедленно же притащили целую гору некоего жарко дышавшего кушанья. Это был пилав. Мы наелись, признаться, до невменяемости. Потом стащили с окованного сундука эти самые чудесные одеяла и стали стлать их на полу: уложили нас, укутали, потушили свечу. В окна мягкой и широкой волною вливался лунный свет. В комнате, увешанной и устланной коврами, было таинственно и до странности тихо. Мы затаили дыханье, не двигались, словно по уговору, и думали, верно, все об этой сказочной обстановке, об этой фантастической восточной таинственности. Уснули. Ночью, приподняв голову, я видел, как один из хозяев сидел, скрючившись, возле сандала и что-то пришептывал. Так сладко и мягко мы не спали давно, а пожалуй, и никогда не спали. Поутру нас окружили те же заботы, что и вчера, и не было никакой возможности от них отказаться: отказавшись — обидишь хозяина. А это совсем не входило в наши расчеты. Скоро тронулись дальше, на Чалдовар.

В нем не задержались.

Путь-дорога лежит за Чалдоваром на Беловодск: это осиное гнездо белогвардейского мятежа в 1918 году. Тем более необходимо было здесь ознакомиться с настроением жителей, узнать — какими они живут интересами, чем недовольны, чего ждут, на что надеются. Уж через полчаса после того как мы приехали, народу привалило к совету человек четыреста; полегоньку нас осматривали, ощупывали, спрашивали: кто, дескать, такие, зачем их, мужиков, собрали и нет ли новой «набелизации»?

— Да разве уж так часто вас мобилизуют? — удивился я.

— Не... не часто...

— А чего же вы всполошились?

— Да, ишь ты, сказывали,— военные быдто люди наехали и весь народ на площадь загнать велят...

— Не загнать,— поправляю бородатого собеседника,— это я просил собрать вас сюда, чтобы потолковать о разных делах...

— Толковать што не толковать...— ответил он и сразу замолк. Потом, после долгой паузы, чесанув за ухом, волосач еще раз брякнул:— Толковать, што же... оно можно... Только быдто мужика прибижать хочут.

— Это как прибижать?

— А землю отымать, надыть, жалают... Однем оттянуть, а другем отдать...

— Пòлно, отец,— говорю ему успокоительно,— отнимать никто ничего и не собирается.

— А киргизне?

— Што?

— Ей, говорят, все теперь пошло: и скотина у ней будет своя, и земля от нас под ее отойдет.

— Да ты давно на своей-то пашешь земле? — спрашиваю его.

— Сызмальства,— проворчал волосач...

— Кто же у тебя — никто и не возьмет... Это, знаешь, о какой ты слышал земле, будто ее киргизам станут возвращать? Это вот, что после шестнадцатого года...

Я пояснил ему, в чем дело. Старался как можно проще, убедительней, наглядней растолковать, что полунищей киргизской бедноте, возвращающейся ныне из Китая, надо помочь всемерно: это долг государства, это долг каждого честного человека...

Нас окружила густая толпа любопытных: всем охота была послушать приезжего. Стояли — молчали. Участия в разговоре никто не принимал. Даже не кивали головами, не пускали, по-обычному, односложных крепких выраженьиц. Но лишь только сказал я про необходимость помочь киргизам, как толпа загудела оживленно:

— Што не помочь! Кто против помощи... Каждому помочь надо... А чем помогать-то? А што мы дадим? А как он станет работать-то? Кто его научит, да кто ему соху-борону подарит,— где это купцы такие?

И пошли и пошли — заговорили.

Был нащупан один из основных вопросов, о котором могли они говорить, не расходясь, три дня и три ночи...

Этот вопрос буквально всех интересовал и волновал. На наш разговор подходили все новые и новые кучки, толпа у лавчонки выросла настолько, что не было смысла вести дальше частную беседу,— полезней было начать собрание. Когда я об этом заявил — дружно согласились, и, уже залезая на ящик, вдогонку слышал я напутственные слова:

— Не больно красно только нам, штобы покрепче да попроще... Разную там «историю»-то не больно: ты о земле побольше.

Мы беседовали часа четыре.

От вопросов общеполитических, от оценки общего положения в Туркестане — мы подступили к Семиречью, к крестьянству, к земле. И толпа разгорелась. Выступали охотно сами, указывали, как трудно потеть над землей, какою ценой дается им хлеб.

— А после этого отнять, это што же за право такое? — выкрикивал с ящика желторотый сморщенный мужичок годов под пятьдесят.— Я ее, матушку, томлю-томлю своей работой, а тут на тебе...

— Правильно, верно...— кричали кругом.

Это мужичка подбодрило и воодушевило.

— Землю надо взять, вот што,— кричал он еще громче,— сама она не дается... Взять ее надо, да и взять-то умеючи.

Толпа замерла, слушала с восторженным вниманием.

— А ты думал — вот тебе тут и все? — повернулся он ко мне.— То-то... Нет, она тебя, матушка, дугой перегнет, а когда перегнет, тогда и накормит... Ефто самое знать надо всякому, а он што знает, пастух? Киргиз — пастух, он одну скотину и знает. Ну, и знай, чего ты ему землю еще пихаешь? Может, ему и не надобна эта земля... Наделил... Ты его скотиной дели, коли богат больно, а земля тут несподручна...

Под взрыв одобрительных криков мужичок спрыгнул с ящика. На его место моментально нашелся новый оратор — какой-то беззубый, с длинным бледным лицом пожилой крестьянин.

— Не правду он, што ли, говорил? — начал он вопросом.— Одну что ни есть правду. А потому, что это все и есть правильно. Коли так оно было — так ему и быть: паси он свою скотину, а мы землю управим. Не умеешь, так нечего и брать ее... Порча одна от этого неуменья происходит...

Таких ораторов, повторявших почти буквально слова друг друга, проскочило человек шесть-семь. Только уж под конец выступил молодой худощавый мужичок в шинели, видимо из красноармейцев.

— Не то вы говорите, мужики,— осадил он ораторов,— не умеет, не умеет... Эка мудрость — землю пахать... Научится небось. Дело не о том, а вот о пасху скоро лбом ударимся, пахать надо яровые, а тут переделять по самую осень... Вот оно — што страшно... вот где и нам да и киргизу с нами могила будет,— где хлеба возьмем? Мы тут переделяем, а земля останется пустая... Надо просить, штобы пока на передел нас не понуждали — поздно эту весну. По осени давайте, там можно, да и то время с чу́тью подобрать надо... А сейчас постановить, штобы просить про это самое.

Умная речь его произвела на всех словно отрезвляющее впечатление, не было больше взбалмошных

утверждений и предложений — били только в корень вопроса: как бы не оставить землю незапаханной.

Забегая вперед, скажу, что этот вопрос подробно обсуждали мы потом в кругу ответственных работников в Пишпеке и Верном и постановили просить центр — Совет комиссаров и Турцик — приостановить в интересах общего дела самый передел до осени. Там поняли, согласились с нашим мнением, прислали телеграмму, что передел временно следует оставить. Этою мерой была спасена область от большого недосева, грозившего ей в случае столь несвоевременной и опоздавшей возни с переделом, тогда как на носу была забота о яровом.

Когда мы из Беловодска приехали в Пишпек и разговорились с товарищами, они, оказывается, уж знали половину из того, что мы обсуждали с беловодскими крестьянами. Я, признаться, удивился этому быстрому способу сообщения.

— Каким это образом: по проводу, что ли? — спрашиваю пишпекских товарищей.

— То проводом, а то и нет,— отвечали они.— У нас тут проще делается: вскочил на коня — и айда. На ближнем селе али кишлаке передал, в чем дело,— оттуда другие поскачут дальше... От одной точки до другой... Бывает, что вся область узнает о каком-нибудь особо животрепещущем деле словно по телефону... Это тут «узун-кулак» зовется... В такой глуши, по горам — иначе нельзя...

Надо сказать, что в Пишпеке — на ряде заседаний партийного комитета, ревкома и ответственных работников — мало что узнали мы характерно нового. Все это уж было знакомо и по совещаниям в Аулие-Ата, Мерке, по массе разговоров в пути, бесед и открытых собраний: волновались земельным переделом, волновались слухами о готовящейся новой резне мусульман с крестьянством, жаловались на недостаток партийных работников, на полукулацкий состав гарнизона и т. д.

Между прочим, здесь впервые с разительною ясностью встал перед нами вопрос о недостаточном взаимопонимании и доверии меж собой даже комму-

нистов — русских и киргизов. Киргизы-коммунисты, объединенные в мусульманское бюро (мусбюро), то и дело стремились обсуждать вопросы только в своем кружке, как бы чего-то опасаясь. Когда я спросил председателя мусбюро:

— Ну, как у вас, товарищ, дела идут с пополнением — много новых членов?

— Очень много,— ответил он с удовлетворением.— Бывает, что целыми кишлаками вступают...

— Все до одного? — удивился я.

— Все,— не понял он моего удивления.

— Да ведь там же и баи есть — они как?

— Все, одним словом, целыми кишлаками,— повторил он еще раз и заговорил о чем-то другом. Мне потом объяснили, что по кишлакам укреплялось убеждение, будто «наша власть пришла, киргизская... а русских — вон отсюда»... И наименее понимающая часть из самих кишлачных агитаторов отнюдь не опровергала этого убеждения, а наоборот, укрепляла его. Потому и кишлаками записывались в партию: чтобы повсюду национальным количеством вытеснить русских. Это было дико, нелепо, но это было так.

Пробравшись к власти, какой-нибудь бай, конечно, драл со всех по десять шкур, а все-таки на посту своем держался, пока не дощупывались сверху, что̀ это была за птица. При последующих чистках вся эта публика была вычищена, выброшена из партии, и лучшая часть мусульманских коммунистов бережно стала охранять свои ряды. Но в половине двадцатого года ряды мусульманских коммунистов засорены были до чрезвычайности.

Помнится, что вопрос об отсрочке передела до осени мы решили в Пишпеке на ночном заседании. Были согласны тут все до единого. А после заседания, видимо, уж на заре, состоялось особое «фракционное» совещание мусульман-коммунистов: во всяком случае наутро они долго не соглашались подписать постановление, за которое ночью голосовали так определенно и единодушно. Даже они, эти сравнительно ответственные работники, были в то время еще полны недоверием к коммунистам немусульманам: вековой гнет,

которым царская Россия давила туземцев в Туркестане, давил он, конечно, и этих недавних коммунистов, и в них он оставил глубокие следы, которые живы волей-неволей, которые не пропадают в недели и месяцы. Только этим, конечно, и можно объяснить, что даже молодые коммунисты из мусульман очень сторожко и недоверчиво держались по отношению к немусульманам, кто бы они ни были.

Совместная работа разбивала эти опасения, но весь процесс перемены отношений был, несомненно, очень длительным, упорным и тяжелым — не закончился, конечно, он и посейчас.

Мы в Пишпеке задержались до следующего дня и перед самым отъездом в обширном цирке провели многолюдное собрание рабочих и красноармейцев. Оно прошло чрезвычайно оживленно: вопросов задавали уйму и устно и записками; было видно, что интересуют собравшихся не только события и дела своего района или города — особенно много спрашивали о Москве, о Кремле, о Совнаркоме, об Ильиче, о красных фронтах. И можно было заметить, что факты, о которых рабочие где-нибудь в Самаре, Уфе и думать забыли давно, эти факты являются здесь новинкой, ими интересуются, как свежими новостями. Далеко-далеко позади живут люди в этих городках, селах, кишлаках, вогнанных под самые Тянь-Шаньские горы.

Где-то неподалеку от Пишпека был в те дни и Джиназаков, председатель особой комиссии Турцика по помощи киргизам-беженцам. Мы с ним в этот раз не видались. Но все, что приходилось слышать, изумляло.

— Тиракул Джиназаков,— говорили нам,— происходит из богатейшего рода. Он один из виднейших манапов. У отца его и до сих пор немало скота. Тиракул ведет переписку с манапами. Как личность — он весьма неприятен: бранчлив, завистлив, зол, скандален и склочлив. Шовинист до последней степени. За ним

числятся разные «грешки», но от ответственности каким-то образом он ухитряется отвертеться. Теперь, оказывая помощь беженцам-киргизам, он дает понять, что здесь чуть ли не его личная добрая воля: «Хочу — дам, хочу — нет».

Можно подумать, что, пожалуй, и добро он раздает свое, а не государственное: во, дескать, каковы мы, манапы,— помогаем бедноте!..

Мы слушали и поражались, не знали — верить этому или нет.

Итак, набитые всякими сведениями и вопросами, насыщенные новыми впечатлениями — тронулись мы дальше. Теперь уж до самого Верного не будет крупных центров вроде Пишпека и Аулие-Ата. Только села, аулы, белые мазанки-станции. И снова степь. И снова горы. Природа все строже, величественней и прекрасней. Близится Курдай. Мы эту ночь ночуем в Сюгатах.

Крошечная станция, кругом в горах, маленькая белая мазанка, тихая, желанная, куда спускаются с гигантского Курдая или ночуют темную ночь, чтобы по заре забираться в поднебесье,— это Сюгаты. Рядом, близ тесовых ворот — киргизские юрты. За юртами — чистый просторный двор. На удивленье чисто вокруг: и в белой мазанке, и около юрт, и во дворе, даже по стойлам; по всему пути — это единственное исключение. Про сюгатинского смотрителя нам говорили еще раньше, говорили, что это всем молодцам молодец и дело ведет образцово. Однако ж, и будучи предупрежденными, мы поразились и обрадовались, что вот, дескать, человек в одинаковых со всеми условиях живет, а посмотрите-ка, чистота какая, порядок какой во всем. Ну, одним словом, молодец,— настоящий рачительный хозяин! Глянули в лицо ему — спокойное, умное, серьезное. Встретил нас и просто и радушно, не было ворчанья, не было и заботливой суеты, хлопанья, беганья, криков и брани... Это обстоятельство расположило к нему с первого шага, с первого слова. Когда готово было «чайное действо», мы даже и за стол

уселись вместе. Иван Карпыч,— его звали, кажется, так,— позвал жену, покликал отца, оказавшегося довольно занятным стариком, и мы таким образом за оживленным разговором просидели до темной ночи. Иван Карпыч то и дело отлучался — сбегает куда-то во двор или на волю выскочит, промелькнет под окнами, пропадает две-три минуты. Потом молча усаживается за стол и продолжает разговор с того слова, на котором остановился, уходя из-за стола. Это он, верно, проверял, как обстоит дело с конями: отпряжены ли, поставлены ли на место, задан ли корм,— мало ли о чем есть подумать. И как только он подымался, старик отец, предупредительно заглядывая ему в лицо, каждый раз начинал:

— Ты сиди, Ваня... Я сам, а?..

— Нет...

И Иван Карпыч исчезал за дверью. Мы разговор вели самый случайный, самый, что называется, легкий. Бывают моменты, когда хочется вдруг потолковать о чем-нибудь настолько безобидном и легковесном, чтобы вовсе не напрягаться мыслью, чтобы только вспоминать и перебирать что-нибудь очень понятное, знакомое, не вызывающее никаких сомнений, разногласий, споров. Гостеприимная обстановка Ивана Карпыча настроила нас всех на этот безобидный лад, и мы наперебой торопились разузнать, какая тут водится дичь кругом, близко ли подпускают утки, рябчики... Много ли зайцев? Не попадаются ли по горам медведи или что-нибудь пострашнее? Как они, обыватели, чувствуют себя в этой мазанке глухими осенними ночами или в зимние бураны? И узнали, что дичи масса, что подпускает она вплотную, не пугается, до глупости доверчива. Узнали, что по горам попадаются медвежьи берлоги, и были случаи, когда киргизы напарывались на медведицу с ребятами.

— Тут одно спасенье — утекай под гору... У медведя передние лапы не годятся для того, чтобы книзу шибко бежать — кувырнуться может... Только этим и спасаются... А иной раз в берлогу, того гляди, ногой ступишь... Горный наш медведь — у-у, какой живодер!.. Это не то, што какой-нибудь Миша-косолапый в

сосновом бору или в сладком малиннике... Этому лучше всего не встречаться — не ровен час, все может быть...

Узнали мы здесь впервые про горных баранов с чудесными ветвистыми рогами, про быстроногих красавцев — горных козлов, которые так скачут по скалам, такие выкидывают отчаянные трюки, будто все это происходит на ровной, чистой долине. Охотников мало, даже вовсе нет. И оружия нет — пороху, дроби,— все перевелось. А дичь расплодилась обильно. Никого не боится, стала будто ручная. Пастухи-киргизы так изучили нравы этих горных жильцов, что баранов и быстроногих козлов бьют каменьями, подстерегают где-нибудь за скалой, когда те пробираются в горы знакомой излюбленной тропинкой или спускаются на водопой к горному ручью. Зайцев не трогают,— их такое обилие, что прыгают по всему пути за Курдаем, словно кузнечики. Слушали мы и не верили.

— А вы сами охотитесь? — задаю вопрос.

— Было, а теперь нет... все подчистую расстреляли...

«Ну,— думаю,— раз охотился человек хоть пяток минут — надо быть осторожнее, слушать-то слушать, а уши не развешивать: нальет. С охотника что и спрашивать».

Но впоследствии все оказалось правдой. Дичи в Семиречье неисчислимо: рябчиков мы едва не давили по пути — так близко подпускали, так долго не слетали с дороги; зайчата скакали то и дело; выходили на дорогу огромные неуклюжие дрофы и мирно паслись, почти вовсе не пугаясь нашего появления и тяжело, как бы нехотя, подымаясь, медленно-медленно улетая в горы. А в горах — дикие козлы: прелестные, золотокудрые, быстрые, чуткие; мы их потом встречали многократно.

— Так неужто вам тут не скучно жить, в такой смертной глуши? — спрашиваю я старика.

— В этакой благодати да скушно,— изумился, а может, и оскорбился он.— Нет, чего там скушно. Да и некогда скучать — дела немало круглый год: то по станции надо помнить, то со скотиной али вот по

своим делам заботу имеешь... Время теперь не такое, чтобы пошел, да и все тебе есть. Не-ет... Ты сначала подумай, потом догадайся, где да как все надо достать, а достанешь или нет — кто тебя знает. Может — и нет. Время знает, куда ему уходить,— скучать нам нельзя...

— Так вы же тут одни. Ведь совсем как бы в берлоге.

— Ну нет, зачем,— вступился и Иван Карпыч,— берлогой наше место звать нельзя. Нас тут — гляди-ка сколько. А потом все время, что ни день, сюда-туда живой народ едет... И разные вести нам везут: одни вот от Пржевальска али Джаркента проедут да нам не то что про себя, а все, что и в Китае-то делается, расскажут. Все расскажут... Потом, глядишь, с Ташкента справляется — этот опять говорит. И выходит, что все мы слышим да знаем, хоть и в горах живем... Только интерес надо иметь... то есть, чтобы самому про все... А сам не будешь — известное дело, и в Москве берлогу свить можно...

После этих слов Ивана Карпыча мне стало как-то неловко за то, что мы так горячо взялись пытать его, да и всех по части горной дичи. И в то же время припомнил я два-три вопроса, которыми Иван Карпыч, видимо, старался отвлечь меня с этой темы на другую. Теперь я поддался, затушил охотничьи свои инстинкты, и разговор наладился совсем по иному руслу. Я рассказал ему про жизнь в Москве,— это больше всего занимало Ивана Карпыча; потом мало-помалу перешел к фронтовой жизни и ознакомил его с тем, что слышно было о «крымской бутылке», какая там сгрудилась для нас опасность, как мы думаем с нею бороться, что за жизнь теперь в Крыму, какой свирепствует там террор и как ведут себя, что делают там наши товарищи, подпольщики-большевики.

Иван Карпыч слушал сосредоточенно — не поддакивая, не кивая головой, никак не проявлял своего сочувствия, восхищения или горечи — вообще не обнаруживал своих внутренних переживаний в связи с тем, что слышал теперь от меня. От стола мы уже давно перебрались с ним на крыльцо и сидели на ступень-

ках. Остальная публика разбрелась кто куда, нас оставили вдвоем. Спускалась в горы весенняя тихая ночь. Все темней высокое, чистое небо, все более расплывчаты и широки далекие остроконечные хребты, все ближе горные подножья — они идут, подступают вплотную, и в густом вечернем сумраке кажется, будто придвинулись они под самую белую мазанку. Какие-то шорохи, чуть уловимые звуки — и писк, и свист, и глухое гуденье — доносились с гор. Но этот горный сумеречный говор не нарушал величественной тишины, что остановилась над горами. Здесь, в сплошных массивах, среди гигантских скал в такую тихую ночь чувствуешь себя необыкновенно: переполняешься новым, неведомым доселе настроением, полон новыми неясными мыслями, весь глубоко взволнован, и восхищен, и полон радостных, торжественных чувств.

— Ну, Иван Карпыч, и красота же здесь,— не удержался я, сбиваясь снова с разговора.

— Неплохо,— промолвил он совершенно равнодушно.— А что этот самый Крым — не тово? — добавил он тем же спокойным тоном.

— Чего?

— А не опасно? Баню *нам* не дадут?

И мне показалось, что под усами у него скользнула улыбка.

— Не должно,— говорю ему твердо и уверенно.— Какая баня: вон Деникин до самого Орла дошел, а где он?

— Ну, а где он? — переспросил и Иван Карпыч.

— Да где,— кажется, теперь тоже в Крыму, а может, уж и в Лондон уехал. Когда его под Орлом-то стукнули — он по трем дорожкам покатился: одной на Одессу — там добили; другой — на Дон и на Кубань — там тоже в море спихнули; а третьей дорожкой он вот в Крым и пробрался... Теперь, надо быть, после разгрома в Новороссийске он и оттуда войската перебросил в Крым... Ну, да это все уж не то, что под Орлом... Да, поляки еще шумят, эти тоже... Ну пока что и там горя мало...

Я рассказал Ивану Карпычу всю обстановку, что сложилась у нас к тем дням. Он слушал внимательно,

и видно было, что все понимал и многое запоминал крепко, отчетливо...

— Слушаю вот я вас,— заметил Иван Карпыч,— и вижу, что оно там как-то все по-другому идет. Не то, что у нас.

— А что у вас?

— Да что у нас? У нас, можно сказать, ничего — хулиганство одно да разбои. И больше ничего. И не было и нет ничего. Потому что всяк себе сам хозяин, а управы нет ему, он и делает, что хочет. Я все дела тут с самого начала знаю, потому что и в Верном бывать пришлось; и послушал — узнал немало со всех сторон; все знаю, еще как в семнадцатом году, когда правительство это керенское было, к нам сюда, то есть в Верный-то, два комиссара наехало: Шкапский да Иванов.

— Это от Керенского?

— Известно, от него. И сейчас же с казаками лавочку развели: там оружие, глядишь, отбирают, там налог какой-нибудь накладывают али арестовывают; в тюрьму запихать — любимое дело. Ну, только киргиза — бей его,— он долго терпеть может. Привык. И прежде били и тут бьют — значит, терпеть до поры. А мужику што — ему какое ни дай правительство, только самого его не тронь. Так и терпели этих комиссаров, не трогали.

— А как же,— спрашиваю,— насчет советской власти — было у вас тогда что-нибудь али нет? Советы-то были какие? То есть примерно вот к Октябрю, в семнадцатом?

— Как же, были и советы — где их не было,— ответил он с нескрываемой иронией. И остановился, чтобы дать мне почувствовать, что не зря подпустил тут яду.— Был рядом с комиссарами совет рабочий, областной. Да разогнали его комиссары. И не то што, а двоих убили, так оно и тела-то весной только на следующий год сыскали. Потом крестьянский был совет, тоже на всю область — его не тронули, побаивались мужиков-то, не хотели травить.

— А в Туркестане тогда уж были советы? — спрашиваю я Ивана Карпыча.

— Ну как же, везде советы, кроме нас,— и он снова иронически ухмыльнулся.— Только плохи больно,— добавил, чуть помолчав,— нам таких-то, пожалуй бы, что и вовсе не надо.

— Чем же это так плохи?

— Да тем, что бестолково за дело взялись, а лучше сказать — и никак не брались за него, только свои делишки выделывали. Кому тогда было в советы идти: рабочий человек на деревне не пошел, все еще боялся... А пошел тот, кто по-своему понял советскую власть: валяй, дескать,— наша взяла... И пошло... Наши тут комиссары даже казаков выставили сюда, на границу: не пропущать, дескать, в Семиречье никаких советов...

— Так чего же,— говорю,— им было *таких*-то советов бояться. Они же им были не опасны?

— Нет, зачем,— возразил Иван Карпыч,— они, комиссары, понимали, что хоть по началу-то и одно вышло, а по концу совсем другое может быть: никаких и ничего, словом — в Семиречье не пущать. Будем жить, как сами хотим, как сами знаем. Ну, и шло пока ничего. Тихо было. Только этот крестьянский совет съезд надумал в январе собрать, а комиссары: «Отчего ж, дескать, не собрать, коли на этом съезде мы со всеми крестьянами сговориться сможем,— валяйте, зовите». Ну, и наехали. Да комиссары еще тут же казаков на съезд со всей области и киргизов — то есть не на этот, а на другой, рядом, на особенный. Всех созвали. Приехало народу немало: на один крестьянский — больше полтораста человек.

— И все три съезда вместе заседали?

— Нет, зачем вместе, врозь — только в одно, значит, время,— пояснил Иван Карпыч.— Да и как им было вместе, когда казаки и киргизы одно, а крестьяне — другое...

— Ну, казаки,— перебил я его,— это еще понятно: они тогда были против крестьян, они друг дружке мешали туземцев обирать, а вот киргизы, этот туземный-то съезд — отчего они очутились с казаками?

— Как вам сказать,— задумался Иван Карпыч.— Я, право, вам этого не сумею сказать. Ну, я думаю,

что прежде всего у комиссаров, у казаков ведь войско было, а по кишлакам не забыли еще расправу в шестнадцатом году: подпугивало. Потом, думаю я, что мужики-то все-таки покрепче насолили киргизу, чем казаки... Да оно, может, все и не так, как я говорю,— может, казаки просто на съезд согнали киргизских чиновников — не со дна, а по городам набрали: сойдет, мол. А чиновники эти, известно, навсегда со Шкапским заодно были — тоже учредительное хотели устраивать... Так что не знаю, а все-таки получилось тогда, что все на мужиков ополчились... И не сдобровать бы мужичкам — чего они сделают одни. А тут как раз солдатов с фронту понаехало — то отсюда, то оттуда. Иной, глядишь, почти выходит, что и в самом Петербурге был: «Я, говорит, знаю, за что мы там, в Питере, дрались. Я, говорит, не позволю». Да што тут: одним словом, с фронту солдат наехал. Один уж больно делен был — Павлов.

— Из фронтовиков?

— Да. Этот ничего не боялся. «Долой, говорит, сукиных детей. Какое там временное правительство, когда нет его давно. Какая там учредилка, когда ее разогнали. Даешь советы, чего там!» Комиссары это видят, что дело неладно — марш на съезд к крестьянам: «Так и так, мы, дескать, властью поставлены и будем ждать, когда учредительное собрание соберется, а Совет народных комиссаров не признаем — долой его». Тут атаман Щербаков: «И я, говорит, тоже, и казаки все со мной». Тут и киргизы, что на съезде были: «Мы тоже, говорят, за это же самое, что атаман». Что ты будешь — глядят мужики: все на них. Ну, только Павлов подымается. «Ничего, говорит, это нам не страшно, а я вам лучше расскажу, что теперь кругом по свету делается, что в Москве, в Ташкенте...» Да и зачал. Доклад. Целую речь. Ему было мешать, его перерывать, а съезд кричит: хочу слушать, да и только. И вот уж он накачал, так распарил всех, что, когда резолюции стали разные голосовать, мужики почти что все за советскую власть: и чтобы ее по области устанавливать, и чтобы Красную гвардию свою — одним словом, загорелось дело.

— Иван Карпыч,— говорю я,— а чего же Шкапский-то с Ивановым смотрели, неужто они не могли ничего поделать — сила же вооруженная была у них?

— Ну, у них. Так что? — ничуть не смутился Иван Карпыч.— Сила силой, а крестьяне все-таки наехали со всех сел-деревень. Тронуть их — ну-ка, тронь. Поговорят, мол, разъедутся,— думали комиссары,— а там мы опять... То есть я думаю, что так они полагали, комиссары-то. Ан вышло не так. Съезд-то уехал, а оставил после себя опять свой совет и совету наказал: делай дело, а не спи. Вот они, советчики, и давай к казакам подсыпаться, а особенно ко второму Семиреченскому полку. Там ребята все были дошлые, молодые, сами на фронтах побывали, а офицеров своих не любили,— это как раз было на руку советчикам. Вот они дружбу с полками и завели. Кружок там свой устроили. А еще кружок один из отпускных солдат — тут и Береснев был, этого знают на все Семиречье.

— Жив?

— Жив, чего ему — такие-то долго живут... Он ишь командует где-то теперь... Да, так эти самые кружочки вместе с советом и стали дело свое затрафлять на комиссаров. А в Ташкент послали двух делегатов: рассказать, как дело обстоит, и помощи просить на случай. Вот Ташкент и давай бубнить: телеграмму за телеграммой, одну за другой, знай жарит по Верному да по разным городам. «Все население, говорит, должно принять участие и свергнуть временное правительство, а ежели этого не будет, то в Семиречье будут посланы войска, и тогда не пеняй. А расходы придется платить самим же советчикам». Как их ни прятали, эти телеграммы да приказы, а знала их вся область. И побаивалась, дрожала насчет шкурки, насчет кошелька. И вот один раз на митинге, надо быть — второго марта, комиссары арестовали несколько ребят из этих кружков. Попал один и от совета, Гречка. Эх, как полк узнал, эх, как зазвенел: «Давай, говорит, на тюрьму, ребята, сейчас же всех освободить!» И поскакали. Сначала к войсковому

кругу — ан там прослышали,— сбежали. Они к тюрьме — да всех и выпустили. Тут примыкать рабочие стали, город осмелел, с вечера отрядами собрался да к ночи от дома к дому,— всех главарей-то и арестовали. А казаков, прапорщиков — этих всех обезоружили: молчат. Силы-то, глядят, и нету у них. А в эту ночь буря была снежная — прямо страх как по городу гудело! Ночь, хоть глаза коли, а они все скачут да бегают кучками. «Куда?» — «В казарму, а вы куда?» — «Мы на склад»... Прибежали к Шкапскому — нет. «Куда ушел?» — «Не знаем». Сюда-туда — нет нигде. Только потом на мельнице — глядь, он и фартук надел, мукой забелил, и шапку старую, пинжак и валенки, честь честью,— мельник настоящий. Тут его и сцапали, голубчика. А Иванов — тот половчее, в городе-то притих, запрятался, а потом и в Китай, в Кульджу, ушел — этого так и не достали...

Иван Карпыч остановился. Он говорил с большим воодушевлением и, видимо, устал.

— Ну, а дальше,— спрашиваю я,— как с властью: ревком создали, верно?

— Ревком,— сокрушенным голосом ответил Иван Карпыч...— То и дело-то, что ревком, да толку-то в нем — што было? Кто туда попал: у кого глотка шире была, тот и в ревком. Почитай, всего пяток настоящего-то народу было, а то — у-у-у!— Иван Карпыч прорычал как-то неопределенно, давая знать, что тут было нечто вовсе неладное.— Пока готовились да выступали — тут все молодцами были, а как только до дела случилось, как шариками варить понадобилось — кому? Пяток, говорю, не больше. А то все — черт-те што... И пошел кавардак...

— Ну, а чего же в Ташкент за помощью не обращались? Я думаю, там был народ?

— Как не быть: народу везде много, только работников вот не хватает,— заявил он поучительно и сурово.— Ташкенту — сейчас же телеграмму: переворотили, мол,— теперь помогай. А он прислал какой-то молодежи зеленой горсточку: «Больше, говорит, не могу, у самого нет ничего»...

— Значит, бедно?

— Ну, как же... Не деревня: самому работники надобны. Да, так это в Верном-то,— воротился он к оставленной теме,— пока там чесали затылки, а казаки знай себе съезды разные по уездам да подготовку ведут. Талгарская, Иссыкская, Большая и Малая Алматинская, Тастак — в этих гнездышках зашипели уж как следует: «Чего, дескать, робеть, коли не трогают?»

— А не знаете,— спрашиваю я Ивана Карпыча,— отчего и как началось самое восстание казацкое: что оно — в Верном или со станиц поднялось?

— Кто его знает? Надо быть, со станиц,— отвечал он,— в городе-то, собственно, и не было ничего. Хотели хлеба из Талгару взять да из Иссыку, а Талгар верст тридцать пять от Верного, и казаки там — ой, как дружные: «Идите-ка, говорят, мать вашу так, откуда пришли, не то и наклеим, пожалуй». А вооруженные: свое было припрятано оружие. Да кричали-кричали, взяли и арестовали посланцев-то за хлебом. Арестовали и посадили у себя: пущай, мол, сидят, пока не скажут из городу, что хлеб боле отнимать не станут. А ревком, конечно: «Восстание!» И хоп туда отряд,— кажется, Щукин им командовал. Вот отряд, значит, с пулеметами, орудиями — ночью через обе Алматинки и пошел. Кто-то спирту достал,— шли навеселе, песни распевали. Казаки алматинские ловко разузнали, куда, зачем отряд идет, да как он только прошел — хоп-галоп, и свой отряд создали на помощь талгарцам. А в Талгар скакунов с вестями умчали. Ждут талгарцы, приготовились. Вот и отряд подошел, свои требования Щукин поставил: освободить арестованных, выдать оружие, выдать зачинщиков-офицеров, которые все дело готовили и народ на смуту подымали. На это вам размышленья — два часа. А если не так — огонь из орудий, и всю станицу дотла снесут — вот как! Прошло два часа, а казаки и не почесываются, все готовят силы, подтаскивают оружие, зарытое в земле, делят шашки, патроны, седла чинят на дело. «Так вы не хотите?» Молчат казаки. Бух-бух — два выстрела по станице: из пушки. Видят казаки, что делу крах, прислали делегатов: «Погодите, мол, еще два

часа, народ только собрался и будет сейчас все дело решать». Ну, отряд и притих: два так два. Сидят себе беспечно, покуривают, болтают, словно в лагерях, да и хватимши к тому же... Ни сторожей, ни охраны какой — нет ничего, спокойны. Да не дремлют казаки-то, уж сбили они немалый отряд, на коней его посадили; тут и помощь от Иссыка подошла, вестник примчался от Алматинок, рассказал, что на помощь-де талгарцам и оттуда идет казацкий отряд. Чего тут дальше дремать: «Гоп-гоп, ура!» Наскочили на отряд и давай его крошить, а эти ротозеи и думать того не думали. Пришла беда отряду неминучая, даже и сражаться путем не сумел, помчал во все стороны. А тем временем подскакали казаки с Алматинок. Што было крови да беды,— уж молчать лучше. Только тридцать человек со Щукиным в горы отбились, а то полегли али в плен попали... Так-то кончилась эта игра с горючим Талгаром. А тут с Алматинок, Тастака да с Каскелена — этот тоже верст на тридцать будет — казаки сомкнулись, город кольцом обложили. Ну, пропадай, наш Верный! Да так точно оно бы и случилось, коли нашелся бы у них, казаков, воевода решительный, взял бы он в свои руки все дело — тогда бы где уж Верному сдобровать! А казаки сдрейфили, каждый сам по себе, про свою станицу только и думает — настроили тоже своих штабов с каждого краю. Оно, верно, штабов и в городе много было,— потом уж Махотин в один их уделал. В городе тут Мамонтов отряд собрал,— этот отряд худую славу потом заслужил, черт знает во што превратился. И вот неделями стояли, боясь один другого: казаки думают, что в городе силы неисчислимо да орудья понаставлены на каждом углу, пулеметы. А городские отряды сидят да сидят — тоже робеют на рожон кидаться. Тут как раз из Ташкенту и подоспел Мураев со своим отрядом. По дороге к нему и в Пишпеке подлипали, и даже от Токмака — человек всего до шести сотен набралось. Идти ему через Каскелен,— тут с казаками первая баня и разыгралась, те не выдержали — бросили станицу, ускакали. А Мураев — на Верный. И так был обозлен командир, что казаки на Красную Армию поднялись,

приказал он для примеру пленных целую дюжину расстрелять. Это были первые расстрелы по Семиречью. Содрогнулись станицы, деревни, кишлаки. Этого еще не знали. Страшно было всем попервоначалу. А когда война войной пошла, тут слушали кругом про расстрелянных, словно баранов там стреляли, а не людей: все привыкли — и в армии, и по станицам, по селам, и в горах. Только вот кишлаки дрожали дрожмя, да и было от чего: казакам да крестьянам хоть есть чем защититься, у них оружие попрятано да на руках, а у киргиза, у таранчинца — что? Нет ничего. Нечем ему и оберегать себя. Надо бы тут не дрожать,— конечно, робко было... Тут уж, когда Мураев пришел — война поднялась настоящая, тут уж покою не было никому.

— А вы не знаете,— спросил я,— каким образом первые-то месяцы войны проходили: как, кто и кого колотил? Вы где тогда были?

— А в том вот и дело, что этого я уж не помню, не знаю совсем. Я с той поры как раз уехал из Верного, и что там совершалось — невдомек мне. Говорили потом, сказывали не раз, да память на этот счет у меня не такая. Когда, куда, да откуда, да сколько винтовок, патронов — я уж этого никак не могу, напутаю непременно...

— Ну, так что-то-нибудь запомнили,— пытал я, раздраженный любопытством. Мне хотелось слышать про эти первые месяцы гражданской войны в Семиречье — по ним, по первым месяцам, всегда можно определить и общее лицо самой местности.

В самом деле, припомните, как эти месяцы проходили в Москве, в Архангельске, на Кубани — и вы поймете, что *так* и должно было произойти, что это характерно, что это неизбежно. Я допытывал. Но Иван Карпыч, видимо, не хотел плавать в слухах — он говорил охотно лишь о том, чему был очевидцем или о чем слышал многократно и помнил твердо. Он отмахнулся общими местами:

— Што там было дальше, я, право, не знаю. Только с Мураева все началось — это уж верно. И тогда же казаки со всех станиц подыматься стали: одни на коня да за шашку, а другие с перепугу брали все свое

барахло и трогались за полками, потом к Джаркенту, а то и в Китай уходили. И не одни казаки — с ними опять таранчинцы случились. Зачем они тут — я этого не знаю, но, видно, крестьяне их доняли крепко. И одну слободу таранчинскую — Чилик... до того разграбили-разбили отряды, что вовсе, можно сказать, ничего не осталось. И зверства, говорят, были никак не переносимые... Так Чилик и сожгли, разбили до основания, а жители-таранчи, те с казаками ушли...

— И так по всем уездам этакая кутерьма была?

— Нет, зачем по всем: в Пишпекском и у Токмака покойно было. Верный, Джаркент и Пржевальск — тут вот самая волынка расходилась, а в двух уездах, в Лепсинском да Копальском,— там, можно сказать, и советской власти-то не было, там все еще хвостики от временного правительства оставались. В этих двух уездах казаки и собрались восстание новое поднять — ну, сюда сразу Мамонтова с отрядом двинули. А как был он в пути на Копал — глядь, казаки ударили на Джаркент и город самый захватили. Из Токмака с отрядом Павлову приказали идти, а из Верного — Мураеву,— обоим на Джаркент. Повернули и Мамонтова. Ну, раз так — все дело потушили скоро, казаков угнали — они в Кульджу ушли. Хоть и ушли, а опасность-то все равно ведь осталась — того и гляди наскочит снова. И молва тут пошла, будто казаки всех «хохлов», то есть крестьян самых, перерезать хотят... Вот и гляди. А эти на казаков тоже зверями глядят... Ну, што ты, как трудно было,— махнул рукой Иван Карпыч.— Ну, ей-богу, спать вот ложится, бывало, человек и не знает, встанет он поутру али нет: то и жди, что кто-то секанет тебе по башке — и нет башки, один остался, живи, как хочешь. Эх, времечко, эх, и времечко было! Теперь разве сравнить — там словно на битву и день и ночь ходили, то и знай, что голову сорвут... Ну и ну. Натерпелся народ, что говорить. Много вынес. Было бы только не зря. Вот что главное.

— Да, это главное,— подтвердил я механически, а самому все хотелось узнать что-то еще... Спать не клонило, да и едва ли усну — до зари оставалось

недолго, а с первыми просветами мы решили ехать дальше.

— Вы говорите,— снова обратился я,— что казаки в Кульджу скрывались, а разве их там не разоружали?

— Зачем разоружать — нет. Даотай — значит губернатор этот кульджинский — он с ними тогда ничего... Положим, и Мураев, говорили, ездил к даотаю, переговоры какие-то вел, да вышло ли что из этого, я и не знаю. Там еще, в Кульдже-то, консул старый русский сидел, от царя остался,— куда же ему, сердяге, деваться было: там и застрял, да вместо того, чтобы на Россию дело делать, он против нее ополчился. Деньжонки, знать, были у подлеца, а с деньгами чего не сделаешь. Он на деньги эти и казаков-то содержал, помогал им, готовил, чтобы на Семиречье ударить...

— Ну, а с Мамонтовым што было? Его отряд куда девался после Джаркента?

— А его отряд,— отвечал тихо Иван Карпыч,— его отряд пошел, куда ему и сказано было: через Копал, весь Лепсинский уезд прошел, самые Тахты отбил у казаков, а их — в Китай. Только, сукины сыны, уж и свирепство нагнали, особенно насчет киргиз: как в степи попадет — ага, значит, разведчик, давай его сюда — и молотят, как шпиона казацкого. Ну, после такого дела они, конечно, киргизы-то, все и подлинно казакам помогать стали. Эх, и отрядик был, вот панику нагнал на всех!

Я посмотрел на утомленное лицо своего собеседника, и стало мне его попросту жалко, и сделалось неловко, что так я его заживодерил, а решимости оборвать беседу, видимо, у него не хватало. Вижу, что делу надо конец подводить, хоть того и не хотел.

Иван Карпыч сидел молча — последние минуты он говорил уже чуть-чуть поохрипшим голосом, и теперь было слышно, как он чмокает, глотая слюну, смачивая пересохшее горло.

— А ну, не спать ли пора? — обратился я к нему, стараясь придать голосу своему как можно более веселости и непринужденности.

— Што же, спать так спать,— вздохнул он облегченно.

И через минуту, пожав мне руку, он ушел на свою половину. А я остался на крылечке. И как же теперь здесь было тихо! Как было жутко, торжественно в молчаливых горах. Кругом, словно с глубокого дна, я вижу темные, чуть различимые силуэты скалистых склонов,— они сливаются, перемежаются, пропадают так же внезапно, как внезапно выплывают из мрака. Теперь, глубокой ночью, и небо другое,— не то что ввечеру: оно густое, насыщенное, словно налитое полуночной свежестью, холодной испариной горных ручьев. Прекрасное высокое строгое небо. И оно еще выше от этих гигантов-скал, от этой чуткой тишины. Я вдыхаю свежий горный воздух, и так мне легко, так отчего-то все и просто, и ясно, и посильно, я чувствую себя здоровым, уверенным, на все готовым.

Прощай, Сюгаты. И старик отец, и ты, Иван Карпыч. Спасибо, что приняли так радушно,— это редкость по большому Семиреченскому тракту. Все чаще встречи наши были скандальные, шумливые, то с просьбами, то с угрозами. А тут, на-ко, дружно как, по-приятельски приголубили!

Мы в две тройки покинули гостеприимную хибарку. И долго-долго еще видели, как на крыльце стояла вся семья Ивана Карпыча, и они глядели в нашу сторону, кивали головами, махали руками. Мы делали то же, оглядываясь ежеминутно из своих просторных ковчежных шарабанов. Горы нас разделили, станция скрылась из глаз. Возница-киргиз сидит неподвижно на отрепанном облучке и журчит про себя не то песенку, не то рассуждает вслух торопливым речитативом.

— Кароши козяин,— вдруг обернулся он ко мне и с ухмылкой мотнул головой в сторону станции.

— Что?

— Хе! — усмехнулся он.— А, ну, ну...— и, чмокнув, ударил вожжами.

Я оживил без повторения в памяти у себя произнесенные им звуки и догадался, что возница говорит про Ивана Карпыча.

— Да, кароши, кароши,— поддакнул я, обрадованный, и зачем-то говорил «кароши», а не просто «хороший».— Кароши козяин Иван Карпечь...

И понял, что глупо мне ломать язык и уродовать слова, что говорить надо, как следует.

— Эй, друг,— обратился я к нему полными, отчетливыми словами,— а чем он хороший человек — что же, он помог тебе, что ли, чем?

— Кароши,— повторил возница не оборачиваясь,— хлеб кормит, хатын [1] кормит, дети кормит... Кароши...

— А много у тебя детей?

— Дети многа... Все дети есь... Шеся человек...

— Ну, и голодно вы живете? Трудно?

— А кароши... хлеба...— повторял он только знакомые слова и никак не мог подобрать целую фразу. Но лишь только заслышит знакомое слово, сейчас же быстро обертывается на облучке и с сияющим, торжествующим лицом усиленно кивает головой:

— Та-та, ай-та...

И сам улыбается доброй широкой улыбкой...

— А что твоя хатын делает?

— Хатын делаит... хатын делаит: мага,— вдруг заявил он и оборвался, неуверенный — пойму я это или нет.

— Мата. Знаю мата,— снова сфальшивил я на падеже.— Мата хороший... Мата крепкий...

— А, мата, ай-ай...— и он высоко в знак удовольствия вздернул кнутовище и, присвистнув по-особенному, как присвистывают только возницы-киргизы, ударил по лошадям. Кони побежали быстрей. Азан, так звали возницу, не раз еще высказывал мне свое удовольствие по разным исключительным случаям: в лужу ли засыплемся слишком глубоко, утки ли дикие подымутся в стороне, или навстречу покажется тройка, спускаясь по склону,— Азан отзывается на все

[1] Хатын — жена.

живейшим образом: до всего ему дело, все его занимает и волнует и даже приводит в восторг.

Я заметил у него одну милую особенность: как только дорога раскалывается надвое — он непременно выбирает самую ухабистую и самую грязную, притом по ровному месту может ехать тишайшим ходом, а по ухабам так и норовит развить карьер.

— Ты что, Азан, зачем дорогу плохую выбрал — видишь, там хорошо,— показываю я на соседнее ответвление, где, видимо, и суше и крепче грунт.

— Ай, кароши,— смеется он.

— Да не кароши, черт возьми, а плохо, даже очень плохо,— кричу я ему.

— Мякка... очень мякка,— тычет он кнутом в грязные ухабы.

Что ты станешь делать — приходится соглашаться.

Мы проехали мимо огромной болотины — здесь то и дело подымались утки, невдалеке прохаживались важно длинноногие цапли.

— Хай, хай...— покрикивал на них то и дело Азан, видимо желая и нас позабавить, показать, как много тут всякого живья.

Ну, вот и подножье Курдая.

Этот гигант взгромоздился тут на пути и разрезал его на две половины. В теплые летние месяцы здесь по склонам горячий солнцепек, а вот зимой, когда гудит-бушует вьюга, к Курдаю лучше не подступаться. Тогда страшатся его даже привычные возницы-киргизы. На широком Курдайском плоскогорье, на его хребтине такие разыгрываются метели, что дорогу не найти — нет ее, начисто заметет, и следа не сыщешь. Сугробы снежные движутся бураном и сюда и туда: в хрипах, и стонах, и свистах горного ветра не слышен голос человеческий. Забудь о помощи, заблудившийся путник. Тебя никто здесь не найдет, не услышит в буйном буране и разве, на счастье, утром уж только откопают под высокими рыхлыми наметами снега!

Немало рассказывают здесь этих случаев, когда курдайские бураны хоронили опоздавших путников. И Курдая зимой боятся все — он может освирепеть

неожиданно, закружить в одну минуту яростными вихрями.

От Сюгаты дорога все время в гору — так семь или восемь верст, до перевала, где начнется широкое открытое плоскогорье. Когда мы тронулись в путь, вершины были скрыты в белых волнующихся простынях тумана. Но чем дальше — тем светлей и прозрачней горные просторы. И все свежей. У подножья, в котловине — там уже случается пробивающаяся травка, там весенняя распутная дорога, а вон, посмотри, эти близкие вершины — там серебрятся вечные снега. Горы словно играют с нами: подступят к дороге, нависнут, сожмутся и вдруг отскочат далеко-далеко, оставят на голой равнине. Вот начался крутой подъем. Мы слезаем с шарабанов и версты две идем пешком. Не только оттого, что коням тяжело, но и любо нам шагать по горной тропинке, следить, как она выскакивает на крутых поворотах, как затеривается где-то высоко над головой, выглядывая обрезками ленты из горных извивов. Громоздятся одна на другую каменные громады, вырезаются остроконечные, изрезанные скалы, а дальше, там вон, в стороне, гладкие холмистые вершины,— знать, крепко оцеловал, облизал и огладил их горный ветер, срезал острые макушки своим жгучим, ледяным дыханьем.

Мы приближались к широкой нагорной равнине,— она идет на двадцать верст до самого спуска, где под горою такая же крошечная станция, как Сюгаты. Эта станция по имени грозного гиганта зовется «Курдай».

Вот мы и на вершине. Снова забираемся в свои шарабаны, продолжаем путь. Здесь холодно. По краям дороги все еще снег, он заледенел, чуть держит человека. Но уже не везде остались снежные заносы: в иных местах, где ветер не пробьется меж холмами,— картина похожа на весеннюю. Все-таки холодно здесь, крепко холодно — мы не зря поупрятались в шинели.

— Хай! — громко крикнул Азан и указал кнутом на поднявшуюся стаю уток. Мы следим, видим, как она опустилась над дальним болотом. И снова поднялась и прошумела к болоту.

Не вытерпел, прицелился, ударил в тройку, вспорхнувшую от самой дороги. Промазал. Но дружки меня успокаивают, что «упала», сами видели, как затрепыхала в болото...

Раздраженные таким искушением, мы с «кумом» соскочили, кинулись на̀стом к болотине. Сначала, проваливаясь, бежали, потом крались на коленях, а там на животы легли, поползли: пугать не хотели. И снова стреляли — успех один. Потом условились, что полезно будет устроить облаву: я лягу на снегу, ружье наготове, а «кум» забежит дугой по насту и будет гнать всю стаю прямо сюда. Сказано — сделано. Я вижу, как его долговязая фигура качается на снегу, то и дело проваливаясь, подпрыгивая, утекая все дальше и дальше. Вот «кум» уж на месте. Он начинает смешно дрыгать руками, даже ногами вытряхивает какие-то артикулы, начинает выть, кричать, улюлюкать: это он, видите ли, нагоняет уток,— примерно так же, как хлопотливая хозяйка загоняет куда-нибудь в угол расходившуюся курицу,— раскинув руки, парусом охватив подол и выделывая циркули ногами. Вдруг «кум» завизжал неистово. Утки действительно перепугались. Большая стая, штук тридцать, сорвалась и летела прямо на меня. Замерло сердце:

Ну, пяток — самое малое!

Вдруг стая, видимо почуяв мою особу, повернула в сторону. И дальше. И я вижу только мелькающие черные точки: скрылись уточки за косогором, пропали из глаз. А я все лежу животом на снегу и готовое ружье держу на взлете. По сверкающему насту, увязая и выскакивая, снова пробирается ко мне сутулая, крючковатая фигура моего «пугача-кума».

— Не попал? — задает он ядовитый вопрос.

— Попал,— отвечаю невесело.

— А где же?

— На том берегу, за болотинкой, поди-ка поищи со своим талантом...

Мы возвращаемся к шарабанам и уж целую дорогу про охоту ни слова. Да и в самом деле, рассуждали про себя, эка невидаль — охота. Словно про нее только и говорить, давай лучше о чем-нибудь другом...

Спутницы уехали далеко вперед, замерзли. Отбранив нас авансом, сколько полагается, они сели в переднюю кибитку и умчали одни, а мы теперь их догоняем, тщетно стараясь быть веселыми и тщательно заминая воспоминанья о несчастной недавней охоте.

Лысина Курдая однообразна и скучна. Сухой пронизывающий ветер заставил нас укутаться в тулупы. Весна не весна, да и зимы нет настоящей: по морозному ветру вспоминаются январские холода, а дорога бесснежная, заледенелая крепится, словно капризными мартовскими вечерами. Кой-где непримерзшая жидкая кашица, а по лощинкам и ниже, за холмами, серый скучный незимний снег. Оледенелые снежные вершины, где нет ни лета теплого, ни зеленых трав,— это царство вечного холода и суровых буранов,— оно где-то в стороне. Издалека сюда смотрят серебряные хребты, словно завидуют Курдаю, что его пригрело солнце, что с него упадают ледяные оковы, что из-под белого савана пробивается к жизни зеленое царство. Курдай оживал. Он еще боролся с последними, прощальными бурями, с ледяными ветрами, но уж властно и здесь и там давала себя знать и чувствовать близкая весна. По широкому однообразному плато мы трусим версту за верстой. Молчим. Уткнулись в высокие ворота бараньих тулупов. На режущем, жгучем ветру — кому же охота пускаться в разговоры! Вот и спуск. Отсюда до станции Курдай осталось всего пять-шесть верст. Вначале этот спуск так же однообразен и гол, как вся курдайская хребтовина. Но чем ниже, чем глубже в ущелье, тем ярче тона, неожиданней, прекрасней горные ландшафты. Кручи гор повисли с обеих сторон причудливыми громадами,— они избиты, изрезаны, вымыты теплыми дождями, высушены, иссечены острыми горными ветрами: то взметнутся стрельчатыми шпиками, иглами, копьями, круторебрыми кинжалами, то осунутся куполами, гигантскими тумбами, беспорядочными грудами разбившихся скал. А над скалами плавают любимцы гор, красавцы орлы. Парят медленно, величаво, торжественно, то пропадая за отроги, то выплывая над ущельем, чернея в прозрачном, легком голубом эфире.

Навстречу по узкой дороге, в ряд, один за другим, колышутся бурые невозмутимые верблюды, и на горбатой спине и на тощих, костистых боках навешаны узлы, понатыкана домашняя утварь: это караваном уходят семьи дунган из верненских степей. Впереди только вожатые — в цветных кафтанах, в широких поясах, на манер цыганских, в легких причудливых шапочках; они идут рядом с верблюдами и выкрикивают резким голосом какие-то незнакомые, непонятные нам угрозы. За верблюдами на повозках, запряженных лошадьми,— дунганки, молодые и старые, черномазые ребятишки с блестящими карими глазами. Красные, синие, голубые ленты, шарфы, пояса, юбки... Улыбаются нам с повозок и что-то кричат незнакомое, непонятное. Мужчины проходят молча: без звука, без улыбки.

Прошел караван. Дорога кружит по ущелью, мелькает чистыми, заново построенными мостиками, переброшенными здесь и там, ширится, все ширится, и наконец выплывают нам навстречу зеленые гладкие купольные головы холмов. Это холмы по долине, они говорят о том, что кончились горы, что мы выезжаем в курдайскую равнину. Вот и холмы миновали — глянула знакомая белая мазанка почтовой станции.

Путь был недолог. Ждать здесь не стали. Перепрягли коней — и дальше. Теперь уж и до Верного осталось немного, и хочется скорее-скорее туда. И мы глотаем станции одну за другой, не ждем, не отдыхаем: назавтра хотим быть у цели.

Помнится, в эти последние дни, да и на станциях перед Курдаем приходилось все время вести жаркую перебранку с начальниками станций. Это был преудивительный и прегнуснейший народ. Почти сплошь такой. За исключением немногих. Помнится, в пути обогнали мы почтовые тройки. Приехали на пункт, ждать не стали — попросили лошадей. Запрягают. И когда уже все было готово, когда мы перегружались, чтобы ехать дальше,— подкатили почтовики и властно заявили:

— Ехать нельзя: мы едем.

— Позвольте, мы же первые приехали,— заявляю им.

— Ничего не значит: почта прежде всего.

— Но у меня, посмотрите: «вне всякой очереди».

И показываю им мандат, где говорится, что по делам большой срочности и важности ехать надо *вне всякой очереди.* И слова эти даже подчеркнуты.

— Ничего не значит, это чепуха,— брякнул почтовик.

— Как чепуха? — взъерошился я.

— Да так... Ну, нечего с вами болтать,— объявил он небрежно,— выкладывайте вещи: мы едем.

Тогда я к делу подскочил с другого конца.

— Грузу у вас сколько?

— Около тридцати пудов...

— А кто сопровождает?

— Я...

— А это кто такие,— наступаю я на почтаря и указываю на трех подозрительных субъектов, с ним приехавших и напоминавших по внешнему виду мелких торговцев.

— А они какое право имеют ехать? — кричу я раздраженно почтарю.

— Такое право, что со мной,— ответил он.— Да и что за разговоры — выгружайтесь.

А я уж слышал раньше, что почтовики в те дни спекулировали бессовестно: из Ташкента в Верный везли дешевый кишмиш, а из Верного обратно — белую муку. Заглянул я им в повозки, ощупал, вижу — совсем не почта —мешки кишмишу.

— Это что же такое? Ах вы, сукины сыны!.. Сейчас же документы! Я вам в Верном покажу кузькину мать!

Но почтарь был парень тертый. Хотя он и понял, что на тридцать пудов три тройки занять ему нельзя, все же попытался воздействовать на меня испугом:

— Нет, вы мне свои покажите... У нас закон... Я вас законом...

Мы записали друг друга и поклялись притянуть непременно к суду. Брань бранью, а мы все-таки сели и уехали. Почтарь поехал за нами,— не знаю, сразу ли достал он лошадей под мешки кишмишу.

Был и другой случай. Приехали.

— А ну-ка, приятель, нам лошадей...

— Нет лошадей,— отвечает сумрачно и вяло худосочный моложавый смотритель.

— Как, ни одной?

— Ни одной...

— Совсем пустой двор? — изумился я.

— Не совсем, тройка есть, да только пришла, упарилась, устала — ее нельзя.

— А скоро ли приедут новые?

— Не знаю,— отвечает он нехотя.

— То есть как же «не знаю», кто же знать-то будет за вас... Ну хоть примерно: вы когда их отправили?

— А какое вам дело?! — оборвал он грубо.

Кровь ударила мне в голову.

— Что за хамское отношение? Что, вы не можете, что ли, отвечать как следует! — крикнул я ему, обозленный.

— Нечего отвечать-то, без вас все знаем,— ответил он, стараясь уйти в комнату.

— Нет, постойте,— останавливаю я,— вы все-таки скажите как следует... Вот мандат... Я еду срочно...

— А мне што за дело?

— Да, черт вас дери, мне-то это не безразлично... Скоро ли лошади ожидаются, спрашиваю я вас, и долго ли ждать?

— Не знаю,— ответил он на ходу и скрылся.

Я посылаю «кума» на разведку: осмотри все конюшни, проверь насчет оставшейся тройки.

Он через пять минут бежит возбужденный:

— Четырнадцать лошадей!!!

— Что-о?..— не понял я.

— В стойлах на дворе четырнадцать лошадей...

Я побежал вместе с ним во двор и глазам своим не верил: по стойлам действительно стояло четырнадцать штук. Мы сейчас же в юрты к киргизам:

— Лошади давно стоят?

— Вчера ездил...— отвечают возницы.

— А сегодня не ездил? — спрашиваем.

— Нет...

— Все не ездили?

— Нет...

Разъяренный, несусь прямо к смотрителю и кричу на бегу:

— Это что за подлость! Саботажничать?!!

— Лошади устали, заезженные,— оправдывается он.

Ни слова не говоря, хватаю негодяя за шиворот, трясу, как собачонку — и, не в силах сдержаться, рычу:

— Ах ты, сукин сын! Если через десять минут не будет лошадей — шашкой по башке!!

Через десять минут лошади готовы. Но прежде я составил протокол. Оказалось, что смотритель из семинаристов, сын попа. В Верном протокол отдал я в почтовое отделение, а копию — ЧК; судьбу не знаю.

Где ты, семинаристик? Помнишь ли свой саботаж и заслуженную встряску?

Едем дальше. О, ужас! На следующей станции почти буквально то же.

— Нет лошадей.

— Ни одной?

— Шесть больных, больше нет...

Мы сразу в конюшни. И что же: вместо шести больных... семнадцать здоровых! Расспросы киргизов-возниц разъяснили дело.

Я подлецу показал дуло нагана.

Через десять минут мы уезжали.

С этакой шпаной мы до полусмерти измучились за долгий шестисотверстный путь. Потом в Верном мне смеялись местные ответственные работники:

— Вы один раз проехали да устали, а мы тут с ними все время маемся. Шпана на шпане. И саботажники. А заменить некем,— вот пока и миримся.

Станция за станцией, скандал за скандалом,— мы близимся к Верному. Навидались теперь мы всяких видов, насмотрелись диковин, наслушались слухов, рассказов и смутных догадок.

На место приехали совсем не новичками: за долгий путь чего-чего не увидели, не услышали, не узнали!

А вот и Каскелен — последняя станция перед Верным. Станем ли ждать, когда не осталось и трех десятков верст! Скорей, скорей!! Довольно дорожных

мытарств и бесплодной глупейшей брани с почтарями и смотрителями. Мы катим по шоссе. Нервничаем. Ожидаем, как он покажется, Верный. И где-то вдруг вдалеке мелькнули церковные купола и кресты, потом стали видны окраины города, вырисовывались отдельные домики... Ну, здравствуй, Верный! Здравствуй, пока чужой, таинственный город, о котором мы так много слышали и которого совсем-совсем не знаем. Как ты встретишь нас? Как мы станем работать? Ты — центр огромной области. В тебе бьется сердце жизни полуторамиллионного населения. Много кружили мы за гражданскую войну: по Уралу, по самарским степям, по уфимским горам... и все эти центры: Урал, Самара, Уфа — это целые полосы жизни. Каждая имеет свою особую печать, свое лицо. А ты, новый наш незнакомец, какое будешь иметь лицо? Как развернется здесь наша работа? Сумеем ли понять обстановку, войти в круг вопросов и в дружескую, тесную семью работников? Неужели — интриги, зависть, склоки ожидают нас вместо горячего труда? Нет, нет, не надо! Мы верим, что расправим здесь крылья, размахнемся в плодотворной творческой работе, обнажим и отдадим все, что накопилось, что было скрыто, что прибавилось за эти годы и что надо непременно израсходовать, отдать куда-то вовне, с кем-то поделиться накопившимся опытом, разрядиться в новой, пока неведомой работе.

Так здравствуй, новый труд на новой ниве! Мы любим тебя в новой обстановке, в любых условиях. И всегда готовы отдаться тебе всеми знаниями, всем накопленным опытом жизни, всем пылом молодости, всей горячей верою в нашу победу, в нашу непременную победу!

II. В Верном

Вот мы и в Верном. Я знаю, что здесь председателем областного ревкома мой товарищ по Самаре Юсупов. Даешь Юсупова! В чужом месте, особенно в такой

глуши, какая это радость — найти с первого раза старого знакомого. Может быть, он, этот старый знакомый, и будет чужд тебе наутро же; быть может, скоро-скоро найдешь ты здесь новых друзей, отличных товарищей и, вместо старого, к ним, к новым, привяжешься, но это потом. А теперь, сразу — к старым, к знакомым!

Мы подкатили к ревкому: рослый стильный домина по главной улице. Он на углу выпирает круто вперед, кидается в глаза. Еще и не зная, что это за дом, мы поняли, что он должен быть ревкомом.

Дружеская встреча, охи-ахи, радостные восклицания, торопливые обещанья работать дружно, в контакте...

— И работы так много... Непочатый угол... И некому браться... Работников нет... Беда.

Он проводил до ближних Белоусовских номеров, где жил сам, где и нам все готово. Правда, не сразу было добыто хорошее жилье — первое время околачивались довольно сараисто и грязно. Но это не в счет.

— Как к делу приехал, ах, как к делу...— приговаривал Юсупов.

— Что такое?

— Да как же: у нас тут уездный съезд советов... И надо доклад... О самом новом, о последнем — политический... Ну, раз из центра — твоя обязанность рассказать нам все, что было, и есть, и будет...

Я и не подумал отказываться. Да это и в самом деле отлично: сразу окунуться в здешнюю жизнь, в работу, интересы, вопросы, нужды,— что за блестящее начало!

Набит до отказа городской театр. Зрелище диковинное. Обстановка невиданная. Как будто и все здесь, словно у нас — где-нибудь в Иваново-Вознесенске, Вичуге, Тейкове: за столом, на вышке, президиум клонит головы над пустыми листами бумаги; позади, у стены — прислонены знамена, и на этих знаменах все те же могучие крики:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Путь борьбы и труда — это путь освобожденья».

«Да здравствуют победные полки Красной Армии!»

«Да здравствует Красный Интернационал!»

Багровеет бархат, щекочет золото гигантских букв, массивное древко уперлось упорно в заплеванный, забросанный, затоптанный пол. Табачный дым густыми облаками ходит поверх голов. Лица серы, желты, бледны, матовы... Голоса сухи, трескучи, словно лучина, или глухи, сиплы и хриплы: сегодня съезд последний день, выговорились все до омертвения. Все-все как там, в далекой России, на фабричных дворах, в сальных прокопченных столовых, где мы в семнадцатом из господских салонов утащенный бархат и шелк перекраивали в ало-багровые знамена и писали зычно:

«Долой десять министров-капиталистов!»

Но глянь по изголовьям: вместо рабочих кепок — то чернополая шляпа, то увесистая шапка, картуз крестьянский, то целый бараний овин или белая долгая простынь, замотанная так хитро и ловко — туземный головной убор. А наместо пиджака, тужурки — глухо запахнутые теплые шубы, зипуны, киргизские ватные цветные халаты... По рядам — говор: удивительный, ни одним словом не знакомый. Что он, этот говор: про радость, довольство идет или зло потешается, проклинает, каркает беду?

Не знаем, не знаем,— ничего не поймем.

А приходит урочный вечерний час, солнце обходит положенный круг, и эти делегаты, члены советского съезда, собравшиеся решать и выбирать пути в царство социализма, падают ниц и молятся восторженно, будто загипнотизированные, своему неведомому богу, вздевают руки, гладят себя по лицу, шепчут какие-то невнятные звуки молитвы. И снова слушают доклад. Потом перевод на туземный язык — или наоборот. Потом споры. И сами вступят в спор. И будут доказывать, убеждать, воздевая руки, бия себя в грудь,— восторженно, пламенно, сердито...

Не поймешь... И стыдно, и жалко, и больно оттого, что не можешь понять эту вот сочную, такую нужную, важную речь: в ней подлинное, в ней жизнь, сегодняшний день. Его надо знать, иначе немыслимо работать. А его не знаешь.

И не узнаешь. Потому что немыслимо *перевести,* рассказать пламенную чужую речь. Переводчик всегда лишь *осведомляет* о том, что ему надо перевести. И от этого осведомления не остается почти ничего. Все пропадает. Живое, нужное, серьезное слово — уплыло. И мы от этих первых неожиданных уроков вешаем головы. Кончатся речи. Уйдут делегаты в зал, по коридорам, сомкнутся у дверей — и снова о чем-то горячо толкуют, спорят. Волнуются о важном. Кричат. Потрясают кулаками, грозят... Кому? Нам или врагу нашему? Ах, мы даже и этого не знаем. А речи, крики — так громки, так волнующе свежи, так увлекательны неподдельной искренностью. Мы знаем одно: здесь, по Семиречью, главная сила — туземцы. И не столько татары, сарты, дунгане, китайцы, таранчи — сколько киргизы. По киргизским кишлакам вся советская главная сила. Там, в них,— будущее советского Семиречья. И знаем мы еще, что по кишлакам киргизским мало у власти бедноты. Больше — манапы, баи, тузы-богатеи, знатные господа киргизские. Только кой-где, почти случайно, на редкость, в совете кишлачном заседает трудовик, бедняк киргиз...

Вот они, делегаты киргизские,— в цветных чалмах, цветных халатах: дородные, упитанные, с незнакомо-замкнутыми лицами, странными, непонятными жестами, чужой, незнакомой речью... Они — из советских киргизских кишлаков. Но что они думают? Чего хотят? С чем согласятся, на каких пределах и где, за какими пределами они восстанут как открытые враги?

Нам мучительно трудны эти коренные, самые важные вопросы. На них ответа нет.

А кулацкая деревня, сытая казачья станица — они тоже прислали сюда не нашего комбедовского мученика, не безлошадного, безземельного батрака, не измыленного помещиком беззащитного, полуголодного испольщика. Нет таких. Здесь казаки — исконные. Да к тому же, станицы казацкие будто в опале: не милует, не жалует, не любит их победительница, кулацкая деревня. И казак сердит на деревню. А с деревней — на советскую власть: потому что — *деревня* создала здесь Красную Армию и деревня прихлопнула

казачьих атаманов: Щербакова, Дутова, Анненкова... Только немногие из станичников, все переборов и все переступив, знают, куда идти, за что бороться, где правда, где верная победа. Но этих мало. А коренная станица — терпит, но не любит, ох, не любит советскую власть! Мы и это знаем.

Вот они — делегаты кишлаков, станиц, деревень...

И каждый по-своему — друг и недруг советскому, большевистскому, новому...

Мы насторожились. Чувствуем двойственность. Еще не знаем, что и как станем делать в этой новой, своеобразной, трудной обстановке.

Знамена ало-багровы; солнечным золотом горят беспокойные лозунги; так же, как в родных рабочих центрах, здесь встанут и стоят и поют «Интернационал»... И резолюции принимают: бороться... трудиться... строить...

Все, все — как там... И в то же время мы с первого дыхания чувствуем, как глубоко отлична эта обстановка, эта среда, это пение, эти лозунги, эти принятые резолюции... Надо быть осторожным...

Последний день съезда. Сейчас поручают сделать доклад... Что ж: идет.

О чем ином тогда было говорить, как не про новый курс, новые задачи нашего хозяйственного строительства... ЦК еще задолго до партийного съезда, то есть до 27 марта, опубликовал эти тезисы. И в центральной России каждая крошечная ячейка обсуждала их, искренне горячась, то негодуя, то шумно радуясь, и повсюду — с острым, глубоким, крепким пониманием великих задач, намеченных здесь на близкое и дальнее время. Вот Туркроста эти тезисы размножил на серых тощих листочках и по Туркестану. От себя добавил:

«Особенно тщательно наши хозяйственные задачи должны обсудить коммунисты Туркестана, где борьба на хозяйственном фронте только начинается...»

Мы смотрим на этих делегатов и думаем:

Пункт пятый... «От централизма трестов к социалистическому централизму»...

Большой, серьезный пункт тезисов. Но что до него *практически сегодня* — этим семирекам, у которых нет

ни заводов, ни фабрик, а одна только пашня, косяки степных кобылиц да пастбища поднебесных гор. Нет, на этом пункте застревать нельзя... Другой, седьмой:

«Выработка форм социалистического централизма»... восьмой, десятый, пятнадцатый —

«О ремонте паровозов и постройке новых».

Нет-нет, тут только пару слов, мимоходом, самых общих, а весь доклад построить, быть может, даже и не на главном... Пусть, но оно ближе, нужнее *здесь, теперь.*

Говорить здесь о «мобилизации индустриального пролетариата» не то что вредно, а попросту не нужно: слова останутся словами, толку от них ни на грош.

Тезисы — одно, а как их разъяснить *здесь* — это статья особенная.

И доклад построен был под Семиречье.

«Устанавливаются с удовлетворением бесспорные признаки подъема воли к труду в передовых слоях трудящихся»...— так начинались тезисы. Да, на этом полезно сделать остановку. Здесь можно сказать хорошие, нужные слова о превосходстве организованного коллективного труда над разобщенным, частным, случайным.

Потом — о трудовом соревновании. Этот вопрос в ту пору был и нов и свеж. Он взволновал глубоко, открывая новый путь, новую форму, новую подмогу.

Когда говорили об областных хозяйственных органах, о том, что «областные бюро должны иметь широкие полномочия в области непосредственного руководства местной хозяйственной жизнью»...— неподдельное оживление зашелестело по рядам, каждый понял по-своему — как *ему* любо — эти «широкие полномочия»: окраины всегда особенно охочи говорить и думать и спорить о своих полномочиях,— этой любовью, разумеется, пылало и глухое Семиречье... Говорили мы дальше и об участии масс в управлении промышленностью, и о спецах, и о ремонте паровозов, но мало: три четверти съезда — уж никак не меньше — в жизнь свою не слыхали фабричного гудка, паровозного свистка, не видели ни вагона, ни шпал, ни

рельсов... Зато все силы были собраны, все знания, весь опыт и уменье — все было пущено в ход, когда прозвучали роковые для Семиречья слова одиннадцатого тезиса:

«Собрать путем высшего напряжения сил продовольственный фонд в несколько сот миллионов пудов».

Мы уж знали, что тут, на месте, никакие приказы о разверстке не помогали, что все сборы кончались пустяками: хлебное, сытое Семиречье мало думало о голодных городах, об изморенных деревнях республики.

Сытый голодного воистину не понимает. Гудели уныло на скамьях делегаты: хлебные жертвы им были не по сердцу.

А дальше — вопрос о трудовых армиях. Этот вопрос жгуч и злободневен: армия Семиречья переходит на положение трудовой. Как будто слушают и внимательно, а согласья, одобренья на лицах нет. Учтем. Через «трудовое дезертирство», через «субботники» (тут — улыбочки, усмешечки) — к концу: Первое мая!

Надо «превратить международный пролетарский праздник Первое мая, выпадающий в этом году на субботу, в грандиозный всероссийский субботник...»

Выслушали. Согласились. Одобрили. И спели потом «Интернационал». Но все это чуть-чуть не то... Мы выросли в ином краю, мы привыкли, чтобы и говорили, и слушали, и понимали — по-иному... Мы чувствовали себя учениками...

В номерах Белоусовских с первого вечера мы себя чувствовали, как старинные завсегдатаи; годы гражданской войны, метанье по фронтам, быстрая, часто внезапная смена мест, людей, обстановки — все это приучило смотреть на себя, как на песчинку огромных, гигантских валунов, которые ходят-вздымаются, мчатся из края в край по просторам пустыни... И везде тебе, песчинке,— плечом к плечу касаться тысяч других, таких же, как ты, везде валуны одинаково тяжки, везде их взлет одинаково рьян, и дик, и страшен, везде тебя, песчинку, будет жечь все то же раскаленное

добела солнце... И что тебе жалеть? К чему привязаться? Что дорого тебе вот здесь, на сотой, пятисотой, тысячной, десятитысячной версте? Не едино ли близко, не едино ли дорого? Только бы не отбиться. Только бы вместе. Взмет — во взмет, полет — в полет, паденье — в паденье,— но разом, вместе, под одним ударом!

И мы, песчинки, привыкли так же быстро, легко родниться с любою обстановкой, как легко могли ее и оставить, бросить, забыть ради другой, в которую помчали волны разгоряченных валунов... Номера Белоусова. И точно такие же были у нас — на Дону, на Урале, в Грузии, на Кубани, в Сибири, по Украине,— где их не было. У каждого в своем месте — и по многу раз.

А потому — нет для нас никакой разницы, нет нового, особенного, отличного: мы здесь, как и там,— у себя.

Худенькая, тихая, больная женщина годов сорока, с птичьим изморенным, бледным лицом, то и дело снует по коридору,— это Таня, коридорная прислуга. И мы сразу с нею все подружили, одарили ее кишмишом ташкентским, наши девушки-женщины сунули ей кто юбку, кто кофту лишнюю,— Таня ставила нам самовары, с первого вечера стала нашим другом.

В номерах Белоусовских оживление чрезвычайное. По грязному длинному коридору, где вместо дорожки-ковра болтается под ногами нечто вдрызг измоченное и изодранное, снуют знакомые и незнакомые лица. То халат мелькнет цветной, цветная «тюбетейка», прошелестит тихим восточным по́ходом куда-то в дальний номер киргиз — чей-то гость или товарищ.

То появится Лидочка и спешит-спешит легкой, воздушной, подпрыгивающей походкой, будто и не идет она, а летит, чуть носками касаясь земли...

Рубанчик — этот вечно в суете и торопится: и разговором, и по́ходью, и жестами,— ему всегда мало времени. Выскочит из номера, как очумелый, и несется вон — без фуражки, без пояса, обгоняя идущих впереди, едва не сбивая встречных. Он торопится всего-навсего в номер к Никитченке,— и тот его, словно ушатом ледяной воды, окатывает своим эпическим

спокойствием, какой-то олимпийской медлительностью действий, своим ясным, тихим, умным взором, медленной, покойной речью. У Рубанчика глаза готовы выскочить и шлепнуться с размаху по лбу собеседника: прыгают, мечутся, искрятся, сверкают от беспокойства, а у Никитченки под стеклышком, словно огоньки далекой деревушки, ровным, немигающим светом лучатся покойные круглые зрачки. Рубанчик — весь суета и трепыхание петушиное,— у него ни рука, ни нога минуту не продержатся спокойно, а Никитченко может часами почти недвижимо оставаться на месте и думать, обдумывать или спокойно и тихо говорить, спокойно и многоуспешно, отлично делать какое-нибудь дело... Глядишь на него, и представляется: попадет он в плен какому-нибудь белому офицерскому батальону, станут, сукины сыны, его четвертовать, станут шкуру сдирать, а он посмотрит кротко и молвит:

— Осторожней... Тише... Можно и без драки шкуру снять...

И все-таки Рубанчик и Никитченко — хорошие приятели. Каждый другого любит за то, что он не похож на него самого. А еще за то, что каждый другого испытал и знает на работе: отличные, трудолюбивые, честнейшие ребята. Домчится Рубанчик к Никитченке, а тут Лидочка подоспеет,— завязалась беседа.

Отеческой походкой подойдет, снисходительным баском поприветствует всех сидящих, дважды улыбнется, трижды похлопает себя по коленям и станет авторитетным, почти резонерским тоном убеждать и доказывать — Альтшуллер: желт лицом, худощав и сух, по всем приметам слабосилен и немощен, а живуч, как кошка, и все походы выносит без всяких заболеваний. С громом, грохотом и протестами неведомо на кого и за что — врывается в комнату Муратов, лихо на бегу срывает запотевшее пенсне и с остервенением протирает его не первой свежести тряпичкой, обзываемой в шутку носовым платком. Специальность Муратова — делать беседу беспокойной и воодушевлять своих собеседников, волновать их и озадачивать сотнями вопросов и сомнений, которые, подобно

несметным тучам звонкого комарья, постоянно кружатся у него в голове, не давая покоя.

Непременно постучит дважды в дверь и войдет спокойно, с трубкой в зубах, с иронической улыбкой на мясистых, тяжеловесных губах, потряхивая лохматою гривой черных кудрей — меланхолический философ Полеес. Он имеет способность «абстрагировать» всякий факт и частный вопрос,— он их всегда возводит до «общего... целого... основного»... С ним беседовали и спорили чрезвычайно охотно, но лишь с одним постоянным и непременным казусом: от общих рассуждений кувыркали его безжалостно к живым и частным, более мелким и понятным фактам повседневной действительности.

Редко спорил, много молчал, ум копил у нас на глазах — юный, женообразный Гарфункель. Через год в Фергане поймали Гарфункеля басмачи, долго пытали, потом пристрелили, а труп закинули в волны реки.

Верменичев был новичком в нашей среде — он пришит был ко всей компании только в Ташкенте, не вынес трудов самарской работы, не выстрадал долгого, месячного пути через киргизские степи, через Аральское море,— он был новичком и лишь позже сблизился тесней со всей компанией. С нами всеми была и Ная,— она заведовала потом театральными делами дивизии: по специальности. Нельзя забыть и про Алешу Колосова,— он был едва ли не самым юным из всех. Мы любили его за чуткую отзывчивость, свежую искренность, за горячий нрав и ясную голову: он, пожалуй что, на следующий день по приезде сел писать нечто вроде «популярной политической экономии». Алеша, написал ли? Потом он создал отличные партийные курсы и руководил ими до самых трудных дней, до мятежа, да и после того — не сразу выбрался из Семиречья.

Эта компания недаром прикатила в Верный. Одни со мною, другие — через две и три недели, пока не закончили в пути порученного серьезного дела. Отличительной чертою нашей компании была глубокая товарищеская солидарность. Ни начальников, ни подчиненных по существу не было и не чувствовалось.

Особенно здесь, в Семиречье, где мы сознавали себя как-то особенно близкими друг другу, как-то по-особенному крепко спаянными. И вопросы все решались не то что «коллегиально», а попросту, сообща: они прояснялись уже в наших беседах, частных товарищеских беседах, которые велись по вечерам, и когда надо было — писать ли приказ, составлять ли инструкцию, разрешать ли затруднение, налицо было совместно, коллективно продуманное мнение, и оставалось его только оформить, высказать, написать. По положению уполномоченного реввоенсовета, мне приходилось возглавлять эту рабочую группу, а равно и то учреждение, в котором многие из нас стали работать: «Управление уполномоченного».

По положению, мне приходилось подписывать единолично все приказы и распоряжения, вести разговоры по проводу, давать телеграммы, отсылать доклады, вести переговоры... Но уже теперь надо запомнить, что это только *по виду,* с внешней стороны были действия единоличные,— по существу они представляли собою результаты наших официальных или неофициальных совещаний и бесед. Так было и в дни мятежа, разразившегося через месяцы,— и там документы, которые стану приводить и под которыми стоит мое имя, надо принимать лишь условно, не напрямик: имя — именем, нельзя же расписываться целой ватагой. Но когда надо рассматривать самые факты, действия, не надо упускать из виду, что *решения* были совместными,— одному немыслимо было бы вместить, успеть и овладеть всею массою трудностей, которые тогда на нас свалились...

Но рано, рано спешим вперед,— вернемся к оборванному повествованию...

Мы кружком обсуждаем, что делать: в новой обстановке, среди новых людей, по совершенно новым заданиям... И что это за задания:

«Упол... но.. мо... чен... ный»?..

На что мы были здесь уполномочены? В мандате общими словами указывалось на «политическое руководство», на помощь военному строительству в раскинутой здесь 3-й дивизии и областном военном комис-

сариате, на непосредственное руководство их повседневною работой... Мандат, разумеется, и не может говорить точнее. Надо самим, на месте, вершить трудные вопросы. И мы думаем, думаем, думаем...

Совещаемся, толкуем не вечер и не два, освежаем и оплодотворяем друг другу мозги новыми сведениями, материалами, чуть блеснувшими соображениями. Уже вырисовывается общий план большой работы, все более четки, рельефны живые его контуры, становится чувствуемым это важное и основное, ради чего мы здесь и на что должны отдать полностью свое уменье, свой опыт, свои накопленные знания...

Зашумели здоровым шумом Белоусовские номера. Здесь заработала теперь какая-то новая машинка, которой не было до приезда всей группы из Ташкента. И эта новая машинка своими зубьями, своими крючочками, своими колесиками скоро коснулась и зацепилась за все живые и крепкие места старой, издавна работавшей здесь машины,— объединила с нею свои действия, взяла на себя какую-то невидимую, но значительную долю общей тяжести, разделила с нею нелегкое бремя, и день за днем — все глаже, все согласней, все легче и успешней развертывалась совместная работа.

Надо было сразу, с первого же дня, сделать нужные шаги, принять меры. Осведомиться. Осведомить других. Прощупать почву. Заявить о себе. Об одном услышать, о другом догадаться, третье почувствовать, чтобы, когда надо будет речь да совет держать, не хлопать бессмысленно глазами, тщетно заверяя, что все отлично знаешь, превосходно понимаешь, во всем без запиночки разбираешься...

Прежде всего, необходимо поучаствовать на собраниях, заседаниях, совещаниях, где объявилось бы чистоганом лицо области: без прикрас, открыто, со всеми язвами, со всеми перспективами, как бы трудны и тяжки они ни были.

Второй шаг — это получить возможно быстрей разные документальные материалы, доклады, отчеты, где говорили бы за себя цифры и факты,— под их перекрестным огнем осветятся ярким пламенем все основные вопросы, все главные нужды.

Третьим шагом встанет — фактическое ознакомление с работою дивизии и военного комиссариата; надо будет прощупать их от верху до низу, коснуться и политических отделов, и казарм, и семиреченских военспецов, глянуть — что за народ.

Как только верхушка будет обследована, надо торопиться на места: узнать, воочию узнать, что там творится по бригадам и полкам, по всем гарнизонам, по мелким и крупным пунктам. Понять — одинаков ли пульс, той ли работой заняты сверху, какая настойчиво потребна на месте, где пределы возможного, где просто трудность и где подлость, лень, разгильдяйство. Ознакомиться самолично. Да и с собою ознакомить тех, которые будут помощниками в нелегкой своеобразной работе. Тогда легче. Всегда легче работать, когда знаешь в лицо, а не голое имя словил по ветру.

И вот когда на ладони будет работа верхушки и низовых ячеек, лишь тогда можно будет построить серьезный и практический общий рабочий план. Тогда будет меньше ошибок, чем теперь, с кондачка, на ура.

План надо будет сообщить центру. И ежели там одобрят, согласятся, во исполнение его добиваться получки всяческого материала, всяческой подмоги.

Постоянные доклады по системе еще значительней облегчат выполнение плана.

Уж, конечно, вся эта работа проводится, и все эти планы строятся при ближайшем ознакомлении с работою органов партийных и советских; установление с ними немедленной и деловой близости является первейшим и необходимейшим условием, без которого и шагу не ступи.

Большим самостоятельным вопросом встала задача с переводом армии на трудовое положение. Эта задача не была, конечно, только военной. Не была она и только политической,— это была такая большая задача, для решения которой объединилась вся область.

Потом на очередь выплыл новый значительный вопрос: прощупать почву для созыва областных съездов, совещаний и конференций военных комиссаров, может быть, культпросветников, контрольнохозяйст-

венных советов... А потом, быть может, где следует, поставить на очередь вопрос и о съездах — казачьем, молодежном, женском, учительском... План все разрастался. Захватывал области, которые, казалось, были совершенно чужды, далеки, вне круга вопросов, решать которые мы непосредственно были призваны. Но невидимые нити роднили нас и с необходимостью съезда казачьего, и учительского, и всякого иного... Мы чувствовали и здесь родство, тесную близость с нашими особенными, казалось бы, *специальными* задачами.

Поднялся во весь рост огромной важности вопрос о политическом просвещении области. Формально это, конечно, вовсе не наше дело,— ведать этим делом подлежит другому органу. Но мы ставим вопрос о создании целого ряда курсов, потом о газете, сотрудничестве,— о чем, о чем не подумали, за что не приходилось браться! Дело делалось то в обкоме, то в ревкоме, то у нас в управлении,— мы ко всем этим органам были тесно припаяны.

Месяца через два будут созваны партийный и советский съезды Туркестана; наша задача участвовать активно в их подготовке, в созвании и проведении съездов областных...

Всю эту груду вопросов разрешить и в жизнь проводить надо будет через ближайших и дальних помощников, а потому: гляди в оба, увидь, пойми, почуй, кто тебя окружает, здесь переставь, там устрани, здесь замени, но так строй аппарат, чтобы он работал без перебоев. Подобрать работников — задача первостепенной важности.

Так и такой мы составили план: участвовать активно в каждом деле, которое близко или отдаленно прикасается к нашим основным задачам.

Но как и всякому плану — а особенно в те годы,— нашему плану пришлось пережить глубокие изменения: и в отношении полноты осуществления каждого пункта, и в отношении очередности, смены их, последовательности, и мало ли в каких еще отношениях и смыслах. Но многое выполнить все-таки удалось,— и это было оправданием нашей работы в Семиречье.

Случилось так, что в этот же вечер, когда делался на съезде доклад, в день приезда, в областном военно-революционном комитете было заседание. И уже на этом заседании удалось проникнуть в частичку семиреченских нужд, семиреченского злободневья...

Первый, кого я там встретил, был Мамелюк, оскомпродив — особый комиссар по продовольствию дивизии. Он стоял у телефона и резким, внятным тоном сообщал:

— Я — Мамелюк. Ну?

И, выждав, пока там в чем-то оправдывались, крыл отважно и авторитетно:

— Черт вас знает, что у вас за голова — соломой, что ли, набита... Я уже говорил...

И он повторил некое распоряжение, отданное некоему помощнику, видимо, накануне.

Мне понравилась его чистая, авторитетная, ясная до мелочей речь. Чувствовался умный человек и практический работник. Первая мысль скользнула: «Делец. Пальца ему в рот не клади».

Рядом на стуле сидело и пыхтело грузное, рыхлое существо, по фамилии не помню, кажется, Пацынко,— это помощник Юсупова, председателя ревкома.

Пацынко сер и скучен лицом, вял движениями, голосом глух, скуп на живые, на свои мысли,— полная противоположность стройному, гибкому, словно джигит, энергичному Мамелюку, у которого каждый мускул играет и заявляет, что живет полным напряжением, неутоптанной, полной жизнью. Маленькие, прищуренные водянистые глазки Мамелюка некрасивы, но в них неугасимое волнение, постоянная мысль и тревога, а в широко открытых бараньих глазах Пацынко — пустыня бессмыслия, святая и глуповатая безобидность и тусклая скука.

Неслышной походкой, будто крадучись по стене, прямо к Юсупову подошли два товарища с ярко выраженными туземными чертами лица. Это были, кажется, Саддыков и Джарболов. Облокотившись на стол, они что-то торопливо сообщали, и на лицах отражалось то сомнение, то болезненно-острое неудовольствие, когда Юсупов начинал отрицать и доказывать

другое, видимо противоположное... Бросалась в глаза какая-то неловкость, неуверенность движений,— позже эту неуверенность почувствовал я у них и в словах: говорили, убеждали, а выходило, будто и сами еще не убедились в том, про что говорят. По серьезным обеспокоенным лицам было видно, что они чем-то встревожены,— как узналось потом, их встревожили недобрые вести, полученные из разоренного Лепсинского уезда, где будто бы положение из ряду вон тяжкое и возможны большие осложнения. Комната заволновалась. В приоткрытую дверь просунулось чье-то простое, доброе лицо и широко расплылось в улыбку, сделавшись от этого еще милей: сочные, красные губы выпятились наружу и образовали пунцовое кольцо. Голубые глаза расширились, засветились дружеским, ласковым приветом. Протиснулась через дверь низкая круглая фигурка в кожаной куртке, в кожаных штанах, кожаной фуражке.

Это начальник особого отдела Кушин.

Сдернув фуражку и всем шутя отвесив поклон, обнажив гриву золотых волнистых мягко-шелковых волос, спадавших до самых плеч, заговорил с кем-то и сразу раздвоил, изменил впечатление,— Кушин густо картавил. Казалось, что язык у него все время путался в зубах, задевал и кончиком то и дело упирался то в стенку зубов, то в десну; и напрасно он его старался высвободить,— язык не подчинялся, слова получались гладкие, обсосанные, картавые. Было видно, что Кушина тут любят теплой, дружеской любовью. И было за что: он оказался действительно из ряду вон отличным товарищем в работе и в частных отношениях.

Потом, чуть погодя, вошел еще один: сухощав, жилист, поблескивал черными угольями глаз в черных ресницах под черно-смолевыми бровями. И волосы черные,— казалось, все внутренности должны у него быть, как смола... Не поздоровался — только поклонился. Неразговорчив. В задумчивых, грустных глазах — медлительность, спокойствие, граничащее с упрямством, привычка смотреть себе внутрь, проверять, критиковать, следить — как бы не соскочить с

дороги. Отвечал не сразу — иногда думал целую минуту. Это начальник политотдела дивизии Кравчук.

Тотчас за ним, поспешая, минута в минуту в назначенный срок, глянув в дверях на часы, быстрой походкой вошел и сел рядом с Кушиным высокий, поджарый, в коричневой кожаной распахнутой тужурке — там, под нею виднелась распущенная, не подпоясанная короткая рубашонка, выбившаяся из-под штанов. Глаза, как у хорька: в глубине блестящие, острые, с желтым отливом, сразу не определимые: жестокость в них или доброта? Это предревтрибунала Кондурушкин. Его тут по области попросту зовут «Кумурушка»; он это знает и при случае охотно об этом шутит. Собрались, надо быть, все. Ждать больше некого. Юсупов открывал. Стояло два вопроса: один о земельном переделе, другой о разоренных уездах.

Трудно теперь, через годы, каждому из участников вложить в уста те самые слова, что тогда говорились; даже и мысли трудно вспомнить, только в памяти остались две половинки, на которые раскололось заседание,— это особенно относится к первому вопросу, о земельном переделе. Декретом центра открывалась возможность приступить теперь же к поселению возвращавшихся из Китая киргизов на землю. Это означало: теперь, в апреле, когда начинается пахота, сгоняй с захваченных участков земли кулачков и передавай эту землю воротившимся из невольного изгнания страдальцам, не имеющим не только инвентаря, не только скотины, но и одежды, но и хлеба...

Две половинки ревкома взглянули на дело каждая по-своему, и по-своему каждая была права, и по-своему каждая имела основания спорить до криков, угроз, оскорблений, спорить исступленно...

Они, горемыки, эти идущие сорок — пятьдесят тысяч беженцев-киргизов четыре года выносили страдания в голодных равнинах Китая, оторванные от родины, ограбленные, разоренные, изнасилованные царскими жандармами и кулачьем, жандармским подсобником... Они потеряли всякую надежду когда-либо вновь увидеть свои горы, свои пастбища, полусожженные, разграбленные пепелища родных кишлаков.

Они похоронили свою веру в лучшие времена и примирились с нищенством, которое бичевало их в Китае. С кибитками, полными ребят, без баранов, без кобылиц — они одиноко кочевали из края в край, бездомные, бесприютные изгнанники.

Помирали с голоду, вымирали от болезней, и все их меньше, меньше оставалось, страдальцев...

Подождать десяток годов — и, может быть, некому было бы возвращаться из Китая: на месте кочевий пятидесятитысячного табора мы нашли бы только пустынные кладбища да оглоданные волками кости по всем тропинкам китайских степей.

И подумайте: вдруг к ним, в стан изнуренных, безнадежных, вымирающих,— вдруг к ним примчалась весть удивительная, почти невероятная:

— Киргизы — страдальцы, мученики и жертвы царского произвола,— возвращайтесь в родное Семиречье, к своим кишлакам, к забытым, любимым, тысячу раз оплаканным предгорьям тянь-шаньских перевалов! Семиречье свободно. Там ждут вас ваши братья. Там все по-новому. И не дадут теперь насильникам чинить над вами произвол, жестокую расправу. Идите на старые гнезда, живите новой, свободной жизнью, разведите артелями наново косяки буйных коней и стада баранов, приучайтесь пахать землю, чтобы оборвать последнюю зависимость от кулака, чтобы самому научиться, самому кормиться, чтобы избегнуть батрачества, неволи... Идите — там ждут вас, там готова помощь... Скорей же, скорей!..

И как только эта чудесная, нежданная, почти сказочная весть коснулась киргизских кочевий, они рванулись с голодных пустынь на запад, к родным краям... И потянулись тощие, голодные обозы с голодными, полумертвыми людьми, двинулись туда, откуда четыре года назад они в ужасе бежали, засекаемые казацкими нагайками, избиваемые, убиваемые, истязуемые озверелыми палачами.

Они идут через четыре года... Подумайте, что вынесли они за это время! Чего они только не вынесли?! И, проходя окровавленными дорогами, они все еще зорко осматриваются по сторонам: не затаился ли где

коварный враг, не поторопились ли они, доверившись летучей вести, не будут ли новые беды, испытания, расправы — не обман ли все это?..

Мы хотим дать им землю. Чтоб землю эту они начали пахать. Мы хотим дать им инвентарь. скотину, поселить их в кишлаках и тех поселках, которые заняты произвольно насильниками... Здесь нужна борьба,— грабители не хотят отдать награбленное, отнятое четыре года назад. Пусть борьба, пусть схватка, но мы должны помочь воротившимся мученикам во что бы то ни стало! Это наш долг. Да, это наш священный долг. Только так — иначе поступить мы не имеем права. Путем настойчивой, упорной борьбы мы должны *теперь* же водворить вернувшихся и *дать им землю...* Так говорили одни — половинка ревкома. Они были взволнованы. Они скорбели за судьбу возвращающихся остатков пятидесятитысячной массы. Они страдали сами глубоко и искренне. А другая половина ревкома говорила им:

— Товарищи! Речи не может быть о том, что водворить идущих из Китая — наша первоочередная и священная задача. Речи нет о том, что с захватчиками-кулаками надо повести крутую борьбу и отнять у них то, что награбили они четыре года назад. Это верно. Но одних этих утверждений недостаточно. Вопрос стоит таким образом. Туземцы, главным образом киргизы, которых по области семьдесят процентов всего населения, то есть больше миллиона,— пашут они или нет? Нет. И никогда не пахали. И не приспособлены к тому, не умеют, и инвентаря у них нет,— они скотоводы. Этот факт имейте перед собою прежде всего: туземец — не землепашец, а он все еще только скотовод. Хлеба своего у него нет — он за хлебом идет к землепашцу, к крестьянину, часто к тому самому кулаку, который в шестнадцатом году так жестоко над ним издевался. Это целая большая задача — посадить кочевника на землю, да такая задача, перед которой, быть может, померкнут десятки других — так она трудна, сложна, даже опасна в иных своих пунктах, если предположить опасную долю принудительности... А вы хотите такую сложную задачу решить единым

духом. Да разве это мыслимое дело? Легче организовать восстание, идти в бой, захватить, победить — это легче. А перестроить жизнь, да так вот, единым махом,— это же дело невероятное, это ребяческая затея, обреченная на неудачу. И если это справедливо относительно всего туземного населения — в десять, в двадцать раз это справедливее относительно тех десятков тысяч мучеников, что идут теперь из Китая. Уж если оставшиеся здесь, хоть как бы там ни было, но обеспеченные,— если даже они не в состоянии теперь, немедленно, эту же весну взяться за землю,— что остается сказать о беженцах?

...Положение таково: или мы волей-неволей откажемся отнять землю у захватчиков и разрешим этим захватчикам ее обработать, возделать, собрать хлеб,— тогда вся область по осени будет с хлебом, с хлебом, которым питаться станут и туземцы и беженцы... Или мы — ради буквы приказа, совета или чего там хотите — сгоним сейчас же с захваченной земли кулачков, не позволим ее обрабатывать, передадим беженцам, которые, конечно, тоже обработать ее не смогут, и тогда... Тогда осенью мы без хлеба... То есть достаточно его не соберем. Кулак, разумеется, сумеет быть сытым, и про себя он заготовить сумеет. А вот этот самый беженец-киргиз — он как раз и будет с осени голодать. Что́ ему лучше, что̀ выгоднее? Сесть ли теперь же на голую землю, считать ее за собою и право иметь на ее обработку, но не суметь обработать и к осени остаться без хлеба, или отказаться этой весной,— теперь, когда пахота началась,— отказаться от передела, подождать с переделом до осени, а теперь землю оставить захватчикам: пусть обрабатывают, от этого вся область с осени будет жить сытнее... Конечно, надо идти только второ́ю дорогой. Первая приведет к гибели. В этом вопросе теперь надо правде смело посмотреть в глаза. И решить. И не бояться того, что нас назовут кто-то и где-то колонизаторами, предположат, что мы работаем на пользу кулачкам и против интересов туземной бедноты... Пусть. Это потом узнается. Будет понято. Не дорожите эффектом минуты — смотрите в корень дела. С точки зрения политической, конечно, надо

Д. А. Фурманов за работой.

1925 г.

было бы сейчас же землю передать беженцам: это было бы агитационно, это к нам бы многих расположило... но не будем увлекаться эффектом. Другие, более серьезные соображения ведут нас по иному пути. Разместить беженцев, помочь им материально, даже кой-где и в самой пахоте помочь — инвентарем ли, скотиной ли, семенами, опытом своим — это наша срочная задача. Но не будем до осени превращать этого дела в решительное, поголовное, окончательное. Может быть, в январе мы это с вами и сделали бы спокойно и успешно, а в апреле — не будем, в интересах дела не будем, воздержимся и пошлем в Ташкент объяснительную телеграмму...

Спорили. Доказывали друг другу превосходство своего плана.

Тряслась, металась золотая грива взволнованного Кушина, пришептывали сухие юсуповские губы, чавкал три слова слюнявый Пацынко, сверкал искорками глаз голосистый «Кумурушка». Нервничали. Много курили. В комнате от дыма чуть видны лица. Только слышны голоса — высокие, дрожащие, взволнованные.

После долгих, упорных боев единогласно решили послать центру телеграмму с изложением своих взглядов и с просьбой отложить передел до осени. Там разобрались, убедились в серьезности доводов, через день по телеграфу известили,что считают постановление ревкома в данных условиях целесообразным: передел отложить.

Второй вопрос того первого и памятного мне заседания — это вопрос о Копальском и Лепсинском уездах, разоренных войною, обнищавших до последней степени, остановившихся в ужасе перед страшной и неизбежной голодухой, сплошным вымиранием. Делали доклад. Развернулась скорбная картина.

В этих уездах целые годы царские генералы и полковники — Щербаков, Анненков, Дутов, Бабич — вели изнурительную, разрушительную, кровавую войну, собирая и мобилизуя казачество, ополчая его на крестьянство, на туземцев, на всех, кто стоял по эту, по другую сторону, кто знать не хотел ни Колчака, ни

сибирского правительства, кто твердо или нетвердо держал в руках советское знамя. Белые генералы и полковники через Семипалатинскую область связывались на север с Колчаком, и слышно было, что получали от него немалую помощь. Так держали они полоненным весь север и северо-восток Семиречья до весны двадцатого года. А весной были прикончены. Были разбиты, изгнаны с остатками в Китай, в те самые места, куда четыре года назад от озверелых царских шаек спасались в смертной панике таборы киргизов. Красная Армия шла по освобожденным уездам — все дальше, все глубже, до самой китайской грани. И ее встречали по селам со слезами тревожной радости, с восторженной, исступленной благодарностью, встречали матери, жены, братья, отцы, сыновья — и так встречали еще потому, что она была здешняя, семиреченская, много было в ней и копальцев и лепсинцев. Звонкой радости не было нигде: по селам шаталась голодная смерть. Бойцы не узнавали свои семьи, а семьи не досчитывались тех, что растерзаны были генеральскими палачами. По селам стон стоял, когда проходили полки красноармейцев: узнавали, где и когда сгибли братья, мужья, сыновья,— тревогой встречали, рыданиями провожали красные полки.

И бойцы, потрясенные еще глубже этими картинами скорби и отчаяния, напрягали, удваивали силы, торопясь нагнать скачущих где-то впереди генералов. Но догнать было невозможно: чем острее погоня, тем жесточе скачущие генеральские шайки. Лишь заслышат они, что по следам крадутся разъезды красных, что вот-вот настигнут они, захватят,— и беглецы бросают измученных, взмыленных коней, выбирают новых, свежих, лучших; прикладами, шашками, пулями сокращают протесты и стоны сельчан; увозят остатки хлеба, фуража, а что не могут увезти — складывают в груды и сжигают, чтоб не досталось преследующим победителям. Если где попадались у хозяина жнейки, молотилки, плуг ли паровой,— здесь было в свое время немало и этого добра,— коверкали, ломали, разбивали в бессильной злобе и отчаянии беглецы.

— Эх, не доставайся же никому!

И красные полки проходили по разоренной, голодной местности, где хлеб был увезен или сожжен, где уведена была скотина, поломано и разграблено хозяйственное добро, а сами сельчане или кишлачники — запуганы, изнасилованы, изнурены, замучены. Жители одичали,— словно голодные звери, бродили они по запустелым поселкам, тщетно отыскивая пищу. И в этом голоде, среди непрестанных испытаний пришла новая неизбежная беда: из села в село, из одного кишлака в другой поползли болезни — сыпняк, брюшной, цинга и еще какие-то неведомые доселе страшные дети голодной страны. Целые поселки вымирали начисто; некому было ни лечить, ни хоронить; трупы гнили по хатам, валялись по улицам,— зрелище было невыносимое, ужасное. Откуда-то появились мародерские шайки; они налетали на опустошенные деревни и кишлаки, отбирали остатки и все увозили с собой. Бороться с этими шайками было некому, а они все плодились, росли, все жесточе расправлялись с населением — и без того вымирающим, замученным, обреченным...

В глубоком молчании выслушали мы трагический доклад. По крупицам все это долетало до слуха нашего и раньше, но лишь впервые была зарисована так полно, с такими подробностями ужасающая картина действительности. Она поразила всех. Было совершенно очевидно, что необходимы исключительные меры, иначе все население или вымрет мучительной смертью, или хлынет неорганизованно по другим уездам и районам и сомнет, запрудит, остановит всякую работу, затянет узел так крепко, что потом его не развязать. Надо было торопиться, а в то же время и многое надо было выяснить, прежде чем принимать какие-либо меры.

Прежде всего, наутро из тех самых мест должны были возвратиться начдив Белов и комиссар дивизии Бочаров: с ними надо было держать совет, узнать последнее положение дел, узнать их мнение, особенно мнение Панфилыча (Белова) — такое веское, серьезное, всегда продуманное до конца.

Кроме того, надо было выяснить в земельном отделе, что́ можно отсюда двинуть из инвентаря на помощь

разоренным хозяйствам; надо было точно выяснить наличность хлеба в Кугалинском и Гавриловском районах, которые к разоренным ближе других и которые, бесспорно, смогут прийти на помощь; надо было прикинуть места для ссыпных пунктов, куда можно было бы и хлеб свозить и семена на запашку... Многое надо было выяснить предварительно, такое выяснить, без чего не стоит и огород городить... Так на этом собранье и не вынесли решенья, а когда через день приехали Белов с Бочаровым — собрались в ту же ночь (это была как раз пасхальная ночь) и порешили немедленно выехать туда специальной комиссии во главе с Кравчуком, дав ей полномочия и от ревкома и от партийного комитета; влить в эту комиссию по три представителя от каждого областного комиссариата; наметили места для ссыпных пунктов; уполномочили комиссию гнать в голодную местность из соседних районов и хлеб и семена, а для того мобилизовать не только коней, но и верблюдов, даже по преимуществу верблюдов, так как по глубоким безводным пескам кони не выдержат, тем более что по пути нет ни корма, ни питья...

Комиссия уехала.

И мы скоро услыхали, что она широко, удачно развернула работу; сумела выяснить наличие оставшегося в целости инвентаря, пустила его в оборот, возбудила охоту к коллективной запашке, на которую особенно подгоняли нужда и нехватки; мы услышали, что комиссия тронула туда и хлеб на помощь и семена на запашку; что собрала верблюдов, что помощь оказала колоссальную,— и население простерло к ней руки, видит только в ней свою надежду, ждет от нее помощи и спасения. Комиссия организовала повсюду революционные комитеты, даже насадила партийные ячейки, кружки молодежи... Выяснилось, что Копальский уезд пострадал меньше, и внимание вперилось главным образом в нужды Лепсинского района. Помощь помощью, а всем и во всем помочь, конечно, было невозможно, и лепсинцы одиночками то и дело кочевали, растекались по другим уездам. Перекочевывали они и в Верненский район,— особенно это узнали мы и почувствовали позже, в дни мятежа...

На том самом собрании, когда решался вопрос о комиссии Кравчука, я впервые увидел Белова. На нем была дрянная, старая солдатская шинелишка, истрепанный картузишко чуть держался на затылке, цепляясь за рыжеватые жесткие волосы, торчавшие круто, подобно кабаньей щетине. Бородка — окончательно рыжая; усы — той же масти; борода и усы обгрызались им ежедневно на каждом заседании и в часы обдумывания приказов и докладов, почему и отпадала нужда в бритье — все без бритвы подравнивалось острыми чистыми зубами. Светло-серые глаза не были красивы, но в них отпечаталась глубокая искренность, верное чутье, точная, серьезная мысль... Он редко смотрел в глаза собеседнику, и получалось впечатление, будто он смущен или недоволен, но ни того, ни другого не было,— самые невинные, безобидные вещи он говорил с тем же неизменно серьезным видом и все так же, по-бычьи упершись взглядом под землю. Он привлек меня с первого взгляда. И этот первый взгляд не обманул: мы с Панфилычем стали потом большими приятелями, особенно после испытания в дни мятежа, где я увидел настоящую цену этому кремневому честному человеку. В ревкоме к голосу его прислушивались внимательно: советов глупых он не давал ни разу; красок не сгущал, не запугивал, но и не успокаивал, обстоятельства взвешивал всесторонне и учитывал обстановку до мелочей — потому всегда и советовал дельно, умно, практично.

С ним пришел Бочаров, комиссар — под пару Белову: твердокаменная, непоколебимая фигура; звезд с неба не схватит, но без Бочаровых ни одна дивизия так победоносно не закончила бы свою боевую страду,— в тяжкие минуты он был всегда там, где приказывала обстановка, никогда не прятался под страусово крыло, ни разу не втирал очков ни себе, ни другим по части опасностей, среди которых проходила наша работа — в дни мятежа держался достойно, не сфальшивил ни одним шагом, ни единым словом...

Как только покончили заседание в ревкоме, мы втроем зашли в дивизионный штаб и там решили послать еще в Лепсинский уезд дивизионного начальника

снабжения, дав ему совершенно особенную, специальную задачу, которая была бы не по силам одной комиссии Кравчука и сбила бы, запутала вконец его работу. Мы начснабдиву поручили объехать все воинские части, что остановились в голодных районах; выяснить на месте, чем эти части могут оказаться теперь же — немедленно — полезными населению: местами окажется возможным использовать человеческую силу, в других местах — дать коней, дать транспорт, всемерно помочь и запашке и подвозу всего необходимого. Дали ему инструкцию — айда: он вылетел наутро.

Надо отметить, кстати, отличную работу дивизионного медицинского отдела,— по тем временам он достиг результатов совершенно исключительных: при недостатке врачебного персонала, при отсутствии необходимейших лечебных средств он сумел при помощи гражданского здравотдела поставить на всех перекрестках дорог изоляционные пункты, приемники, целые госпитали. Мы и дивились и радовались этой работе: все уезды были охранены от тифозной эпидемии, ее закупорили на месте, не дали пробраться ни в армию, ни в центральные пункты области.

Так разными мерами область выступила на помощь тяжко пострадавшему, разоренному Копало-Лепсинскому району.

Беда была настолько велика, что изжить ее нужны не недели, не месяцы — целые годы. Могла спадать лишь острота, но глубокому потрясению оставалось еще долго жить, жить и волновать не только пострадавший район, но и все Семиречье.

Копало-лепсинская драма положила свою неизгладимую печать на всю семиреченскую действительность, и еще долго-долго после изгнания белых генералов стояли в центре внимания всей области интересы этого многострадального района.

В ближайшие дни состоялось заседание областного комитета партии.

Я был немало удивлен, когда там встретил до единого тех же товарищей, что присутствовали на за-

седании ревкома. Оказалось, что работников партийных настолько мало, что невозможно было допустить существование кадра, ведущего исключительно партийную работу. Тут были те же: Кушин, Кондурушкин, Юсупов, разве только заново присутствовали — заместитель Кондурушкина, вдребезги больной Горячев, да заместитель Кушина, юркий и дотошный Масарский.

Стояли вопросы — об усилении партийной работы в области, о беспокойном состоянии коммунистов в армии, о ревкомах на местах, работающих доселе без всяких положений и руководства.

Средний вопрос — об армейских коммунистах — на этот раз сняли с повестки, разрешили его позже, подобрав материал. По вопросу о партийной работе, об усилении этой работы то и дело упирались в глухую стену.

Кулачков нам не просвещать «коммунией», казаки пока что тоже мало подходят на эту работу и обработку, а основная масса — мусульманство — ну, как мы пойдем к нему, когда не знаем туземного языка? И как только доходили до этого пункта — сами собою отпадали споры о программах, об отдельных параграфах и звеньях устава, об инструкциях, методах и т. д. и т. д. Это роковое звено обладало магическою силой — умерщвлять все, что к нему подступало, что на него смотрело с надеждой.

Конечно, самым верным способом было бы наладить в эту работу туземцев-коммунистов. Они достанут и до кишлака и прощупают самую сердцевину населения... Но их же так мало — их единицы... Да и среди них — посмотрите хотя бы на верненскую организацию: аховый, малонадежный народ... Подлинная трудовая масса туземная еще не раскачалась и не дала еще лучших сынов своих в ряды большевиков.

Эти отдельные прекрасные работники — Садыков, Джандосов,— что они поделают, песчинки, в темном море невежества, глубочайшего, мрачнейшего суеверия, закоренелых традиций рабства и гнета?

Они бессильны.

А мы? И мы бессильны.

Нас и мало, мы и немые к тому же в этой неведомой, совсем неведомой гуще туземцев.

Много, долго говорили. Как водится, спорили горячо. И в конце концов увидели, что все наши решения имеют какое-либо значение только для одиночек-партийцев по крестьянским селам и казачьим станицам. В глубочайшие же недра области наши решения не дойдут, не дойдут — мы это сами знаем, понимаем, с горечью видим по своим постановлениям...

И, гонимые сомнениями в серьезности своего дела, как-то совсем вскоре, через неделю-другую, мы порешили создать — и создали — курсы туземных языков для приехавших из центра работников.

О, я до сих пор не забуду этой картины, как мы обучались киргизскому языку: в классе, за партами, как дети, сидели мы, областные начальники и руководители — трибунальщики, особисты, военные и невоенные, старые и молодые,— сидели и тщательно, покорно и смиренно списывали с доски некие иероглифические знаки — чужие, непонятные, выходившие из наших рук раскоряченными, изуродованными до неузнаваемости, искаженными и лишенными всех основных своих признаков. Нам преподавал довольно благочестивый киргиз-учитель. Он понимал, что имеет дело «с начальством», и потому не кричал на нас, не топал, не наказывал по привычке, не бил розгами. Мы и без того послушны и кротки были, как овцы — до смешного. Мы первое время исправны и заботливы были до слащавости: стремились отточить каждый крючочек, старались засечь в памяти всякую уключинку, вызуживали благоговейно каждый пяток слов и даже набирались храбрости переводить нечто, которое некто писал на грифельной доске.

Мы ходили с тетрадочками под мышкой, карандашик торчал в кармане; у иных было подобие ученического, примитивного портфельчика-папки. К положенному часу мы сбегались исправно и стыдили того, кто, бывало, задержится на пяток минут, как будто этот вот крючочек куда важнее того приказа, который он только что написал, который назавтра полетит по области и даст толчки, пищу, руководство... Проскочил

быстро медовый месяц нашего туземного просвещения. Как-то трудно становилось, не хватало сил и времени удосужиться еще на эти занятия, торопясь с четвертого заседания на пятое.

Были, правда, занятия и утренние, но ведь и утро было у нас не для моционов. Сегодня не сумеет прийти один, завтра — другой, послезавтра не придут оба вместе. И когда «лентяев» станут допытывать, грозя драконовскими мерами принуждения, они вдруг приведут такое солидное «оправданьице», что перед ним бледнеют все крючочки и словечки. Ученики были слишком много заняты иною работой, и потому из занятий туземным языком ничего не получилось. Дошло до того, что перед учителем однажды предстали всего-навсего два ученика, да и те заснули после бессонной ночи, проведенной где-то в облаве по изъятию оружия. Учитель взмолился, запросил об «освобождении от исполнения обязанностей». Его освободили. А вместе с ним освободились и мы от тяжкого покаянного состояния, которое всегда овладевало, раз не можешь идти на «урок» и нарушаешь ту самую «суровую дисциплину», которую сами же и проповедовали, сами же и расписывали в приказах и инструкциях.

Это было впоследствии, то есть дело с туземными курсами. Об этом лишь к слову сказано. Продолжаем речь о заседании комитета партии. Итак, второй вопрос сняли. Остался третий — «Выработка положений о ревкомах».

Выяснилось удручающее обстоятельство.

До сего дня, до половины апреля 1920 года, революционные комитеты, все советские органы на местах не знали ни одного положения, ни одного руководства о своем строительстве, о своих функциях, о пределах прав своих и полномочий, о круге обязанностей — не знали ничего, кроме обрывочных, случайных указаний по какому-нибудь практическому, злободневному вопросу. Жили восвояси. Работали вслепую. Ответственности не чувствовали. Руководства не знали: это была какая-то федерация чуточных государств-деревень и сел, государств-кишлаков, государств-станиц: всяк по-своему и на свой лад.

Общего плана — областного плана — нет.

Связь устанавливается лишь самотеком, неорганизованно, от случая к случаю. Такое положение дел объясняли разно: во-первых, отсутствием хороших работников до самого последнего времени,— публика тут куролесила все с борку да с сосенки, близорукость проявляла невероятную, самомнением страдала исключительным, до болезни. Да и эта публика перескакивала, как в калейдоскопе, то и дело менялась, обновлялась, куда-то внезапно исчезала, откуда-то врывалась вновь и вновь. Это считали причиною номер первый. Причиною номер второй называли сложность, многообразие отношений — национальных, классовых, сословных, в которых разобраться было чрезмерно трудно, и точно повсюду и всем дать директивы было не по силам тому кадру, что взялся здесь за работу с восемнадцатого года.

Третьей причиной считали близость фронта. Два года, до недавних мартовских дней, область полыхала в пламени ожесточенных гражданских боев, причем перевеса, победы не было ни здесь, ни там: область дрожала в непрестанном напряжении, как туго натянутая струна. Вопросы мирного строительства, организованного, систематического руководства области уездами, уездов — волостями и ниже, таким образом, выпадали сами собою, бледнели перед военными трудностями, отставлялись на задний план, оставались нерешенными.

«Все для фронта» — этим жили.

И здесь, в Семиречье, этим лозунгом, быть может, напряженней жили, чем где-либо в ином месте: Семиречье за горами, Семиречье далеко-далеко от центра Туркестана, за многие сотни верст, ему надеяться на стороннюю помощь нечего — оно лишь само, бросив «все для фронта», могло справиться с белыми генералами.

Эта третья причина советского неустройства была наиболее серьезной и существенной.

Итак, на местах советские органы оставались без руководства. Дальше оставлять их беспомощными, самостийными было нельзя.

Фронт ликвидирован. Внимание теперь устремится не на фронт — на тыл, на мирное строительство, на хозяйство, на развитие землепашества, скотоводства, худосочной городской промышленности.

И только-только фронт прикрылся, как обком почувствовал эту острую нужду: руководствовать работой советов на местах. Потому и поставил вопрос этот сегодня на обсуждение.

Когда взвесили все возможности и прикинули начерно главные пункты, в которых должно выразиться руководство, выбрали комиссию и поручили ей в три-четыре дня разработать положения о ревкомах. (Они были написаны, опубликованы, разосланы,— и с тех пор хоть какое-то общее начало, какой-то единый план связал в целое всю разнобойную советскую работу на местах.)

Кончилось заседание. Сегодня уже третье по счету. Кругом идет голова. В маленькой продымленной комнатке обкома она и вовсе разболелась. Лица серы, глаза у всех помутнели, глухи голоса; разбитая, развинченная походка тоже говорит про усталость... Расходимся...

Слышно через открытое окно, как нетерпеливо бьет звонким копытом о камень буланый красавец конь Мамелюка. Тихо ржет, будто аккомпанирует, будто одобряет его, буланого красавца, чья-то гнедая круглая добрая кобылка. В стороне, на углу, привязанные к дождевой трубе, охорашиваются, крутятся крупами, ждут седоков, сверкают глазами на крыльцо наши шустрые жеребчики — «Кумурушки» и мой. Тихо в улице. Кое-где пройдет пешеход, отчеканивая по тротуару в чистом вечернем воздухе пустынной улицы. И слышно, как шаги уходят вглубь, замирают, пропадают.

— Ребята, в горы! — предлагает кто-то.— Отдохнем, освежимся, а утром, чуть свет, опять на работу.

Предложение принимается с восторгом.

И мы скачем мимо ревкома по широкой улице, на окраину, к лазарету. От лазарета — длинная аллея, тут и езжая дорога. Но дорогой ехать кому же теперь охота: даешь напрямик, по лугу, тропками! Эх, и любо

же было мчаться в горы после изнурительных, утомительных заседаний. Вот дорожки, тропинки спускаются к ручью, а за ручьем, на ровной широкой поляне, мы состязаемся в скачках; никому не успеть за красавцем буланым Мамелюка: где оставит — за целую версту. Разгоряченные, возбужденные, докатим к дачным выселкам, а за ними — по берегу Алматинки, горной реки. Справа за рекой, по крутым горным склонам — колючий непролазный кустарник. Теперь, в раннем апреле, он все еще запутан и заморожен в инеях снегов. Куда ни глянь — по горам все бело, только под ногами в долинах побежали ручьи, только здесь ощетинилась сухая, жесткая прошлогодняя трава.

Только у самого подножья черно и влажно, а склоны горные все еще туго даются нежаркому апрельскому солнцу. По берегу Алматинки — с песнями. Горное эхо поможет там, где не поделают ничего человеческие голоса. Дорога все выше, круче, глубже в горы. Нет-нет да снежный холм выскочит по пути, и чем выше мы едем, тем чаще они начинают встречаться, белоголовые холмы, предвестники вечных горных снегов. Настроение у всех возбужденное. Кто-то умудрился в городе заскочить на квартиру, захватил ружье, другой захватил карабин — будет охота. Я первый раз в горах в апреле, когда не сошли еще снега, когда пробирает еще горная стужа.

С непривычки зябко. На подъемах кони долго идут шагом. На этот раз недалек наш путь,— в этой вот избушке, у горного сторожа заночуем.

— Эй, здравствуй, старина! — окликает «Кумурушка» знакомого старика. Тот обрадовался гостям, как был в рубахе, так и выскочил на волю, отогнал пару здоровых свирепых псов. Старик позвал из сеней паренька — оказался сыном, и оба они живо помогли расседлать, разместить коней, сложить седла, прибрать куда что следует. Вошли в избу. Изба как изба — на манер обычных крестьянских хат в какой-нибудь Владимирской губернии: грязна, черна, дымна, тесна, жарка полатями, тараканиста щелями, скудна посудой, завалена хламьем-одеждой, воняет изо всех углов глубокой, терпкой и острой, никогда не изгоняемой вонью.

В углу образа — прокопченные, сухие, скучные, без лампадок — за отсутствием гарного масла. Бутылку керосина мы привезли с собой, захватили на случай и огарок свечи, думали — лампы у старика не случится. Нашлась лампа; зарядили, зажгли, засамоварили. Загуторили. И так до свету. А чуть забрезжило — по утреннему насту лазали с карабинами, револьверами, ружьями... Чего искали, какой дичи — кто же это мог знать?

Просто лазали, авось что-нибудь и попадет.

Разумеется, ничего не попало. Даже никто и выстрела не дал. Скоро простились со стариком. Ехали обратно. И хоть бессонная была ночь, хоть не было отдыха и дорогой качало туда-сюда, а в то же время и не было дня работоспособней, никогда так весело и легко не работалось, как после этих горных поездок.

О том, что собою представляет ревком, чем он занят, в каком направлении ведет работу, мы хоть малое представление, но имели. О комитете партии — тоже.

Что же представляла собою семиреченская Красная Армия: как создалась она, как жила и боролась, какие выработала навыки и традиции, чем дорожит и на что до сих пор щетинится? Кто вожди у ней прежде и теперь? На что годна она, что может дать и чего не даст?

Оглянуться в прошлое, осмотреть ее с разных сторон, выщупать, выстукать в нездоровых местах, чтобы знать, как и чем ее лечить,— о, эта задача много времени потребует, и сил, и уменья! А работа — необходимая: выследить в прошлом надобно каждый шаг. Потом, через долгое время, на руки мне попал доклад: он собрал и повторял то самое, что говорилось и писалось тогда про Красную Армию Семиречья.

От восемнадцатого года. От той самой поры, когда началось горячее дело, когда здесь открылась борьба, возникли фронты. Все перепуталось. Не разобрать, не понять было, где злейший враг и где товарищ.

Местами даже таранчинская трудовая масса объединялась с казаками, боялась красных повстанцев-крестьян. А в иных местах, кругом наоборот, по-иному. Киргизы — не баи, не манапы, рядовая масса — то с казаками, то с повстанцами. Крестьянские отряды переходят к казакам, казачьи части идут, сдаются добровольно на волю красного командования. Запуталось все — не разобрать. Полыхало Семиречье кострами жестокой, изнурительной гражданской войны.

В половине восемнадцатого года прискакали вдруг недобрые вести: на севере, в Семипалатье, от Колчака идут на Семиречье белые войска. Идут в два отряда. Отряды отлично вооружены, вдосталь орудий, патронов, пулеметов, снарядов.

Немало броневиков, ходят слухи про танки. Во главе — офицеры, опытные командиры, два капитана: Виноградов и Ушаков.

Советская власть в Семипалатье пала — ее свергли восставшие казаки, как только почуяли, что с севера к ним идет колчаковская подмога.

И теперь — шаром покати по Семипалатью: все выбито, выжжено, вырезано, расстреляно; бандитская ватага снижается на Семиречье, опустошает, губит, разоряет все на своем вредоносном пути. И нет никакой силы, чтобы остановить эту быстро идущую ватагу. Но остановить необходимо. Надо остановить теперь и какою бы то ни было ценой. Здесь промедление грозит бедами неисчислимыми: по Копальскому, Лепсинскому районам с новой силой закипит казацкое повстанчество, раз прослышит о том, что с севера идут колчаковские войска — победоносно, неудержимо, быстроходом... Надо сдержать... Но чем же? Какими силами? Вот они, красные войска — наперечет. Неоткуда взять, отрядить, перебросить. Взволновались областные центры. Одно заседание сменяется другим, одни погибают за другими предложения, советы, указания; выхода нет, ибо нет той силы, которую можно было бы двинуть навстречу врагу и на нее целиком положиться. И выбрав совсем невзрачного, ледащего командиришку: по годам — мальчугана, по уму — отрока, а по опыту военному — малое дитя, послали его (лучшего

в ту минуту не подобрали), наказали строго-настрого: «Патронов и винтовок бери по людям, орудий одно, а народу соберешь по дороге, пока же вот тебе небольшой отрядец, с ним и отправляйся». Командир этот парень был шустрый, особенно в тылу, особенно пока опасности и видом не видать: храбро продефилировал со своими «молодцами» во всеоружии перед начальством, нацелил путь, разметил, что надо, по карте — и ходом!

Идут день. Идут два — три. Долго идут. Летним зноем. Горячими песками. Холодными росными ночами, в горах, по долинам, путями и беспутицей.

Достигли Сергиополя. И бойцы, совершившие этот путь, как будто давали право надеяться, что в минуты испытанья не объявятся они жалкими трусами. Так бы, верно, оно и было, если б командир был не мальчик, не дитя, если бы в помощники не брал себе сподвижников по уму, по плечу. Как только заняли Сергиополь — поползли будоражные, тревожные слухи, что близки белые войска с бронеотрядами, грузовыми автомашинами, до зубов вооруженные.

И командир сдрейфил. Забил отбой. Отступил из только что занятого города, оставив гарнизон на произвол судьбы. А сам ушел на Копал и дорогой сеял детские, глупые слухи-страхи.

А эти страхи-слухи о мощи белых войск ободряли казаков, и они подымались на борьбу с красными. Но вот уже Сергиополь осажден колчаковскими капитанами. Он не сдается без боя, он дорого хочет отдать себя и до последней минуты, до последней возможности стоит, крепится, обороняется. Но где же было равняться, меряться силами — силы были неравные: офицерская ватага густыми лавами прорвалась на кривые полутемные улицы глухого городка и — по обычаю, по привычке — ножом и дубиной, кулаками и плетью усмирила сдавшихся, не успевших разбежаться, оставшихся во власти победителя. Триста человек выскочили дальними переулками за город, отбивались от преследователей, забились в горную глушь и создали здесь отряд,— отряд, о котором все еще живы легенды, героический отряд, воевавший целых два года,

оторванный от своих, без помощи и поддержки, в глубоком вражьем тылу, воевавший и питавшийся за счет добычи, которую с боя брал лихими налетами. Это отряд «Горных орлов». Все Семиречье помнило, помнит, долго будет помнить, как в мучительные годы безвестные «Горные орлы» больно клевали генеральские войска, терзали их, не давали им завершить разоренье полуразоренного, выжженного края.

Отряд «Горных орлов» пополнялся повстанцами сел и деревень. Но бойцы принимались туда со строгим отбором, после испытания. Когда пропадали сомнения в храбрости, ловкости, мужестве новичка, готовности его на самое отчаянное, почти невероятное дело,— только тогда принимали в семейство «Горных орлов». Эта горстка бойцов прорвалась из Сергиополя, ускакав из-под нагайки, из-под расстрела, от расправы. Потому и сами «орлы» были жестоки, беспощадны в расправе с пленниками-врагами. Сергиополь пал. Из Сергиополя капитан Виноградов шел в предгорьях Тарбагатайского хребта на Бахты, на Чугучак.

Перед Бахтами, в Маканчи — остановился. В Бахтах стоял красный отряд партизана Мамонтова — окруженного, потерявшего надежду на уход; позади, в Копальском районе, уже буянило, громило восставшее казачество. Выхода нет. Только находчивость, решительность могут спасти. Мамонтов ловко включается в провод и отдает грозный приказ белым повстанцам очистить Копал, грозя в противном случае всякими карами, жестокой расправой.

А в Маканчи Виноградову по проводу:

«Завтра жди меня с отрядом».

И только сказал, посадил свой отряд на коней: марш на Маканчи!

К вечеру был на месте. С ординарцем заскочил к штабу, вызвал капитана.

— Ты капитан Виноградов?

— Я...

— А я Мамонтов, командир красного отряда! Н-на!! — и нагановской пулей раздробил ему череп.

Но сам не ускакал. Окруженный, бился долго,

тщетно отбивался,— не смог прорваться, не осилил кучу врагов: растерзали, раскромсали, изрубили красного партизана Мамонтова.

Ускакал только его ординарец, привез отряду траурную весть.

Некогда впадать в уныние:

— Атака на Маканчи!.. Месть беспощадная за растерзанного командира!

На улицах поселка была густая жестокая рубка... Казаки выбиты, выскочили, спасались в панике кто куда.

От Маканчи ходили на Сарканд — казачью станицу; обложили, назначили час и ударили дружно, так дружно и крепко ударили, что прорвались на середину станицы. Но дальше площади не пошли. Так и стояли: половину станицы заняли мамонтовцы, другую половину — казаки. И так и этак пытались — не выходит ничего. Тогда решили выйти вон, обложить наглухо, взять измором. Но для измора надо иметь в запасе время, а на время надо иметь патроны. Уж какой тут мог получиться измор, когда на бойца оставалось по три патрона? Того и гляди, что «изморщиков» переколотят, сомкнут, и нечем будет обороняться! Нет, надо уходить, так не выморишь осажденных. И отошли. На Аббакумовскую. Тем временем из Верного в Копальский район шел отряд Петренко,— он налетом захватил самый Копал, перебросился на Арасан, а из Арасана — на Аббакумовскую. Здесь и соединился с мамонтовцами. Соединенный отряд покружил у Сарканда. Петренко ходил по Лепсинскому уезду, пока не спустился снова в Копальский район и не расположился здесь на зимовье.

Мамонтовцев отозвали на Верный.

Была глухая осень 1918 года. Пустынный Лепсинский уезд оставался без поддержки красных войск. Колчаковские части подымали здесь казачество. Готовились спешно белые войска. Девятнадцатый год грозился ожесточенной войной. По крестьянским поселкам стон стоял неумолчный,— белые части вели себя победителями, чинили расправы, издевались, мстили, изгоняли крамолу...

Тридцать тысяч крестьян — с детьми, женщинами — целым табором направились на селенье Черкасское. Закрепились. Обрылись. Окопались. Огородились, упрятались как могли.

И понимали ясно, что так и этак — конец один: так уж лучше погибнуть в бою. И бились. Да как бились! История черкасской обороны — это удивительная страница героического сопротивления обреченных на гибель десятков тысяч бойцов, наполовину безоружных, больных, вынужденных дорожить каждым ударом, каждой пулей, которую назавтра будет негде раздобыть.

Осажденные держались целых полтора года и устроили за это время мастерские, где готовили пули-самоделки, холодное оружие, даже готовили порох. Долго и мужественно держались черкассцы. И когда обессилели, когда ворвался неприятель,— свирепа была его угарная, хмельная расправа, рубленым мясом и грязной кровью, кровью и влажным от крови песком багровели узкие улички Черкасска.

Отряды Мамонтова, Иванова, Петренко проявляли порою в боях чудеса героизма, мужества, отваги. Но это не были отряды сознательных, стойких революционеров. Это были крестьянские партизанские отряды, построенные по принципу полной независимости не только одного отряда от другого, но независимости и между отдельными частями одного и того же отряда, если только он еще дробился на части. Независимость эта, вольность партизанская родила, конечно, самоуправство, бесконтрольность в действиях и поступках, безотчетность, безответственность. А раз не перед кем держать ответ, раз нет налицо силы, которая призвала бы к ответу своим авторитетом, своим могуществом,— неизбежно в *таких* партизанских отрядах должно жить, расти и быстро развиваться своеволие, хулиганство, включительно до бандитизма. Не избегли этой участи в те годы и эти три отряда. Своим вызывающим, недисциплинированным поведением, своим неосмысленным, неосторожным отношением к туземцам,

главным образом киргизам, они сделали то, что киргизы массами начали переходить в белый стан.

Они, конечно, и там подвергались грабежам, насилию, издевательствам, и тогда переметывались снова к крестьянским отрядам, и так мучились целые годы, пока «вольные» отряды партизанские не отжили положенный свой срок и не заменились организованными частями Красной Армии. Хулиганство мамонтовского отряда дошло, например, до того, что из домашней церкви пьяною ватагой был выхвачен архиерей и за городом расстрелян — без суда, без предъявления должных обвинений. Такие дикие выходки, конечно, настраивали жителей и робко и злобно; хулиганствующие отряды отталкивали все население от советской власти, бросали его в объятия белогвардейщины. Так было в конце восемнадцатого. Нечто подобное продолжалось и в девятнадцатом году.

Особенно прославился из хулиганских бандитских командиров Николай Калашников. Семиреченская крестьянская армия вообще не имела в среде своей пролетарских элементов — в ней был преимущественно крестьянин-середняк. Но отряд Калашникова по своему составу отличался даже от этой середняцкой массы и включал огромную массу кулачья, свирепо, насмерть боровшегося против продовольственной разверстки, которую пытались проводить советские органы; он боролся и против мобилизации крестьянских подвод, боролся жесточайше против малейшего вмешательства в мирный крестьянский быт хотя бы и ради острых военных нужд.

Калашников был отличным выразителем этой кулацкой стихии, он был весьма подходящим «начальником» той банде, которая гроша ломаного не даст на общее дело и в то же время, как липку, может ободрать какой-нибудь киргизский кишлак, может пьянствовать непробудно, безответственно, буйно хулиганствовать и прикрывать это подлое безобразничанье завываниями о свободе, о новой жизни, о борьбе, победах... Калашников банду свою гладил всегда по шерстке и сам не только никому не уступал — наоборот, являлся первейшим зачинщиком всяких пьяных

дебошей. Банда его не то чтобы любила — какая тут любовь, и до любви ли было? — но они все отлично чувствовали, что за таким командиром им «настоящая воля», именно за таким командиром они будут безнаказанно зверски расправляться с продовольственными агентами, за таким командиром всегда они будут бражной, хмельной ватагой обсуждать:

— Надо или не надо завтра утром выступать, надо или не надо идти по заре в бой, чтобы поддержать истекающий кровью, изнемогающий в неравной борьбе какой-нибудь красный отряд на левом, на правом фланге? Это ли не раздолье: сам себе во всем хозяин, никому нет до меня никакого дела, творю, что сам хочу, и ответ держу только перед собою.

Такой массе нужен был во главу угла только образцовый бандит, и эта масса недаром выдвинула, терпела, по-своему оберегала и защищала командира своего, Николая Калашникова.

Но как же быть? И слева и справа — другие отряды, не такие, как этот, калашниковский, более выдержанные, не махрово-кулацкие, спаянные хоть какою-то первоначальной дисциплиной. И эти отряды ходят в бой. Они ждут помощи от калашниковского отряда, они ждут и верят, что назавтра вместе с ними где-то слева ударит и он,— облегчит им положение, снимет гирю на левом фланге. Но идут они раз, идут два, три: нет подмоги, бандитский отряд в бой не пошел, отзвонил митингами, отболтался обещаньями, а в результате: жертвы, жертвы, жертвы...

И на калашниковский пакостный отряд стали потачивать ножи. Но еще слишком темна, непонятлива, доверчива была красноармейская масса,— ведра пролитой крови она готова была забыть и простить за звонкий красочный лозунг, за обещанье, за мишурную ложь.

Калашников по всему фронту бил в набат, клялся и уверял, что он истинный борец за крестьянскую волю, и за этот гром-звон ему прощались все его предательства и измены и лишенья, которые выносили другие по милости его пакостного отряда. Надо было что-то делать. Калашников — язва на фронте, и эта

гнойная язва грозит сгноить, уничтожить весь фронт. Надо бить в сердце отряда, а первым делом в самую макушку — в бандита Калашникова. Но из Верного, из центра он был недосягаем. Не было силы, которую смогли бы противопоставить силе калашниковцев. Так проходили дни, недели, месяцы...

Подошла и уж проходила весна девятнадцатого года. Этой весной прилетел в Семиречье летчик Шавров. Он прилетел из Ташкента. Летел над Курдаем, торопился скорее в центр области, был наслышан о грозных опасностях, о трудном положении; не хватало терпенья гнать на почтовых,— летел, горел нетерпеливым, страстным ожиданьем окунуться в кипящую, бурную семиреченскую действительность. И как только прилетел, увидев разнобой, первым делом заключил (умный был человек), заключил, что объединить в одно целое части можно только в живом, быстром действии. Общее дело — видимое, чувствуемое, решаемое совместно — может спаять стальными узами единства. Это понял Шавров. И потому решил привести в движенье разорванный фронт, здесь и там нащупав слабые места, щелкнуть казачьи заслоны, ободрить, окрылить верою своих, заставить их встрепенуться, почувствовать свою силу, а там — марш на Черкасское, марш освобождать осажденных своих товарищей!

Создал Шавров реввоенсовет фронта.

Перестроил Шавров отряды в полки, придал частям законченную стройность, привел в единый вид, торопился вышибить самостийный хулиганский дух, заменить его сознательным отношением к делу, суровой, крепкой дисциплиной. Начал смело, уверенно, объявляя повсюду свежую мысль, обнажая крутую, железную волю. Да не рассчитал. Забылся. Не учел того, что не с рабочими, не с беднотой крестьянской имеет дело, а с крепкими, сытыми мужичками, которые все еще держатся за таких подлецов, как Николай Калашников, которые в трудную минуту скорей его поддержат, а не тебя, железный летчик Шавров.

В самом деле — Калашников взбунтовал:

— Что за ревсоветы? Долой их, к черту! Что за полки? Не позволю отряд мой перестраивать в полк.

Мы сами здесь боролись — сами будем бороться и напеоед, не надо нам никаких ташкентских-московских учителей и командиров. А хлеба своего не дадим, так и знайте: пуда не дадим. Проваливай, наезжий. У нас обойдутся без тебя... Какой-то там Шавров нашелся... Сволочь поди... Сам, говорят, из генералов и думает передать казакам наши молодецкие отряды... Что же это такое, братцы?.. За что же мы боролись, кровь свою на что проливали? Да разве допустим, чтобы какой-то приезжий негодяй разорял наш край и продавал нас нашим врагам? Никогда. Ни за что. Да здравствуют наши свободные отряды! Долой ревсоветы! Долой Шавровых, долой, долой!!

Такие речи держал Калашников своему отряду. Такие речи держали-передавали калашниковцы по другим отрядам, по деревням и селам, где останавливались, где кочевали... и возбуждали ненависть, недоверие к приехавшему летчику, недружелюбно настраивали к нему стара и мала, в отрядах и на селе. Но трудно было сломить железную волю Шаврова,— он продолжал неутомимо намеченное дело, крутой умелой рукой делал, что ему казалось нужным, полезным. Когда узнал про гнусную калашниковскую агитацию, живо, раз-два, послал конвой, арестовал Калашникова, посадил его под замок. Дело сделал, но недоделал до конца: надо было этого молодца немедленно переправить в центр. Ошибся летчик, не отправил. И нажил неминучую, тяжелую беду. Банда Калашникова освободила, дала ему возможность бежать в Аббакумовское, а здесь, на просторе, среди своей братвы, он в разгоряченную, взволнованную толпу бросал раздражающие крики:

— Неужели и дальше будете терпеть? У вас выхватывают любимых, лучших командиров, сажают в тюрьму. А назавтра, не убеги я,— расстреляли бы... И это — ничего? Значит, молчать будете, так ли? Эх, подлецы! А я бы, на вашем месте, самого его привел сюда, Шаврова, поставил бы его перед народом да заставил бы отвечать: кто позволил тебе, негодяю, сажать народных избранников? Долго ли будешь предавать нас врагам нашим? Показать ему силу —

вот что надо делать! Арестовать, привести... судить его!

— Судить его... судить!.. Арестовать! — ревела очумелая толпа.

И через несколько минут конная ватага скакала на Копал, где в ту пору остановился Шавров. Домчалась. Ворвалась нежданная. Захватила летчика, поволокла с собою в Аббакумовку [1].

И когда поставили его перед озверелой тысячной толпой, нарядили суд,— издевались, кляли за измены, за неведомые ему самому предательства. Тут же судили, тут же решили, постановили:

«Признать врагом и изменщиком народным, а потому уничтожить...»

И здесь же, на площади, кинулся зверем Калашников, первый разбил ударом бледное суровое лицо Шаврова.

Дальше было, что бывает всегда: сначала колотилось в судорогах о камни мостовой, извивалось в предсмертных конвульсиях окровавленное, избитое тело, а когда было смято в комок и уж пропала зверская охота бить его, пинать, колотить прикладом — оттащили в сторону, к колодцу, спихнули туда, словно падаль в зловонную яму, и долго еще бросали вниз каменья, видимо боясь, чтобы не ожило это с кровью и землей растоптанное человеческое тело.

Так погиб летчик Шавров.

Мужественный, умный, смелый строитель.

По его стопам шли дальше другие и добивались своего — осуществили то, что хотел в свое время осуществить дорогой покойник. Но они, наследники, уже были счастливее. Искупительная жертва была принесена.

Вздрогнула область. Насторожилась чутко. Почуяла недоброе. Над трупом мученика Шаврова впервые был осознан, понят ясно тот ужас, который гуляет вольно по Семиречью. Еще долго-долго не удавалось прикончить хулиганский разгул, но погибель его начинается от шавровской могилы.

---

[1] Аббакумовкой звали в просторечье Аббакумовское.

По всем уездам после тех жутких дней провели внеочередную двадцатипятипроцентную партийную мобилизацию. Отослали ребят по частям.

Это была первая мера, которую направили в сердце партизанщине.

Верно, что сами коммунисты семиреченские в ту пору большинством своим мало на что годились путное, однако же и они, хоть на вершок, сумели осадить разгул Николая Калашникова. Июльское наступление на Аксу. К нему готовились. Ждали, верили в удачный исход. И в самую трудную минуту отряд Калашникова (в который раз!) отказался идти. Дело было сорвано. Части отошли на Аббакумовку. Через месяц повторили удар — и снова все та же знакомая, старая подлость: отряд Калашникова открыл правый фланг наступавших красных частей, а сам не пошел. Части отступили с тяжелыми потерями. Раненый комвойск области, товарищ Емелев, скоро умер от ран. Надо было с Калашниковым действовать решительно. Против него теперь крепко настроен был целый Павловский (впоследствии 25-й) стрелковый полк. Из Ташкента пришел отдельный батальон и разом попал в калашниковскую переделку — он тоже озлобился до предела.

Тогда решили трое — безвестных серошинельников: пришли в хату, где бражничал пьяный бандит, и по-собачьи его пристрелили. Был шум. Были угрозы, волненье, иные опасались даже крестьянского восстания как мести за Калашникова. Но обошлось все проще: грозная и отважная в тылу, в безопасности — бандитская ватага калашниковская живо примолкла, лишь почуяла против себя Павловский полк и Ташкентский батальон. Ша! — и больше не волновалась. Так окончил свои дни побунтовавший всласть, похулиганивший вдоволь командир бандитской ватаги Николай Калашников.

Ранней осенью того же девятнадцатого года сделали новую попытку совладать с казаками: решили ударить на Черкасск, объединиться с осажденными и вместе навалиться на врага. К Черкасску пробились.

Но были биты, потому что казачье командование до последней запятой узнало заранее планы красных командиров: было предательство.

Пытались потом ударить на Сарканд — и снова, по той же причине, тяжкая неудача. От черкассцев оторвались. А те не выдержали, не вынесли новых испытаний — сдались. В эти дни Черкасск оборвал свое героическое сопротивление, потеряв последнюю надежду на выручку, истощив остатки сил в долгой неравной борьбе.

В половине января двадцатого года казаки повели наступление, но ударились о Павловский 25-й полк и откатились, замкнулись в Копале. В белом стане с тех пор стало неладно: как-то вскоре в бою, под огнем, целый батальон перебежал на сторону красных, а потом каждый день — три-четыре перебежчика. И все в один голос утверждали, что насчет перебежки не прочь бы и младшие командиры, да зорок за ними полковничий глаз.

Дело близилось к развязке. Надо было лишь улучить момент, надо было крепким ударом довершить то разложение, что идет теперь в белом лагере самотеком.

В те дни войсками области уже приехал командовать Белов. Председателем ревсовета был Саликов — дельный, нужный тогда человек; хороший оставил он след по себе у тех, с кем работал.

Январь — февраль готовились. Боев почти что и не было вовсе — только мелкая казенная перестрелка. Подступил март. На десятое дан был приказ красным частям идти в решительное наступление на Копал. Взять его. Отрезать прежде от Саркандской и Арасанской станиц, лишить возможности подкрепляться резервами, отсечь кругом препоны и угрозы,— тогда овладеть. Копал силен: у него несколько тысяч гарнизона, сто тридцать пулеметов; сколько орудий — неясно. Сам город зимой — неприступная крепость: в снежных непроходимых горах, весь в буранных метелях, вьюжных перевалах, засыпанных намертво ущельях, в гигантских сугробах, снежных заносах, отрезавших

его от живого мира. Трудно идти на Копал. Вся надежда, пожалуй, на то, что под крепким, под здоровым ударом дрогнет гарнизон, уже и без того потерявший былую стойкость. Дрогнет, сдастся. Но если бой — о, какой это ужас! — с копальских высот, из ста тридцати пулеметов!! Этот бой не сулит успеха.

На рассвете, в сырых колючих туманах, тронулись полки. Шли в утренней мути — незаметные, невидимые окоченелым вражеским дозорам. Прошли глухое, мрачное ущелье, пришли на равнину, за которой горы и в горах — Копал. Пропадали, рассеивались ранние туманы, и было ясно одно: через час по равнине, где красные полки, будет видно с гор движенье, пулеметы скосят идущих — до единого. Так немедленно на приступ! Но окоченелые члены отказывались служить. В полуверсте от города застыли полки. Крепчал с минутами горный мороз, рвавшийся дико с ущелий ледяными ветрами. Они все острей, колючей, глубже пронизывают тело,— ишь как раскричались, взвыли в горах! Налетела внезапно горная буря, черный, вьюжный, грозный буран грозил бойцов обернуть в ледяные сосульки. Бессильные, потеряв последнюю возможность держаться, дрогшие до вечерних сумерек, стали отступать в Чумбулакское ущелье, где тише, где нет пронизывающего в равнине ледяного дыханья. Наступленье не удалось. Подымались было в иных местах на равнине те, которые одним ударом торопились порешить судьбу Копала. Но их было мало. И, видя, что вокруг тянут назад, в Чумбулак,— остывали, уходили и они.

Срочно примчал Белов. Приказал отходить на исходные пункты. Видел, что гибель иначе — неминуемая. Отошли. И тем спаслись: на утро следующего дня все тропы-дороги глухо, глубоко засыпаны были снегом.

Готовилось новое наступленье. Было назначено оно на двадцатое марта. Теперь уж были предусмотрительней, осторожней: теплей укутались красноармейцы, захватили на случай бурь-буранов полсотни широких, просторных юрт, толковали о лыжах, но лыж

не достали. Было все-таки ясно, что в лоб, фронтовым ударом Копала не взять: сто тридцать пулеметов грозились убедительно с копальских гор на пригородные равнины. Надо было город обложить, взять в кольцо, затомить измором. К тому же были слухи, что продовольствия у копальцев немного, на пять-шесть дней. Надо проложить себе обходные пути, забросить в тыл Копалу кавалерийские полки, которые приковали бы на себя внимание Анненкова, Дутова, Щербакова, стоявших со своими войсками в Саркандской и Арасане. И вот — ценой тяжелых испытаний, сурового напряженья — три красных кавполка очутились за Копалом. И сразу столкнулись с казачьими частями, которые вел Щербаков на подмогу Копалу. Выхода не было: неизбежно, настойчиво, окончательно надо было схватиться: пан или пропал!

Красноармейцы понимали, что дальше тянуть борьбу немыслимо, что разорение достигло пределов, что скоро, может быть, вовсе не станет хлеба, и уезды вымрут с голодухи,— надо напрячь последние силы, выиграть дело. И вот Щербаков остановлен. Вот его пожали, стиснули, взяли в кольцо: тут ему неминучий конец. Но как раз в эту ночь, когда хотели кончать Щербакова, разыгралась горная метель, и белый генерал сумел незамеченным прорваться сквозь кольцо красноармейцев, с частью войск пробрался на Сарканд, а из Сарканда — горными перевалами — в Китай. Застряли белые войска и в Арасанской. Сюда подступали цепи красноармейцев. Они готовились приступом захватить Арасан. И когда были совсем уж близко — взвился белый флаг, осажденные сдавались на милость победителя. Не верилось. Опасались. Предполагали, что враг заводит в коварную ловушку. Осторожно, через парламентеров, завязали разговоры. Произвели предварительный осмотр станицы: где что спрятано, как обстоит дело с орудиями, пулеметами, снарядами, патронами... Когда все было высмотрено, обезврежено, а оружье сложено и установлено в козлы, тогда вступили в Арасанскую красные части. И помнили командиры, красноармейцы то, что говорил им Белов:

— Когда белые, сами уставшие в борьбе, утерявшие веру в своих генералов, когда они станут перебегать или сдаваться,— помните, что все будет тогда зависеть от вас самих: или вы поможете прикончить фронт, или вы его разожжете, обострите отношения, подтолкнете казачьи части на новые жестокости, на дальнейшую борьбу. Если вы серьезно хотите, чтобы фронт теперь же, весной, был прикончен,— встречайте по-братски переходящие и сдающиеся вам казачьи войска. Не насилуйте. Не издевайтесь. Не глумитесь над ними,— они теперь слишком чутки ко всякой мелочи, крайне болезненно воспринимают всякую насмешку и самую малую обиду. Бойтесь ожесточать их понапрасну. Когда же товарищеским отношением вы дадите им понять, что к пленникам у вас злобы-ненависти нет, что вы принимаете их как представители трудящихся советских масс, что вы их скорей-скорей пропустите к труду, к работе, к станицам, о которых и они ведь скорбят, товарищи,— ну, тогда, поверьте мне, что эта молва о добром, дружеском приеме промчится по всем казачьим войскам, домчится и в Китай и там разложит остатки белых войск и их приведет к нам с повинной головой. Относитесь же по-братски к пленникам, дайте им понять, почувствовать, поверить, что вы им больше не враги, а товарищи...

Эти слова помнили. И здесь, в Арасанской, когда вступили, не было насилья, грабежей, расправ. Казаки и жители дивились. Не верили глазам, ушам своим. Они ждали жестокостей — этими жестокостями все время пугали их генералы. Арасанцы радовались.

Сами предложили: снарядить из своей среды делегацию, отправить ее в Копал, рассказать копальцам убедить их, что ей-же-ей красноармейцы не звери, что они сдавшихся арасанцев пальцем не тронули.

Отлично. Делегация отправилась в Копал. И скоро оттуда примчалась весть, что копальцы без боя слагают оружие.

Копальцы выслали встречную делегацию для переговоров, для подписания договора, который обес-

печивал бы их от неожиданностей. Тоже боялись. Тоже не верили. Даже когда подписали договор, находились такие, что уверяли, предупреждали:

— Что им бумажка, красным? Такие ли они рвали бумажки. Такие ли обещанья нарушали. Вспомните Учредительное — они ведь тоже обещали хранить-охранять его, а что сделали? Все порвали, все нарушили. Так нарушат и здесь, у нас. Бойтесь. Не верьте, не верьте...

Но эти опасливые голоса заглушались криками тысяч голосов, требовавших немедленного прекращения войны, немедленной сдачи:

— Будет. Навоевались. Толку все одно нет никакого. Сдаваться теперь же. И больше никаких!!

Волей-неволей казачьи офицеры, вся руководящая головка, были вынуждены идти на мировую, видя, что иного исхода нет.

И вот подписали договор. Были тут разные пункты, в этом договоре, но главным, конечно, стоял пункт о жизни и смерти, о гарантиях, о клятвенном обещании победителей не чинить расправ...

И вот сошлись две стороны: красная и белая. В глухом горном городке, в Копале. Кругом спокойные стояли гигантские котлы серебряных снежных гор, тех гор, по которым хищно, по-звериному, прорывали в снегах себе дорогу и белые и красные. Налетали вдруг, ураганом. Хитрились, состязались в ловкости обмана, внезапного удара, уничтожения, расправы... Там много в горах братских могил. Еще больше там безмогильных мертвецов, брошенных в сугробы, на съеденье зверью. Разъяренные, до нынешнего дня стояли одна против другой две живые стенки: красная и белая. А вот пришел этот удивительный час, когда враги превратились в друзей, когда поверилось, что не будет больше по горам хищной охоты полка за полком, роты за ротой, зоркой стайки разведчиков за другой такою же стайкой. Не надо каждую минуту дрожать и ждать, что откуда-то внезапно, из ущелья или с гор, вынесется нежданный враг и отымет жизнь.

Теперь — братья.

Стояли две шеренги, красных и белых, одна против другой: белая — с пустыми руками, побежденная; красная — вооруженная, победительница. Одна на другую смотрела и все еще не верила, все ждала неожиданного, какого-то внезапного испытания.

По рядам прокатился шепот:

— Командиры едут... командиры...

Верхами на середину выехали Белов, Бочаров, а от белых — Бойко, капитан, командовавший копальскими войсками. И стали говорить — такие речи, такие слова, которые жгли до сердца, от которых плакали бойцы, закоченевшие, озверелые в дикой горной войне.

А слова, казалось бы, такие были простые, такие обыкновенные, что в другой раз никто на них и не посмотрел бы, не заметил, не почувствовал их:

— Отвоевали... хватит... Теперь Семиречье больше не будет знать войны, фронтов, разоренья... Мы вернемся к селам-деревням, к кишлакам и станицам... Каждый возьмется за свое — за то, что он оплакивает вот уж несколько лет кряду, о чем затомился, к чему рвется все эти мучительно трудные годы... Хватит воевать, товарищи. Теперь давайте жить мирной жизнью: кто уйдет к земле — пахать ее, продолжать заброшенное привычное, любимое дело, кто к стадам уйдет — пасти их по горам. У всякого свое дело. И мы вперед не только не станем друг другу мешать в труде — помогать будем, вместе станем работать, так дружнее, так ладнее, на то и советская трудовая власть устоялась... Ну, так на работу, товарищи! Забудем свою вражду, раздоры недавних дней — пойдем к семьям, к земле, к труду...

Эти простые слова взмывали до основания, потрясали переболевшие человеческие сердца. Радость — непередаваема. Кричали разом все восторженным криком, потрясали оружием одни и обезоруженными руками — другие, клялись, что больше не станут воевать, что от труда не оторвутся...

Надо было разъяснить. Надо было предупредить, сказать теперь же, здесь, на месте, в Копале: отчего и за что воевали, где причины, как обстоит

дело в Советской республике, к чему надо быть готовыми.

— Мы здесь, в Семиречье, кончаем, кончили борьбу,— говорили дальше после первых восторженных приветствий.— Белые генералы и полковники, увлекшие казачество на эту борьбу, оказались бессильны, увидели, что казаческая масса больше не хочет сражаться, идет к земле. Щербаков ушел на Китай... Анненков и Дутов, виноградовские остатки, которых с севера теснят теперь красные полки,— и они уходят в Китай... Мы с вами не хотим войны, но ее могут снова разжечь эти белые генералы. Увлекли же они теперь целые тысячи с собою в недосягаемые для нас пределы китайские. И они каждую минуту могут снова ворваться оттуда к нам,— что́ тогда?

— Клянемся, что не дадим, не допустим войны,— кричали красные и казаки.— Не дадим... Не допустим!!!

— Значит, надо будет снова под ружье,— об этом мы и предупреждаем: идите трудитесь, но знайте, что вы можете быть еще и еще раз встревожены вражеским налетом. Это знайте, не забывайте. Потом еще одно: враг не сломлен повсюду, как здесь. Он еще остался и в Туркестане — в Фергане хотя бы, где бесчинствуют басмаческие банды... Враг в Советской России, на польском фронте, на южном, у Врангеля... Когда позовут нас, потребуют помощь — неужели не пойдем?

И здесь, разгоряченные радостью, может не отдавая во многом себе отчета, кричали:

— Пойдем!.. Поможем!.. Отстоим вместе!..

Настроение было высочайшее, торжественное, потрясающее по глубине, по искренности, по силе переживаний...

Так встретились в Копале недавние враги. Так сдавались тысячи осажденных. Так закончился фактически Семиреченский фронт, осталась только нависшая из Китая угроза внезапного налета скрывшихся там казачьих полководцев. Сколько было, ускакало с ними войска? Этого точно не знал никто. Но когда потом стали подсчитывать вместе с

офицерами казачьими — выходило что-то слишком опасно и грозно: до десятка тысяч человек.

Такая сила продолжала оставаться для области постоянной мучительной угрозой. Надо было как можно скорей и ее обезвредить, ослабить, распылить.

Над этим задумались. Эта задача для красного командования встала теперь как одна из самых главных задач.

Ну, а с пленниками — как полагается: перекличка, переписка, сортировка по различным категориям. Потом партиями — на Верный для окончательного распределения, назначения, использования.

Эта часть работы уже проводилась в апреле — мае. Тут были и мы — в ней участвовали. А что было до того, про самую ликвидацию фронта — узнали по рассказам товарищей, по докладам, которыми отчитывались они перед центром. Белов мне не раз говорил:

— Хоть он, фронт здешний, и окончен, закрыт, а все-таки на дело смотрю я с тревогой. Подумай: осталась вооруженная семиреченская армия — из здешних мужичков, в немалой доле из кулачья. В Копале покричали, порадовались, пообещали, даже клялись кое в чем, самом наилучшем... Но разве же мы на этом сможем построить все свои расчеты? Ухнем. Провалимся, если будем строить. Делу надо смотреть в корень. И когда я в корень посмотрю — вижу: радости — радостями, обещанья — обещаньями, а сама жизнь, действительность семиреченская говорит за то, что семиреки отсюда никуда доброй волей не уйдут. Хоть мы тут пропадай со всей Ферганой, хоть тебе там польские гетманы по самой Москве скачи — клянусь, ей-ей, никуда они не тронутся, семиреки. Теперь что? Теперь они победили. Врага нет — врага повергли во прах. Это где-то кто-то там, в Китае... Ну, раз его, китайского врага, не видят, тут у них большой тревоги нет, не будет пока. А что касается других мест — до Польши, до Врангеля, что ли,— ничего тут не выйдет. Для такого размаха, для такой борьбы — в любую минуту и на любом участке — тут

нужна сознательность, большая, серьезная, глубокая сознательность, убежденность. А у них здесь, что ты думаешь — также была глубокая убежденность? Черта два! Просто с казаками состязались: кто кого, чья возьмет. Кому считать себя головой, господином в области? У кого в руках будет настоящая, подлинная сила, кто будет командовать, руководить и кто — слушаться? Вот что — и только это: дорогу себе расчищали к сытости, к тому, чтобы можно было киргизов к рукам прибрать, по-своему ими управлять, отдаивать их, как вздумается... Так что, поверь мне, всего можно от бражки этой ожидать. Тут такие трюки могут разыграться — только ахнешь...

Умный Панфилыч казался мне всегда немножко пессимистом. Мне постоянно казалось, что он мрачнее понимает дело, гуще обрисовывает положение, чем оно на самом деле: было бы, дескать, с чего сбрасывать. Но уж лучше трудней зарисовать обстановку, чем выкрасить ее в розовое благополучие. И с этой точки я всегда ценил крутое выпирание Панфилычем возможных и невозможных опасений, о которых он предупреждает. На этот раз предположения его были весьма реальны,— за это говорила вся областная обстановка, это оправдалось в близком будущем самым роковым, тяжким образом.

Фронт прикрыт. Что делать армии?

Распустить — это, конечно, самое любое дело, об этом она только и вздыхает и шумит, напоминает своими требованиями, угрозами, посылкой пространных посланий, категорических телеграмм и живых ходоков.

— Баста: разбили казака. Теперь, фью-фью, ищи-свищи его по Китаю. Шалишь, брат, не на того напоролся — мы те вихры, взбучим, переказачим чуб!

— Так ведь не всех побили,— пробует силы какая-нибудь благоразумная голова.— Это тоже не шутка, что по Китаю они бродят, казаки. Что Китай? Китай — вот он, рядом. Скакнут два скока — и снова

здесь. Оно того, браток, пожалуй, чуть-чуть и опасно...

— Кому опасно, кому — нет,— гремит непоколебимый победитель.— А нам: тьфу! Как нажарили в хвост — эк тебе, копыта сверкают...

— А все опасно. Вдруг — беда?

— И нет никакой. А што беда — мы тому всегда наготове, штоб встретить ее, потому — оружие навсегда при себе.

— То есть как?

— А так: по деревням.

— И пулеметы?

— И пулеметы.

— И орудия?

— Они самые, а що? Поставим под колокольню, пущай стоит. Как он самый, этот казак, на деревню,— тут она, пушка, готовенькая, ему по пузу: храп!..

— Да где это видано, чтобы армия с оружием по домам расходилась! Что вы, ребята? Ни к чему это.

— То армия, а то и другая... Мы свое оружие сами добыли, наше оно, с бою у казака вышибли, а потому и отдавать не хотим... Кой черт! Тут, можно сказать, кровь проливали, а потом, пожалуйте, оружие,— мы его себе приберем... Да-с, голыми ручками... Нет, выкуси, на... Отдадим, того и гляди...

— Так, братцы, да разве ж можно этак рассуждать? Вы же тут одну дивизию составляете, а разве их мало, других дивизий?

— Нам какое дело?..

— Да не «нам какое дело», а все они, наши дивизии, одно дело делают, все за одно идут.

— Мы казака посшибали.

— Ну и ладно,— посшибали, и ладно. А в других местах еще не побили врагов советских, там тоже дивизии. И у многих, быть может, вовсе мало оружия. Тут оно будет у вас под колокольнями стоять, а там...

— Там свое... Нечего тут: одним словом, что мы его тут навоевали, себе его и оставим, потому солдат без ружья — гусь бесхвостый.

— Да, пока он в строю,— упирается собеседник,— в строю ему нужна винтовка, а когда в деревне, при пахоте, тут не винтовкой надо работать.

— Знаем, чем работают,— и угрюмые взгляды досказывают недосказанное: «Отвяжись ты, сатана, все равно не дадим, чего пристал?»

Но как же можно отцепиться?

— Надо оставаться под ружьем, дивизию распускать немыслимо — враг под самым боком, близко враг...

— Ну, мы сами охраним себя — больно нужны вы тут, понаехали жидва, татарва разная.

— Ребята, что вы?

— А то мы, что отчепись, и все тут... Сами воевали, сами и дальше будем воевать, коли надо, а вас тут никто не звал — сами наехали.

— Но дивизию, дивизию-то — нельзя же просто так по домам распустить?

— Нечего пускать, и сами уйдем...

— Да враг же тут! Он под носом. Он у самой границы — как тогда, коли силы не будет никакой, когда разойдутся?

— А так и будем, прогоним — и все...

— Нет. Этак, братцы, не годится. Это не разрешение вопроса. К делу надо подходить, осмотрев его со всех сторон, а тут «ура», да и только,— это не дело. И потом, армия может быть использована теперь на разные хозяйственные нужды. Вон, к примеру, на Урале или в Сибири как использованы красноармейцы: они там пашут, крестьянам помогают, рубят лес, сплавляют его, постройками разными заняты, дороги чинят,— это вот дело. Это действительно дело. И главное, потребуйся армия в бой — да вот она, вся тут под ружьем: час работает и строит, а на другой час палит и колет штыком. Вот что значит перевести армию на хозяйственный фронт: одной рукой за соху, а другой за винтовку. И мы здесь получили задачу — семиреченскую Красную Армию сделать трудовой...

Вы стоите в ожидании. Вам нужен ответ. А ответа нет. Отвечают только насмешливые да озлобленные взгляды, потом кто-нибудь прошипит язвительно:

— Неча учить — работать сами умеем.

Этак встречала масса красноармейская новую весть о переходе на трудовое положение. Командный состав, за исключением пяти-шести человек, смотрел на дело глазами массы. Коммунисты армейские слабо или вовсе не восставали против этих настроений, а многие даже крепко их поддерживали, оправдывали, присоединяли свои голоса.

— Беда, Панфилыч,—говорю Белову,—никакой тут у нас трудовой дивизии не выйдет...

— А ты еще только теперь очухался,— усмехнулся он, окусывая рыжий колючий ус.— Эта кобылка, погоди-ка, митинги откроет да обсуждать начнет: пахать сегодня или не пахать, рубить али не рубить; они тебе такую *трудовую* покажут — не обрадуешься. На мой взгляд,— сказал он серьезно и крепко,— ничего из этого не выйдет, ровно ничего. Разве только отдельные части малые, где и командир хорош, да и то на время — разбегутся...

— Но ведь делать же надо что-то. И делать теперь вот, не откладывая, иначе и того хуже может выйти...

— Надо. Я не про то. Только надо так сделать, чтобы без ошибки. Я, знаешь ли, до твоего еще приезда вот что Ташкенту предлагал: всю нашу армию по домам — марш!.. Пущай идут отпущенные, чем ждать, как сами побегут. Раз только станем отпускать,— тут и условие можно ставить: например, чтобы оружие в полку оставалось, чтобы на случай собрать можно было всех снова... А тем временем сюда чтобы подоспела надежная, хорошая дивизия. Вон, слышно, Блажевич со своей с севера идет, из Семипалатья... Ну, как подойдет — отчего тогда и мобилизацию не заявить? Год за годом, так и пошло, тут не откричаться, коли у нас дивизия будет верная под руками...

— Ну, и что тебе центр ответил?

— Отказали...

Я знаю, что Панфилыч всегда обдумывает разом несколько планов: сорвется один — другой наготове, другой не удастся — третий в запасе.

— Надо попытаться,— говорю ему,— осуществить вот то самое, о чем мы толковали в ревкоме — лес сплавлять на Алматинку да на Чуйскую долину, на орошенье.

Панфилыч будто впервые слышит эти планы — в глазах у него не то недоверие, не то изумление: ничего, мол, из этого не выйдет.

А на самом деле он уже не первый день наводит справки, узнает о размерах хозяйственных нужд и на Алматинке и на Чу, узнает, где какой имеется инструмент, сколько его и насколько он пригоден сразу к делу, куда и сколько потребно народу,— словом, проводит всю ту черновую работу, с которой начинается организация дела. И тем временем по полкам выяснялось: сколько где плотников, каменщиков, слесарей, прикидывались примерные цифры и людского специального состава и инструментов, что были по инженерным ротам, у саперов или просто в хозяйственных командах, у каптенармусов и даже у рядовых бойцов; выяснялось наличие и перевозочных средств — и у жителей и по дивизии: тут работали совместно некоторые дивизионные ребята с представителями «власти на местах» от уездных ревкомов и военкоматов.

Черновая начальная работа не дремала — работа по выяснению и подготовке. Было лишь окончательно ясно одно: как только затеем переброску из уезда в уезд, как только задвижутся полки, оставшиеся без дела и страстно рвущиеся по селам и деревням, лишь только узнают они, что распускать не предполагается, а закрепляют их на хозяйственную работу,— каюк: разбегутся. А то и похуже что-нибудь. Уж если и давать какую работу, так только на месте, там, где стоят они теперь, полки. Обождать хоть некоторое время, хоть месяца два продержать в труде, который, быть может, ослабит малость это стихийное рвенье по деревням,— тогда можно будет затеять и переброску... Втянутся, вработаются, приучатся считать это трудовое состояние дивизии столь же естественным, как естественным считалось доселе ее боевое состояние. Словом, на худой конец, требуется месяц-два для

изживания демобилизационного порыва. А ежели и тронуть, так лишь те незначительные части, в которых можно быть уверенными,— этих можно слать и на Чу и на Алматинку.

В докладе реввоенсовету писалось:

«Красная Армия освободилась от своих обязанностей, и с нею надо делать что-то теперь же, не откладывая дела в долгий ящик. Я уже вам сообщал о ее специальном составе, о военных ее качествах и о преобладающих среди нее настроениях. Прорвавшись к своим селам, она охвачена единым и страстным желанием осесть на месте и никуда не двигаться, распуститься. Она при данном положении никоим образом не может подняться до сознания задач более глубоких и более широкого масштаба, нежели масштаб Семиреченского фронта. Ни политической работой никудышных работников, ни потакающим комсоставом — ничем невозможно ее переродить, переубедить и заставить ее действовать вопреки узко местным, свойским интересам. Она до поры до времени неподвижна, а если и двинется, то стихийно, вразброд, по домикам, да к тому же и с оружием в руках. Остановить это возможное разбегание некем и нечем. При таких условиях переход ее на трудовое положение почти невозможен. Он возможен лишь частично и в местах расквартирования войск...»

И несколько ниже по другому поводу сообщалось предостерегающе:

«...рекомендую вам принять внеочередные меры, иначе не получилось бы крупной неприятности. Мы не чувствуем под собой фундамента, не имеем силы, на которую могли бы надеяться, а при случае — опереться. А пора бы разоружать кулаков и казаков, припрятавших оружие по селам и станицам. Необходимо сменить пограничников, но заменить их некем...»

Так сообщалось Ташкенту в половине апреля. Предостережения, опасения эти оказались пророческими,— нам ясно было уже в те дни, что вся перетасовка дивизионная даром не пройдет. Положение было до конца очевидное: дивизия настроена бунтовщически и самостийно, из Семиречья уходить никуда не

согласна, рвется теперь, по окончании фронта, по деревням и чувствует, знает, что удержать ее никакая иная сила не может: Семиречье за горами, далеко, за сотни верст. Да и откуда, мыслилось семирекам, возьмут такую силу, которая направилась бы на них?.. Да и станут ли это делать вообще, не махнут ли рукой, не скажут ли:

— Семиреки свое дело сделали — пусть рассыпаются по деревням!

Поэтому самоуверенности — хоть отбавляй.

Полки и слушать не хотели в эти переходные недели о каких-то дальних перебросках, о каком-то длительном закреплении на хозяйственном фронте. Мы сообщали центру. Но, сообщая, знали отлично, что центр живой силы дать нам не сумеет, не сможет, ибо нет ее у него самого — вся она до конца использована в других местах. Получалось безвыходное положение. И распускать нельзя, и без движения оставлять нельзя дивизию, нельзя и перебрасывать: куда ни кинь — все клин. Шли мы по наименее опасному пути,— теперь же стремились, немедля, завлечь полки в трудовые процессы на местах, не выходя из своего района, оттягивая под разными предлогами окончательные разговоры о возможном или невозможном роспуске по деревням; тем временем распустить наиболее старые года — осторожно, постепенно, растягивая, разоружая; усилить до предела политическую работу теми немногими силами, которые могут оказаться полезными; торопить всячески дивизию Блажевича или вообще какую-нибудь надежную силу, которая своим появлением в Семиречье укрепила бы наши позиции, дала бы нам возможность использовать и нашу дивизию не в интересах только семиреченского крестьянина или казака, а в интересах всей республики, как использованы какие-нибудь батальоны рабочих Питера, Москвы, Иваново-Вознесенска, как использованы где-нибудь на Беломорье тульские мужички или поволжские крестьяне по ледяным сибирским тундрам... Но это возможно сделать лишь тогда, когда почувствуем себя твердо, а до тех пор — о, до тех пор держаться выжидательно и вести подготовительную и оборони-

тельную работу, отражая наиболее опасные натиски отдельных неспокойных частей.

А тем временем будили и звали всю область на борьбу с хозяйственной разрухой,— бубнили изо дня в день об этом в газетах, раскидали по армии и области десятки тысяч воззваний; охрипли по митингам и заседаниям, напряглись до предела.

— Товарищи,— звали и разъясняли мы,— фронт прихлопнут, но враг еще жив, не пропала опасность. Не ослепляйтесь победами, но и не теряйте ни часа — используем эту короткую передышку для борьбы с хозяйственной разрухой. Тыл у фронта просит подмоги: и людей, и опыта, и материальных средств. Чем можем — айда на помощь. Будем бережно, заботливо относиться к народному хозяйству. Будем помнить, что наше оно, не господское, что сами должны мы его теперь оберегать, и укреплять, и растить. Помните это в повседневной своей борьбе, и пусть каждый ваш шаг, каждое ваше действие будет пронизано сознательной этой заботой о народном хозяйстве.

Не век мы будем воевать. Уж близко время, когда разойдется по домам Красная Армия, разбив врага на последних участках. Останется только охрана республики. Мы вернемся с вами к труду, к мирному труду, которым жить хотим,— к пахоте, к заводу и фабрике, ко всякой иной работе. Ведь не вечно же будем мы воевать — мы воюем лишь для того, чтобы начать скорее трудиться. Для труда воюем, для мирной жизни. И когда вернемся, как до́рог нам будет каждый поломанный винтик, как пожалеем мы, что он поломан: все пригодится, все потребуется, обо всем станем горевать, когда вернемся к труду. Пока война, где тут охранять и заботиться об этих винтиках,— тут, конечно, многое гибнет, неизбежно и даже с пользой для конечной цели. Там над винтиками думать некогда, а теперь — проникнитесь теперь, товарищи, этой заботливостью, этой бережностью, которая поможет нам преодолеть трудные времена. Помогайте ревкомам, советам, гражданским работникам; поймите, что у них и у нас интересы одни, что работать надо сообща. Надо нам срастить фронт и тыл, так срастить, чтобы

поняли мы друг друга и чтобы дальше не было тех непримиримых разногласий, что были до сих пор в боевую страду, когда подчас тянули каждый к себе, один с другим не считался, один другого слушать не хотел, смотрел на дело только с своей колокольни. Ближе друг к другу. Сращивайте фронт и тыл, красноармейца с крестьянином, киргизом, казаком, с городским работником. Объединимся. Используем эту, быть может, кратчайшую передышку с пользой для дела, отдадим свои силы на хозяйственный фронт. Дружескими усилиями — вперед, товарищи, к труду!

Такими элементарными разъяснениями старались мы бередить армию и область. И не без пользы. Особенно там, где имелись надежные ребята. Никаких перебросок пока не затевали. Торопились на местах стоянок найти работу и поставить за нее бездельничавшие, разлагавшиеся от безделья полки и батальоны. С ропотом, с протестами, нехотя, бранясь и проклиная порядки и непорядки — заворочалась семиреченская армия, зашевелилась, полегоньку стала внюхиваться в то, к чему ее, ленивую и ворчливую, подводили.

— А слышь, браток, на ерманский фронт, надо быть, отсылать станут.

— Каво?

— Вот те каво — всех, а нас с тобой первым делом.

И красноармеец ухмыльнулся, сощурив лукаво глаза, высматривая — какое впечатление на собеседника произведут его хитрецкие слова.

Развалившиеся около, дремавшие товарищи приподняли головы:

— Брешешь, гад!

— А и не брешешь,— приказ на дивизию получен, будто поработать немного, а там и в дорогу собирать, на ерманскую...

— Какой там ерманский,— нет его вовсе...

— То-то есть,— уверял зачинщик разговора,— мы тут живем — ничего не знаем, ан и есть он, ерманский-то, да, надо быть, поляки все...

— Поляки?

— Поляки. И всю силу гонют туда. И нас туда. Из Ташкенту прибег земляк на Косую горку — сказывал, что силы гонют туда видимо-невидимо, потому — поляк...

— Гм... Ето што-то, тово... Только мы свое дело, братцы, сделали — баста.

— Знамо... Вот ищо... Ну, так уж...

— Тоись, во как сделали, а?

Вздернулись задорно носы, носищи и носишки на самодовольных загорелых, оветренных лицах.

— Вон она, поляк-то,— пишут из деревни, что ни на што не похоже, развалилось все: чинить некому, покупать не на что, а и жрать нечего подходит...

— Так зато — разверстка,— ввернул кто-то ядовито.

— От она, ета разверстка, все кишки наружу вывернула, последний, можно сказать, хлеб начисто отбирают... Сукккины дети...

— Тоись, грабеж один — и удержу нету никакого. Вот придем, мы им покажем разверстку, мы им...

Говоривший скрежетнул зубом и глазами досказал давно перезревшую мысль.

— Алешка, подь-ка сюда,— окликнул он стоявшего поодаль паренька,— ты вот в партию записался, подлец, ну, а как ты нащет разверстки,— што же, так грабить и будут?

Алешка в партию недавно попал за компанию с другими, а насчет разверстки и сам думал вместе с ними:

— Так вот уж скоро по домам — мы там сами распорядимся...

— Да, вот, сами, а пошто теперь без нас все у семейства отымають?

— Так это уж распоряженье такое,— сопротивляется чуть-чуть Алешка.

— Черт его продери, это распоряжение, а нам надо, чтобы вовсе изменить его. Так ли говорю?

Беседовавшие красноармейцы бурно выражали говорившему свое одобрение и согласие...

— И нечего нас тут держать.

— Потому кончили все,— вставил угрюмо сосед,—

а раз окончили, нету казака, значит, и по домам. Что тут мокнуть?

— Все одно, братцы, на дому будем, да, может, оно нескоро, а бы надо теперь... Теперь надо, потому — весна, вон она, пахота, пришла, а кто там пахать без нас обойдется?

— Верно... Известно дело... Правильно, робя...

— Потому и требовать надо,— продолжает ободренный оратор,— чтобы окончили разом всю канитель да отпустили, а не отпустят, мы и сами уйдем...

— Айда, ребята, до командира...

Все вдруг зашевелились, повскакали на ноги. Кучка давно уже обросла слушателями, превратилась в густую толпу.

— И нечего там рассусоливать,— сказать ему натвердо, что идти, мол, никуда не хотим, а делать нам тут нечего, потому, мол, в деревне дело есть...

— Да остановить киргизу! — крикнул резко голос из толпы.

— Чегой-то?

— А киргизу собирают... из киргизы целую, говорят, дивизию создавать хотят — это, чтобы нам воли никакой не было, а одна татарва, киргизня да жиды понасели...

— И все оружие будто им отдают,— ввернулся новый голос.

Лица оживлялись нехорошими, злыми желаниями. Наливались гневные глаза. В голосах — слепая, дикая угроза, буйное возмущение, в порывах — готовность заявить сейчас же делом, оружием, кулаками о своем бедовом недовольстве.

Толпа уже неумолчно шумела, не было в ней отдельно выступавших, которых слушали бы остальные,— каждый стремился и торопился перекричать другого, приводил ему бурно свои доводы, повторял чуть иными словами то, что за минуту сам услышал от соседа. Какой-нибудь летучий слух, какое-нибудь отдельное, вдруг подхваченное сообщенье, фраза, слово перевирались, спутывались, видоизменялись моментально... Толпа кипела все растущим негодованием и протестом,— теперь ее особенно подогревали сообщения

о формировавшейся в Верном отдельной Киргизской бригаде. Она, бригада, действительно формировалась; было уж созвано не одно заседание по этому делу, были строго распределены все обязанности между разными лицами и учреждениями,— бригада росла у нас на глазах. Командир ее, Сизухин, то и дело сообщал о новых пополнениях: область была оповещена широко, посланы были в разные концы по кишлакам агитаторы, они звали киргизов вступать добровольцами в первую кавалерийскую бригаду, и со всех сторон обширного Семиречья стекались они на конях, иные мало, иные крепко вооруженные. Бригада росла у нас на глазах. Сначала только добровольцы. А позже и мобилизацию объявили. Это был серьезнейший рискованнейший шаг. Очень свеж еще был у всех в памяти 916-й год: тогда царское правительство пыталось провести туземную мобилизацию и встретило в ответ поголовное восстание.

А ну, как и теперь муллы, баи, разные провокаторы разбередят туземцев, подымут их отозваться и на эту мобилизацию так же, как отозвались они четыре года назад?

Но этого не совершилось. Мобилизация была принята так, как мы и сами хотели: без протеста, без осложнений, без признаков восстания...

И как только слухи эти о мобилизации туземцев и о создании Кирбригады[1] попали в семиреченскую армию,— всполошилась она, затревожилась, запротестовала, заугрожала:

— Нам — оружие отдай, а киргизу — получи, пожалуйста... Чтобы он нами правил? Чтобы он нам за девятьсот шестнадцатый баню устроил? Нет, наше вам почтение, а оружие мы не отдадим...

— Так ведь, товарищи, а среди вас, в армии, разве мало киргиз?

— Ето другая статья — етот киргиз обвык, рядом с нами.

— И эти обвыкнут, которых собираем.

— Э, нет, не обманешь,— хватит, брат, и так

---

[1] Киргизской бригады *(Прим. ред.)*.

натерпелись мы от вашего обману... А киргиза не вооружай... потому — не надо ему оружия. На што? Кого тут стрелять? Опоздали,— мы уж сами закончили, а надо будет, так и опять... Без помощников управимся.

Армия волновалась всеми этими слухами — и об ожидаемой переброске «на ерманский... поляка бить...», и о хлебной монополии, о вооружении киргизов, о создании Киргизской бригады. Кучками, толпами, целыми батальонами и полками заявляли свое негодование, подступали к своим командирам, предъявляли им разные требования, ставили ультиматумы. Они, командиры и комиссары, присылали нам убийственные телеграммы, по прямому проводу сулили всякие беды, характеризовали свои части как обреченные на восстание...

Положение поистине принимало угрожающую форму.

Но что же мы могли поделать, кроме того, что делали, отдав борьбе с этой грозно надвигающейся опасностью свои силы, использовав до последней возможности каждого мало-мальски пригодного работника?

Муратов уж скоро ушел с головой в работу областного военкомата; Верменичев сел на политотдел, там была и Ная; Рубанчик и Никитченко работали со мною; Гарфункель уезжал в Пржевальск, Алеша Колосов бурлил у себя в партийной школе, а Полеес с Альтшуллером задержаны были в Пишпеке, где заваривалось большое дело вокруг Джиназакова. На этом деле тоже можно было сломать себе голову,— оно, развернувшись, могло утопить нас в восстании, только с другой стороны, оно могло послужить началом новой национальной резни.

Так-то сложна, грозна была обстановка!

— Кто у аппарата?

— Я, Альтшуллер. Слушаю.

— Ленту оборви, захвати с собою. Тебе поручается вместе с Полеесом ответственное дело. Оставайся в Пишпеке и оттуда руководи. В случае нужды

сносись со мною в Верный. Получено распоряжение из центра — присмотреться ближе к работам комиссии Турцика по оказании помощи киргизам-беженцам шестнадцатого года в Китай. Эту комиссию возглавляет Джиназаков. Есть основания полагать, что он работу ведет ошибочно, а может быть, и преступно. Соблюдай предельную осторожность, помни остроту национальных отношений, прояви максимальную тактичность,— твоя малейшая оплошность может иметь значительные и тяжкие последствия. О переменах обстановки сообщай немедленно, информируй о ходе работ, передавай добытый материал. Подробные инструкции высылаются дополнительно...

Примерно в этих словах сообщили мы Альтшуллеру о новой его работе, на которую повернули его с полпути обратно в Пишпек. В этот час, как сообщал, я подробно и сам не знал еще об этом деле. А дело было в следующем: получив широчайшие полномочия от Турцика, Джиназаков тронулся в Семиречье совершенно без всякого организационного плана в отношении помощи беженцам-киргизам. Он не постарался даже показаться в областной центр, в Верный, где было бы полезно связаться, столковаться со всеми руководящими органами, прежде чем браться за такое ответственное, наболевшее, трудное дело, как водворение нескольких десятков тысяч перемученных, изголодавшихся туземцев в места их прежнего поселения. Эти места ведь были уж заняты или сравнены с землей — разорены, сожжены во время кровавой схватки шестнадцатого года. Надо было их, эти десятки тысяч, не только посадить на землю, на жилое место,— надо было помочь им сразу же повести какое-то хозяйство, чем-то им всем заняться, снабдить каким-то, хотя бы дрянненьким, инвентарем, не дать умереть с голоду,— поставить, словом, на труд. Чтобы все это сделать, необходимо было бы ему, Джиназакову, ехать в Верный. Он этого не сделал. Работу повел сразу с Пишпекского уезда,— кружился там по кишлакам, проезжал на Токмак, а в центр областной не заглядывал больше месяца. И, вполне понятно, помощи от области не знал никакой. Кому же стали бы

и чем помогать, когда не знали путем — зачем он приехал и как делает дело?

А дело шло у него так.

Приезжает в становище беженцев или куда-нибудь в кишлак, созывает общий сход, держит речь:

— Я вот приехал сюда помогать вам... Я, Тиракул Джиназаков, могу вам дать и мату [1], и хлеб, и на старые места вас всех посадить... Где ваши кишлаки? Где ваша скотина, ваши горные стада? Нет ничего: все отнял русский крестьянин. Он прогнал вас, киргизы, с земли, он издевался над вами в тысяча девятьсот шестнадцатом году и теперь не хочет отдать вам украденное добро. Но я, Тиракул Джиназаков, помогу вам все это вернуть, потому что имею я такое право и такую силу,— я заставлю их это сделать. Вам теперь, киргизы, пришла свобода. Вам, киргизы, надо теперь создавать свое правительство, потому что область Семиреченская — это ваша земля. Понаехало тут всякого народу видимо-невидимо, но земля эта — только киргизская, а потому вон отсюда всех, и пусть одни киргизы управляют своей землей... Я уже отдал такой приказ, чтобы за четыре недели все крестьяне освободили землю, которую отняли они в шестнадцатом году. Это все равно — запахали ее или нет. Раз приказ такой отдал я, Тиракул Джиназаков,— это должны исполнять. Теперь подходите все, кто в чем нуждается, мы составим списки и будем вам раздавать,— я все вам раздам, что имею. Тиракул Джиназаков сделает для вас хорошее дело!

Когда переводчики сообщали Альтшуллеру этакие провокационные речи Джиназакова, у него волосы ворочались на голове, и первое время, не доверяя переводчикам, он даже не сообщал мне этих речей джиназаковских. Только убедившись снова и снова, что это так, он все рассказал, как есть. Получалась в самом деле грозная картина.

С одной стороны, областные центры всяко стремились охранить в этом году возможно большую

[1] Мата — особый, довольно грубый материал местного производства.

площадь запаханной земли, с другой стороны — Джиназаков теперь же, через двадцать — тридцать дней, гнал с этих земель землепашцев.

Затем горючий национальный материал готов был и без того ежечасно воспламениться — так горячо накаливалась атмосфера, а тут еще глава целой комиссии ведет этакую безрассудную, смертельно опасную пропаганду.

А кто он сам, Тиракул Джиназаков?

Верить ли, нет ли, но все рассказы о нем сводились к одному: отец Тиракула — богатейший манап, который и по настоящее время пребывал где-то в пределах Аулие-Атинского района. У него были огромные стада овец, крупнейшие косяки коней, и жил он так, как подобает настоящему манапу: окруженный богатством, раболепием, тунеядной и подленькой сворКой всяких любителей пожить за чужой счет.

В такой-то атмосфере вырос и Тиракул. В памяти народной не изгладилось, конечно, представление о нем как об отпрыске богатого, знатного, могущественного рода. И когда теперь Тиракул, раздавая всякое советское добро, ни словом не упоминал про советскую власть, а подчеркивал лишь то, что он вот, Тиракул Джиназаков, дарит им все, что нужно,— в темной, невежественной массе туземной укреплялась уверенность:

«Ага, вот они, манапы, и на помощь к нам идут. Вот кто — манапы помогают нам в тяжелую минуту жизни,— а посему: да здравствуют манапы, наши покровители и защитники!»

Это так было. Это по-иному в темной туземной среде и быть не могло. И эту роковую, дичайшую уверенность Тиракул не только не рассеивал — наоборот, он укреплял ее каждым новым своим выступлением. Масса туземная волновалась, кипела негодованием. Против кого? О, если бы только против кулачья, против своих поработителей, против захватчиков и грабителей!..

Нет, масса киргизская разжигалась ненавистью и гневом вообще ко всякому иноземцу. Это было очень

грозно. Это было зловеще. И сулило беды в близком будущем. Мы тогда еще никакого понятия не имели о конечных целях Джиназакова. Мы кое-что чуяли, кое-что предполагали, но уверенно сказать не могли ничего: сбивал с толку его ответственный, высокий пост. Сомневались, но и колебались в своих сомнениях. И лишь потом, когда раскрыл он карты, впоследствии,— да, оглянулись назад.

И все стало ясным. И каждый шаг его приобрел свой смысл.

Но теперь — только уши наострили да глаза просветлили: зорко стали наблюдать за каждым его движением.

Телеграммы из Пишпека все грознее.

Шовинистическая пропаганда Джиназакова превосходит всякие пределы — она обостряет национальную вражду до последней степени. Близит восстание и новую резню.

Вся работа комиссии только видимость: Джиназаков ведет беззастенчиво подготовительную работу,— он готовит восстание...

Джиназаков добивается того, что целые кишлаки вступают в коммунистическую партию, но эти «коммунисты», конечно, одна только видимость, ему необходимо повсюду (легально и нелегально) установить национальное большинство,— с этой целью он и добивается записи в партию целыми кишлаками, единственно для отвода глаз, и по-своему, разумеется, объясняя «коммунизм»: у вас, дескать, будут огромные стада, косяки коней, вы будете жить сытно, жирно, спокойно, везде будут только «свои» — это была новая, джиназаковская «коммуна»...

Где только можно, он снимает с постов всех работников-нетуземцев без достаточных к тому оснований, а иных арестовывает в административном порядке.

Узнав, что Альтшуллеру с Полеесом поручена контрольная работа, почуяв опасность,— Джиназаков принял всякие предохранительные меры, до фактического контроля старается не допустить, наводит туман на

все свои действия, организовав наконец за нашими товарищами постоянную слежку...

Эти телеграммы настраивали нервно, заставляли, вполне естественно, предполагать самые сложные, неожиданные обороты: в таких глухих дебрях, как семиреченские,— тут всего можно ждать.

Крутясь по Токмакскому и Пишпекскому районам, тщательно избегая областного центра, Джиназаков, наконец, прислал сюда некоего представителя.

Он было, этот присланный, повел себя вызывающе, рассорился с областным ревкомом и земельным отделом,— наставил всем целую груду ультиматумов.

Пришлось созывать специально и экстренно заседания и в ревкоме и в земотделе, тушить разногласия, мирить враждующие стороны, обставить дело так, чтобы этот спор, скандалы и ультиматумы нисколько не отражались на несчастных сорока тысячах беженцев, которые ждали помощи. С большими трудностями, путем всяких взаимных уступок, путем скрупулезных комментариев к каждому пункту, к каждому шагу той и другой стороны, добились того, что стерты были,— может, и по видимости только,— самые острые углы разногласий. Вскоре ждали сюда и Джиназакова.

Другой представитель, даже целая подкомиссия работала от его имени в Пржевальске. Долетали сведения, что работа у нее проходила в тех же самых формах. Помнится, велась работа и в Джаркенте,— словом, некое подобие работы как будто и имелось налицо, но все это шло вразнобой, случайно, совершенно несогласованно ни между собою, ни с действиями областных и даже уездных органов власти. Наугад. Так казалось, если смотреть на дело его как на помощь беженцам-киргизам.

Но *не наугад* и не вслепую шла вся эта работа, если верить сообщениям, что изо дня в день прилетали к нам от пишпекских товарищей.

Я все еще не видал в глаза областного военного комиссара Шегабутдинова. Он с отрядом киргизов человек в шестьдесят уехал в Пржевальск. Там теперь работал представитель Джиназакова; товарищи из

Пишпека доносят, что у Шегабутдинова с ним установлены теснейшие отношения.

И вдруг такое совпадение — Шегабутдинов присылает телеграмму:

«Высылайте срочно в мое распоряжение мусульманский батальон III Интернационала».

В этом батальоне семьсот пятьдесят — восемьсот стрелков. При умелом руководстве — это сила.

Советуемся: что представляет собою Шегабутдинов? Зачем ему этот батальон?

Знающие его — Кушин, Белов, Бочаров, Кравчук — высказываются в том смысле, что парень он хороший, но слабовольный и политически не ахти как развит,— при ловком, умелом нажиме может и покачнуться. Зачем ему может понадобиться батальон? Может быть, и в самом деле для важной, нужной цели. А может... Черт его знает что там творится. И все эти вот тревожные телеграммы из Пишпека заставляют быть нас особо сторожкими:

— А ну как это — мобилизация сил? Может, там, в районе Пржевальска и Токмака (куда доезжал ведь и сам Джиназаков!) собирается ударный кулак?

— Нет, нет. Лучше воздержаться.

И мы отвечали:

«Соображения стратегического характера не позволяют в данное время перебросить батальон мусульманский в Пржевальский район...»

Скоро прискакал сам Шегабутдинов — загорелый, пыльный, прямо с дороги явился он ко мне. Детина — косая сажень, с высоченной грудью, длинными, здоровенными руками, весь тугой и мускулистый, одет в защитном. Круглая голова крепко посажена на багровой жилистой шее. Черноволос, чернобров, черноус, бреет густую бороду. Годов ему около тридцати. Типичные восточные глаза: густо насыщены страстным блеском, быстро сменяют обворожительную улыбку на гневное сверканье. Он не смотрел открыто и прямо в глаза,— это настораживало. Но уже через полчаса можно было заключить, что это по существу «рубаха-парень», у которого за крепкими и непокорными по внешности словами, и движеньями, и решеньями —

кроется бездна сомнений, нерешительности, внутреннего слабосилья, неуверенности, колебаний... Стоило ему по любому вопросу, хотя бы просто для испытания, задать пару-тройку встречных вопросов или возражений, и он начинал колебаться, сомневаться, пятиться назад, выискивать хоть какую-либо щелочку, через которую можно было бы с достоинством и незаметно отползти, отказаться от высказанного мнения, но так, чтобы это было незаметно! В его масленистых глазах густым оловянным слоем то и дело проливалась растерянность, туманила их, топила в смущенье, прыгали только нервно и торопливо испуганные зрачки, показывая, что в мозгу так же торопливо прыгали теперь у него противоречивые мысли.

Шегабутдинов поддавался воздействию, влиянию чужих слов, особенно ежели эти слова говорились авторитетно и внушительно. Первое, что его в таких случаях охватывало,— это недоверие к своим собственным словам: он поспешно начинал сомневаться и отказываться. Первая беседа убедила в одном: если и может он быть опасен, то единственно по недоразумению; его необходимо взять под организованное руководство, не спускать с глаз,— тогда он будет одним из лучших. Так впоследствии и было.

Шегабутдинов развивал невероятную энергию в работе, относился честно, серьезно, заботливо к каждому поручению, к любой очередной задаче — болел ее неудачами, радовался, как ребенок, ее успехам. И как товарищ — был один из милейших, один из сердечнейших, с которыми приходилось сталкиваться когда-либо в жизни. Но все это потом.

А в первое время и Шегабутдинов у нас был в предположении. Особенно после того, как сразу заявил о своем неудовольствии по поводу отказа нашего и перевел разговор на Киргизскую бригаду:

— Вы формируете бригаду?

— Формируем.

— Вам, значит, нужны туземцы? Агитацию надо среди них вести, звать,— так ли?

— Ну, конечно...

— А кто у вас во главе стоит? Сизухин! Кто такой

Сизухин? И почему Сизухин? Я вам непременно рекомендую поставить моего близкого знакомого — Бикчурова. Этот вот действительно сделает дело!

Предложение пока мы отклонили.

Черт его знает, какими он руководствуется мыслями: но, может быть, и в самом деле предполагает делу помочь. Если так — отлично. И даже есть большой смысл во всем том, что он предлагает,— это и в самом деле удобнее было бы и удачнее, об этом надо подумать, кой с кем можно посоветоваться, кой-кого следует запросить, но... Но встают снова и снова эти тревожные телеграммы из Пишпека, живо рисуется Пржевальск, где вместе с джиназаковским представителем был и Шегабутдинов, куда он вызывал мусульманский батальон... И теперь он настаивает — во главе целой бригады поставить своего ближайшего сотрудника и сотоварища!

Нет-нет, лучше повременить, осмотреться внимательнее, тщательнее взвесить...

В Белоусовских номерах, где все мы живем, занимает отдельный номер начальник охраны города. Вхожу по какому-то срочному делу, открываю неожиданно дверь: ба! И на полу, и на диванах, на кровати — во всевозможных позах возлежат незнакомые люди в прекрасных цветных халатах, с откормленными, породистыми лицами, осанистые, с жирными, толстыми шеями, заплывшими глазками и чавкают губами или взвизгивают странно непонятные слова. Чувствуется всеобщее возбуждение. Видно, что публика не из «простых»,— по всей вероятности именитая, богатая туземная макушка — баи, манапы.

Среди них — Юсупов. Он лежал на кушетке, вздернув кверху ноги, попыхивал папиросой, слушал визжавшую из угла порывистую, нервную речь. Увидев меня, живо вскочил, смущенно засеменил навстречу, взял под руку и вывел из номера, нашептывая какую-то торопливую несуразицу.

Одно к одному: это обстоятельство наводило опять на сомнения. Кругом что-то происходит непонятное.

То и дело слышишь и видишь неожиданные картины, только больше и крепче убеждающие в основном предположении и подозрении: происходит внутренняя глубокая организационная работа, про которую одни знают отлично, а другие участвуют, может быть и бессознательно, сами того не понимая, не зная, не догадываясь про основные, конечные цели...

Ну, черт его знает, что творится! Грызли сомнения. И потом узнал еще, что у этого начальника охраны города, кроме наших Белоусовских номеров, в городе целая квартира. Зачем ему и здесь и там?

Сегодня в комитете партии в кругу других вопросов сообщили:

— Отмечен ужасающий рост национальных обострений. Атмосфера накаляется с чрезвычайной быстротой. Можно ожидать внезапных осложнений. В одном из поселков Пржевальского района крестьяне крупно столкнулись с мусульманским населением и в результате разоружили всю мусульманскую милицию. Необходимо принять срочные меры: вести оттуда тревожные. И ничего не могли придумать нового: насторожили только все уездные комитеты, приказывали не ослаблять,— наоборот, усиливать пропагандистскую и агитационную работу по кишлакам, станицам и деревням; предупреждать своим вмешательством возможные осложнения, воздействовать всякими способами на особо беспокойные районы и отдельные элементы... Сил у нас нет никаких. Помочь районам не можем. И все-таки во главе с Гарфункелем отрядили туда, в Пржевальский район, небольшую комиссию.

Через несколько дней получили сведения, что все обошлось без вооруженного столкновения, хотя крестьяне и настроены были чрезвычайно воинственно, хотя и очевидно было, что кто-то их настойчиво, упорно подстрекает на кровавую баню. Забегая вперед, можно сказать: через малый сравнительно срок после этой поездки, тотчас после верненского мятежа,— в этом самом районе Пржевальского уезда, где работала теперь наша комиссия, вспыхнуло восстание.

Его возглавлял Меньшов. За какие-то преступления он сидел в трибунале, но во время мятежа верненского бежал, укрылся в Пржевальский район и поднял здесь вооруженное крестьянство, натравливая его на киргизов, придумывая разные поводы и причины: то засилье киргизское, то мнимые разбои, угон скота...

И сам в одном районе, в знак отместки, угнал у киргизов весь скот. Это было чуть позже. Но и теперь чувствовалось большое беспокойство. Зрели события. Душило жаркое дыхание надвигавшейся грозы.

Областные центры работали полным ходом. Не было, правда, широко развернутого, строго продуманного плана, не было отчетливых перспектив, не знали путем, что и как надо строить, не было должной экономии ни в силах, ни в средствах. Семиречье переживало еще какую-то начальную стадию — примерно то, что центр оставил позади в конце восемнадцатого или начале девятнадцатого года. Работа шла самотеком. Нужды выскакивали одна за другой — и одна другой важней, сложней, срочней.

Небольшая кучка ответственных партийцев решительно изматывалась в непосильной, головокружительной работе. И не было даже строгого отграничения функций: в партийном комитете зачастую решали то, что «по правилу» надо было бы решать в ревкоме. И у нас, в управлении уполномоченного, обсуждалось и решалось иной раз то, что заскочило какимто образом из партийного комитета. И наоборот. Но работники все одни и те же — они в ревкоме, они в партийном органе, они повсюду. Где соберутся, там и решают. Зараз. К спеху. Дело не ждет. И другой за нас никто не сделает. Работа переплелась до того, что трудно бывало разобрать, кому что принадлежит, кому что надлежит делать.

А дела уйма. Тут еще подоспела новая грандиозная кампания — на август назначался всетуркестанский партийный съезд, а на сентябрь — советский. Надо было срочно-срочно создавать свои областные

съездовские комиссии, всколыхнуть глухое, сонное болото провинции, растолкать дремлющих и в то же время — ох, как зорко следить, как бы они спросонья не наделали чепухи, а то и непоправимой беды.

Комиссия областная, комиссия по уездам, волостям, объезды необъятной Семиреченской области; непосредственное, на месте, проведение подготовительной работы. Полетели инструкции, распоряжения, советы, секретные и несекретные, открылась новая и обильная серия заседаний, совещаний, всяческих собраний.

В областном комитете партии не осталось почти никого. Как-то сидели и думали:

«Кого бы это посадить, чтобы хоть чуть работал постоянно?»

Предложили одного, подсчитали — оказалось, что на нем три дела. Прощупали другого — на этом четыре. Всех перебрали по пальцам, точно установили даже, кому сколько времени остается на чай, на обед, расщепали день по часам и убедились, что по часам каждый и нагружен. Нет человека! Хоть бы одного — и одного не нашли. На чем же порешили? Придушили «непротивленца» Горячева (он замещал в трибунале «Кумурушку») и впрягли его, сердешного, бывать ежедневно в обкоме по два-три часа. Промолчал. Принял. А на деле получилось, что и ему не каждый день удалось бывать. Постоянного работника не было. Все дела обкомовские решали скопом, сообща. И пока обдумывали и решали — дело шло. А как только надо было проводить решение в жизнь — некому, некогда.

Тем временем двигалась из Китая голодная, нагая, бесприютная армия беженцев-киргизов. Оседала где придется, волновалась, не получала и не видела, все пока не видела того желанного, ради чего торопилась сюда: приюта, жилья, поддержки. Того, что делали для этой вымирающей армии бедняков, было недостаточно. Требовались какие-то еще подсобные меры. Надумали и организовали неделю добровольных сборов. И на это отрядили людей, то есть подгрузили работы все тем же, перегруженным и без того. Открыли широкую кампанию в прессе, разволновали, растрево-

жили семиреков. И, надо сказать, результаты были не плохи: неделя дала себя чувствовать ощутительно. Это уже близко было к июньским дням. И вскоре, во время мятежа, эту самую неделю сборов крепко навинтили нам семиреченские кулачки:

— Вот, дескать, о киргизах-то заботитесь, и так и этак помогаете, а с нас только и дела, что дерут продразверстку!

Но об этом потом. Это только к слову.

Когда выплывало и выскакивало дело погорячее, вполне понятно, что мы свои взоры обращали на свой боевой орган — на семиреченскую «Правду». И газета в этих случаях неизменно прихрамывала на обе ноги: раскачать ее стоило больших трудов,— она никогда не поспевала за повседневной горячей нашей работой, преподносила разные общие, расплывчатые статейки, перепечатывала кой-что из «Правды» московской, кой-что из «Бедноты». Решили нажать и в этом пункте. Постановили в обкоме: передать ее в ведение политическому отделу дивизии. И, удивительное дело, ожила газета, посвежела, тот же самый обком заметил и отметил это не больше как через неделю. Только не удалось нам, не успели, да и сил вовсе не имели для того, чтобы освежить прессу «провинциальную». А вот там так уж воистину положение было вопиющее. Где-то, не то в Джаркенте, не то в Пржевальске, в местной газетке писака писал:

«Вышеуказанный декрет самолично написал сам гражданин Ленин...»

Мы так и ахнули, что в советской-то газете, у нас-то — даже Ленина не осмелились назвать «товарищем»!

А то и покрепче был случай, посолонее: в Пишпеке «к светлому Христову воскресению» некая организация выпустила листовку, посвященную, надо быть, беспризорным детям. И там значилось:

«К такому большому празднику мы должны подарить детям красное яичко — позаботиться о них...» и т. д. и т. д.

Листовочка, так сказать, самая воспитательная!

Всего не охватишь,— не охватили мы и эту полосу

работы — печатное дело. Все, что смогли сделать,— это начали сами больше писать. И пусть это писанье шло второпях и между делом,— некая польза все ж была и от него.

Удручало особенно то обстоятельство, что в практической работе наши советские органы со всякими делами непростительно опаздывали. Бесплановость сказывалась, давала знать себя каждый день и на каждом шагу. Перебороть ее, победить за столь небольшой срок мы не были в состоянии. Как только зачинать какое дело — ан сроки-то ему все и миновали. Взять хотя бы то вот самое дело с переделами земли — эка выбрали времечко! Надумали переделять в апреле, когда люди добрые (да и недобрые) в поле на работу повыехали!

И еще тут одно крупное дело пощекотало нас ощутительно. В Семиречье, особенно в уездах, близких к Китаю, как известно, засевают массу опийного маку. Злоупотреблений, спекуляции в этом деле — темная тьма. Опий обычно скупают китайские купцы и увозят через границу к себе. Теперь вот, поздней весной, поля опийные давно и обильно были засеяны. Все кинулись на доходную статью. Был случай в Джаркенте: один «коммунист» в своем собственном хозяйстве под опий угораздил ни много, ни мало, как... пятнадцать десятин! Со всех сторон в то же время неслись протесты: требовали опийные поля перепахать под хлеб, ибо с осени опием-де не прокормишься. Было немало и таких случаев, когда поля такие самочинно разносились в прах и на месте опия «победившие» самолично возились с пшеницей. Надо было и тут что-то делать и делать спешно,— опийные поля надо было сохранить, а в то же время и не дать опию утечь в Китай.

Отрядили людей и на это дело, иных отослали в уезды. Создали там полномочные комиссии, которые брали на учет весь засев и собирали его организованно в пользу государства, лишь небольшой процент оставляя спекулянтам-предпринимателям. Опийная кампания тоже задала жару. Сколько только одной переписки и разговоров с Ташкентом выдержали! С опием опять-таки едва не проспали все сроки.

Вспоминается и такой случай — все на ту же самую тему.

Как-то раз, во время заседания ревкома — шум, гром, визг, брань.

— Что такое, в чем дело?

— Подошла к ревкому толпа возбужденных женщин — члены «общества вдов».

— Чего бранятся?

— Инвалиды землю у них отымают...

— Как отымают? Какую землю?

Оказалось, что это самое общество вдов где-то за городом имело свои участки земли. Разделало их, распахало. Все честь честью. А тем временем соответствующие органы эти же самые участки подарили инвалидам; те навалились на вдов со всей энергией, которая свойственна была семирекам-инвалидам (к слову сказать, во время мятежа они с восторгом поддерживали мятежников и обрушились с проклятьем на советскую власть). Поднялась суматоха. Вдовы — в ревком. Инвалиды следом за ними.

Оказалось и тут — вовремя дела сделать не успели и не сумели, дотянули до последнего момента. А когда уж все сроки отошли, громыхнуло распоряженьице: от вдов оторвать часть земли в пользу инвалидов!

Такая каша заварилась — насилу расхлебали!

Это все случаи. Отдельные штрихи. Ясное было дело, что спешно, ни дня не откладывая, надо строить работу по строгому, наперед продуманному плану. Тут-то мы и открыли серию так называемых «зимних совещаний»: созывали не раз и не два все областные комиссариаты, заслушивали их доклады о текущей работе, требовали от них разработанных планов на будущее, взвешивали свои силы и возможности, учитывали особенности Семиречья, возможную степень помощи центра, согласовывали все эти отдельные планы,— с весны так строили дело, чтобы не сесть на бобы зимой. Потому и совещания свои называли «зимними»,— больше думали о зиме. Все эти совещания дали результат: в конце концов прояснился и наметился некий общий план, начинала изживаться

случайность, упразднялась система самотека, работа от случая к случаю. И наряду с этой всею работой шла по области переброска воинских частей.

Прежде всего отдирали полки от «родных» мест, где они быстрейше разлагались,— перебрасывали из уезда в уезд; кроме того, было уже известно, что дивизию (всю или нет) придется вообще перебрасывать из пределов Семиречья. По путям движения строили питательные пункты, пункты медицинской помощи: в некоторых полках свирепствовал тиф и грозил охватить всю дивизию, всю область. Да иные уезды уже и теперь вповалку лежали в тифу — взять хотя бы Лепсинский и Копальский. В этих местах населению, разоренному двухлетней гражданской войной, надо было оказывать срочную помощь. Там работала наша специальная комиссия во главе с Кравчуком. Но, несмотря ни на что, крестьяне часто сгружали на повозки жалкое свое добро и двигались сюда, к Верному, в центр, с отдаленной надеждой получить необходимую помощь. Эти беженцы вместе со своим горем и нуждой везли и тиф. Надо было приостановить этот стихийный бег к центру и, следовательно, еще напряженней и быстрей усилить помощь на местах: одних голых воспрещений тут мало, это ясно было всем. И снова, снова отдирали работников от центра, гнали их в Копало-Лепсинский район. Мобилизовали все, что могли. Верненский поток сократился, притих. Но, сталкиваясь в пути с полками, беженцы насыщали и их своим отчаянием, своими несчастиями, возбуждали, ополчали... На кого? Так на кого же можно было ополчать, как не на советскую власть! Атмосфера накалялась. И раскалялась с каждым днем. И не было возможности охладить ее. Красноармейцы сами рвались к родному жилью. Весна тянула к земле.

— Где ты, выход? — звали и спрашивали мы. И отвечали — он только в одном:

Еще дружней, сосредоточенней работать. Еще строже приучить себя дорожить каждой минутой и так ее использовать, чтобы лучше было нельзя. Зорко следить за областью: не спускать ее со взора ни на единый миг! Так много подступило опасностей, так

тяжко замкнули нас в кольцо тревоги и опасности, угрозы близкой грозы, и дела́, и нужды, и делишки, и нуждишки — все, и большое и малое,— так сомкнулось кольцо, что разорвать его можно только величайшими усилиями.

Так дружней за работу!

И работали бодро.

Шесть тысяч человек плененной белой армии сгрудились в Верном. Под боком держать этот горючий материал было опасно. Прижимал к стене жилищный кризис — негде было размещать. Отдали приказ по области: новым поселенцам воспретили въезд в город без крайних нужд. Жителям Верного, связанным с городом случайно, имеющим хозяйства по селам и станицам, было указано, чтобы собирались восвояси и выезжали в места постоянного жительства. Но и это не помогло.

Среди пленников тоже свирепствовала тифозная эпидемия. Вырастала угроза. Припомнился Актюбинский фронт, где белая армия подарила нам в свое время тысячи тифозных и ускорила ход тифозной драмы приволжских губерний. Положили все силы на то, чтобы захлопнуть двери надвинувшемуся бедствию. Подняли на ноги и военные и гражданские учреждения, на общих заседаниях вырабатывали общие планы борьбы, подсчитывали вновь и вновь свои силы и объединили в спаянную ударную группу весь медицинский персонал. Не хватало народу, не хватало лечебных, медицинских средств,— бились в нужде, как рыба об лед. Когда невероятным напряжением сил удалось ослабить опасность, особым приказом по дивизии и области отметили напряженную работу медицинского персонала. И было за что: работали воистину не покладая рук.

Среди пленных, по казармам, в то же время вели политическую работу. Помнится одно многолюднейшее собрание, где мы выступали с докладом о создавшемся положении, о гражданской войне, ее причинах, о ложном положении трудового казачества,

увлеченного на борьбу своим офицерством, выступавшего против крестьян, против туземного киргизского населения. Белые офицеры стояли в стороне, слушали жадно все, что говорилось, и по желтым нервным лицам можно было видеть, что боялись они в те минуты казацкого самосуда.

Стоявшая огромная толпа пленных казаков ревела от бешеных восторгов, бурно выливала свой протест, кляла-проклинала обманщиков — недавних своих вождей,— за то проклинала, что никогда они не говорили настоящую правду, кричала приветственные советские клики, бросала шапки вверх, клялась, что никогда не даст наперед обмануть себя, что готова теперь, когда все стало ясно и понятно, готова теперь с оружием в руках защищать советскую власть. Выступил на ящик старый казак:

— Мы ничего этого не знали, братья казаки, что нам говорят теперь большевики. Знали вы али нет?

И толпа заклокотала, заухала:

— Нет!.. Ничего не знали! Знали, да не то... Обманывали!.. Все врали!.. А... а... ааа... га...

Настроение грозило разразиться стихийным взрывом.

— И я не знал ничего, старый дурак,— молвил старина, почесывая затылок.

Стоявшие рядом рассмеялись, и за громким их смехом остальные ничего не расслышали.

Загудели. Хотелось им знать, отчего смех.

— Как сказал? Что сказал? — кричали с задних рядов.

— Дурак, говорю,— выкрикнул старина.

— Кто дурак? — еще громче ухнули оттуда.

— Я...

Тут уж расхохотались все. Настроение быстро переменилось. Разрядилась напряженность. В этой атмосфере установившегося доверия к нам, повышенно сочувственного настроения, как бы пропадали последние остатки недавней острой вражды.

— Нам што говорили? — продолжал старик, когда улеглось движение и хохот.— Нам говорили, что все

станицы наши разорены дотла, что земли наши все поотобраны, а семьи казаков перебиты али разогнаны по черным работам...

— Все говорили! Верно! — откликалась ему толпа.

— И опять не дело,— продолжал казак,— опять обман, потому наши семьи понаезжали ныне к Верному и сказывают, что живут, как жили. (Узнав, что в Верном масса пленных, казацкие семьи, особенно ближних станиц, действительно спешили тогда к Верному и всячески пытались проникнуть в казармы, передавали записки и т. д. Мы этому особенно не мешали, хотя и установили строгий контроль всем запискам и разговорам.)

— Наши семьи,— говорил старик,— нечего бога гневить, жалости большой не говорят, а только нас к себе ожидают, чтобы работать, значит... Вот што!..

При вести о работе толпа заволновалась, зарокотала оживленно,— прорвалась давняя приглушенная тоска по земле, по семье, по труду...

— И теперь нам говорят, что опущать будут по станицам... Да... Опущать... Чтобы работали мы, а не воевали... Так где же разбой, про который нам говорили? Разве так разбойники поступают, чтобы опущать нас по станицам?

Снова взрыв восторгов, оглушающие крики, буйно разорвавшееся радостное волненье.

Было у нас постановлено действительно, чтобы пленных свыше тридцати лет распустить по домам. Когда им об этом сообщили — можно представить, как встретили казаки эту давно жданную весть!

За стариком говорили мы:

— Товарищи казаки! Уж будем теперь звать вас своими *товарищами,* потому что — какие же вы нам враги? Будем товарищами по работе, по общей тяжелой работе, на которую зовет нас Советское государство. Довольно войны, довольно вражды. Вы поняли теперь, куда и к кому попали. У вас уж нет больше к нам недоверия, что было до сих пор. Этот старик казак вам рассказал свои мысли,— нам лучше того не сказать. Тридцатилетних и выше мы отпустим по станицам...

Дальше не дали говорить. Быстро сомкнулась, кинулась к центру, к ящику, где мы стояли,— многотысячная толпа. Чуть не повалила, не подмяла под себя в каком-то диком, совершенно исключительном, исступленном порыве. Несколько минут, как в вихре, закружилось человеческое море голов...

— А... вва... Ура, ура!.. О... о... у... у... у...

— Этих отпустим,— говорили мы дальше,— а других частью пошлем на орошение Чуйской долины, других возьмем к себе в Красную Армию: служили вы белым генералам, послужите теперь трудовому народу, послужите советской власти...

— В армию! В армию! В Красную Армию!

И надо здесь же сказать: когда стали потом записывать их красноармейцами — осталось добровольцами немало и таких, которые имели право теперь же идти по станицам,— они на деле хотели доказать, что послужат советской власти...

Выступил с речью представитель офицерства. Ему сначала не разрешали говорить,— грозные крики глушили слабый его голос.

Когда притихло, он говорил:

— Мы воевали — это верно. Но воевало ведь все казачество — так ясно дело, что воевали и офицеры. Мы видим теперь и сами, что здесь приняли нас хорошо: не ждали, сказать по правде, мы такого приема. Все думали, что идем на расправу. А расправы нет. Никаких нет случаев, чтобы над нами издевались. И потом — всем офицерам дали амнистию. Мы и этого не ожидали... Вы вот говорите, что офицеры обманывали...

— Обманывали! Обманывали! — закричала толпа.

— Может, и верно,— продолжал офицер,— да мало ли что там было...

— А как расстреливали?

— А как пороли?..

— А как допрашивали да пытали — говори!!.

Множились угрожающие крики-вопросы, бешено перескакивали один через другой. Снова близка была минута взрыва — в эту минуту казацкий гнев перехлестнул бы через край, были бы неизбежные жертвы.

Мы снова заскакивали на ящик:

— Товарищи казаки! Не время сводить нам старые счеты. Верно все, что говорите вы про обман офицерский, но вам же это самим наперед и наука. А мы теперь офицеров тоже берем в работу: одни в армии же у нас станут работать под нашим контролем, а другие... Среди них имеются ведь люди ученые — техники, агрономы, мало ли кто? Этих мы заберем на хозяйственную работу, они станут помогать нам в земельном отделе, в совнархозе — всем найдется, что делать.

— Правильно! На работу!! — отозвалась дружелюбно и сочувственно толпа.

И часть офицеров была потом выделена, разбита на группы и отослана по разным советским учреждениям. Во время мятежа и это ставилось нам в вину, демагоги здорово лаяли на этом деле.

Другую часть офицерства мобилизовали на техническую военную работу, а остальных, особенно работавших в контрразведке, поторопились передать особому отделу для допросов и ощупыванья.

После того памятного многолюдного митинга, определив достаточно настроения пленных, мы все же ни на один час не ослабили своего за ними наблюдения. Пленных в казармах умышленно перемешали из разных полков, так что один другого они не знали. И в эту массу посылали верных своих ребят, поручив им не только вести работу, но и зорко следить за колебанием настроений, вызывать пленных на откровенные разговоры и точно выяснять роль и удельный вес каждого белого командира, характер его работы, в частности же — устанавливать случаи зверств, расправ, жестокости. Узнавали и «надежность» в прошлом каждой белой части. Одним словом, за короткое время получили о пленных наших точное и разностороннее представление. Человек тридцать казаков мы допустили к себе в партийную школу, и надо было видеть, с какой горячностью, с каким жадным интересом ухватились они за ученье! Заведующий школой говорил потом, что эти новички сделались едва ли не лучшими учениками.

Так понемногу — то в армию, то по домам, по ла-

заретам, на чуйские ли работы, в школу, по советским органам — мы распределили постепенно всю эту шеститысячную армию своих недавних врагов.

Центральной фигурой среди пленного казацкого офицерства был Бойко. Я пригласил его к себе. Годов ему было, вероятно, сорок два — сорок пять. Высок ростом, стройно, красиво сложен. Держится с большим достоинством. В умных глазах застыл глубокий стыд за свою беспомощность, сознание приниженности своего положения, может быть, сожаление о неудаче,— кто его знает, о чем он думает, о чем скорбит?

На спокойном суровом лице отпечатана уверенность в своих силах, напряженная сдержанность и печаль, печаль... О чем? Я стараюсь проникнуть, понять. Вижу, как он насторожился и следит за каждым словом, будто попал вот в безвыходную ловушку, и куда ни тронься из этой ловушки, повсюду расставлены цепкие, липкие тенета-сети: малейшая неосторожность — и ты запутаешься в них, пропадешь...

По утомленному, тяжелому взору его темных глаз видно, как дорого пришелся ему этот плен, сколько позади оставлено мучительных, бессонных ночей, сколько тревог пережито и опасений и скорби, скорби по своей неудаче...

— Вы Бойко?

— Да.

Он не сказал «так точно», как говорили в подобных случаях другие офицеры. Он этот тон считал, видимо, для себя унизительным, решил объявить максимум самостоятельности, независимости мнения, смелости.

И я насторожился вместе с ним. И чем осторожнее он подбирал слова, чем длиннее делал паузы, все обдумывая и взвешивая заблаговременно, тем меньше оставалось у меня надежды вызвать его на откровенность, но и тем больше росла охота во что бы то ни стало этого добиться.

Сначала, прежде всего, попросил его сесть. Сел осторожно, будто и тут боялся какого-то подвоха: не провалиться бы куда?

И все не сводит глаз с моего лица, следит за словом, за тоном, за взглядом, усмешкой, за каждым моим движением, стараясь понять и уловить — насколько способен я видеть его внутрь, за словами понимать его скрытые мысли: насколько знаю и понимаю я все то, о чем говорю; где предел, грань в моих словах — между простым, обычным любопытством и казуистическим, хитрым допросом и выпытываньем, где грань в словах моих между фальшью и искренностью? Он следит за мною напряженно и знает, что вижу, понимаю это, и оттого становится еще более осторожным, еще более подозрительным.

Один другого мы понимали хорошо: кто кого перехитрит и перевидит?

Глядя Бойко в умные черные глаза, я все больше убеждался, что здесь, в разговоре с ним, окончательно не нужна никакая особенная изворотливость, «ловкость рук и обман зрения», не нужна совершенно и самомалейшая попытка к фамильярности, какое бы то ни было словесное втирание очков,— он, видимо, чуток и сразу запрется на все замки, на все засовы.

С ним надо по-другому — в открытую!

После ряда беглых вопросов говорил ему:

— Я вас пригласил потолковать, а если хотите, и посоветоваться о самых различных делах. Не удивляйтесь тому, что я хочу и *посоветоваться:* полностью вашим словам я, конечно, верить не могу, да вы и сами хорошо это понимаете, почему не могу.

Он чуть склонил голову в знак согласия и так остался со склоненной головой.

— Ну да,— подтвердил я его кивок головой,— в прятки играть не будем. Вы один из вождей белогвардейских войск. Вы только-только попали к нам в плен...

— Сдались,— уронил он сквозь усы.

— Ну да, сдались,— повторил и я за ним.— И какой же был бы я глупец на ваш собственный взгляд, если бы сегодня же полностью стал верить вашим словам, не так ли, а? Как вы думаете?

Он промолчал несколько секунд, ничего не отвечая, а потом:

— Я вас слушаю...

Он не хотел отвечать на вопрос.

— Словом,— продолжал я переть напролом, — факт взаимного у нас с вами недоверия и подозрения — совершенно нормальное, естественное, неизбежное явление.

Я выждал, не скажет ли что?

Но он не шелохнулся.

— Поэтому и ваша настороженность нисколько меня не удивляет. Наоборот, болтливость и развязность — если бы у вас они, паче чаяния, оказались — заставили бы меня самого призадуматься, какая им цена? В вашем положении быть особенно развязным — это или обнаружить свое умственное убожество или близорукость, может быть, даже глуповатость, или же обнаружить самонеуважение, род какого-то заискивательства, попрошайничества. Говорю грубо — простите меня. Но так ближе к делу. И верьте не верьте — видел я вас на митинге в казармах, вижу теперь,— по моему заключению, нет у вас этих вот указанных мной талантов. Поэтому я и иду с вами в открытую.

Он приподнял голову, посмотрел мне долго и пристально в глаза:

«Врет или не врет?» — гадал, видимо, Бойко. Не знаю, что он нашел в моем взгляде и на лице, но вдруг почудилось мне, что положение изменилось как-то к лучшему. Значит, ставка на открытую речь поставлена верно.

— Вы у нас в руках, вы — руководитель белой армии. Военная обстановка, разумеется, под всякими предлогами разрешила бы нам и с вами лично и с другими многое сделать безнаказанно. Мы не сделали ничего — вы это видели. И не по личной доброте не сделали. Я вас совершенно искренно хочу убедить в том, что это наша общая советская линия поведения: возможно безболезненней, совершенно бескровно устранять все опасности и противоречия. Сразу этому, разумеется, вы поверить никак не поверите. Но, ей-же-ей, вы в этом убедитесь, когда поживете и поработаете с нами дольше. И тогда вы вспомните мои слова.

Он все молчал. Взор уже давно отвел от моего лица и снова опустил голову.

— Мы когда вот говорили там, на митинге в казармах,— продолжал я,— убеждены были, что слова наши примут за чистую монету. Мы больше говорили о труде, о том, как дальше работать. Это главное — работать! За работу, за мирный труд мы и воевали. Другой цели борьбы у нас ведь нет. Я с вами хочу посоветоваться теперь, насколько возможна совместная работа наша с офицерством? Ну, и с вами в частности. Действительно ли вы перешли к нам с чистым сердцем? И потом — *ка́к* казаки? Что они, разойдясь по станицам, действительно способны забыть все и взяться за труд? Или можно ждать осложнений? Или их могут сбить, увлечь, снова поднять? Анненков вот с остатками ушел на Китай,— что он не сможет опять и опять привлечь к себе казаков?

— Думаю, нет,— ответил он как бы нехотя.

Ответ получился будто вынужденный.

— А почему нет?

— Не пойдут,— сказал Бойко.— Устали.

— И только? — удивился я.— Ну, а когда отдохнут да с силами соберутся?

— И тогда не пойдут.

— А тогда почему?

— На землю осядут. Стосковались. Они ведь, знаете, как тоскуют по земле!

И он снова посмотрел мне в лицо,— теперь во взгляде определенно было нечто новое, чего не было, когда посмотрел он в первый раз. А в голосе звучали такие нотки, словно вот сам он, Бойко, глубоко тоскует по земле, по труду.

— Конечно, тем временем и мы дремать не станем,— говорю ему,— раскачаем земельный отдел, поможем казакам устояться, окрепнуть; это само собой. И политическую поведем работу...

— Ну, тем более,— подкрепил Бойко.

— И все-таки остается сомненье... Все-таки сомненье. И оно будет нам все время мешать в работе. Надо сделать так, чтобы ровно никаких сомнений — понимаете?

— Понимаю,— ответил он ясно и уверенно.

— А вы можете быть очень полезны, знаете это?

— Я? — удивился Бойко.

— Именно вы. Ведь среди офицеров вы самый популярный человек. Да, пожалуй, и среди казаков. Вам они верят больше всех и к голосу вашему очень и очень прислушиваются, особенно те, что сейчас в Кульдже, в Китае...

— Возможно...

Он разгладил усы, и мне показалось, что чуть усмехнулся, поняв, к чему клонится моя речь.

— Вы искренно перешли? — в упор поставил я вопрос.

— Да.

— Безо всяких оговорок?

— Да.

— Значит, можно сделать вывод, что вы нам поможете во всем...

— Во всем? — спросил он. И вдруг спохватился.— Д-да, но первое требование, чтобы *честь* моя была соблюдена.

— На вашу честь мы не покушаемся. Но мы с вами только что говорили о том, как бы с наименьшими трудностями и бескровно завершить нам все бедствия Семиречья... В Китае несколько тысяч казаков. Они каждый час могут снова ворваться в область, и что ж тогда: снова война? Опять на месяцы и на годы нищета и разорение? А не лучше ли нам принять отсюда такие меры, чтобы они сдались без борьбы? Начать работу?

Он пристально следил за мною и, видимо, волновался.

— Могло бы так быть: вы, положим, и еще два-три влиятельных офицера, которых там отлично знают, обращаетесь к ним с воззванием, призываете сложить оружие? А попутно объясняете, что все эти разговоры о зверстве большевиков — вздор и клевета?

— Это можно,— согласился он совершенно неожиданно.

Такого поспешного согласия я никак не ожидал и был несколько озадачен, как понять этот шаг? А впрочем, что же тут может быть?

— Ну, и хорошо,— заторопился я.— Пишите. Пишите все, что думаете. От сердца. Потом мы с вами прочитаем вместе,— может, какие углы и сгладить надо... Но это потом, потом, вместе обсудим...

— Согласен. Я назавтра же принесу...

Лицо его теперь было совершенно спокойно. Он ждал, видимо, иных вопросов, иного разговора — того разговора, который так не любят пленные офицеры:

Почему воевал против Советской страны? Почему у белого командования был на хорошем счету и получал награды и отличия? Почему так жестоко обращался со своими солдатами? Где и сколько расстрелял большевиков? и т. д. и т. д.

Но этих вопросов ему не задавалось. Он успокоился. Пропадали остатки недоверия и недоброжелательности. Спросил:

— А с нами вы как?

— Да из центра,— говорю,— еще нет точных указаний, как поступить с офицерами. Но мы здесь уже сами дадим работу. Здесь будете, с нами, в Верном...

— Я бы в станице хотел побывать...

— Побывать? На время?

— Пока на время...

— Ну, что же, это, вероятно, под известным условием можно будет сделать. Я поговорю, сообщу вам... Ну, а насчет воззвания как вы думаете: будет толк?

— Будет,— сказал он просто, уверенно.

— Пойдут?

— Казаки-то? Пойдут. Им только узнать, что здесь не трогают,— пойдут...

— Вот тогда — дело. Тогда, говорю, и за работу можно взяться по-настоящему, раз пропадет последняя угроза...

— Только, знаете ли,— говорил Бойко,— вы все-таки скажите своим, они иной раз — того...

— Что?

— Некоторых посадили... А по договору нашему, в Копале, этого как будто не должно. И потом были случаи — раздевают...

— Где это? — удивился я.

— Там, на месте. Мне передавали. Это очень восстанавливает против вас.

И он рассказал несколько случаев, назвав части и пострадавших. Я обещал ему, что сделаем расследованье.

Бойко простился и ушел, видимо совершенно довольный разговором.

Наутро он принес воззвание. Кроме него, подписал только один — сочли, что этого будет достаточно. В некоторых местах пришлось оставить несколько неясную терминологию, ибо, ежели взять слишком напрямки, это в казацком стане может поиметь как раз обратное действие.

Вот что говорилось в воззвании:

Открытое письмо к братьям казакам
бывшего белого командования,
сдавшегося в городе Копале

Братья казаки! Многие из нас бежали в 1918 г. из Семиречья в Китай, в совершенно чуждое нам государство как по духу, так и по жизненным условиям; тогда многим пришлось вытерпеть много лишений. Мы бросили хозяйство, бросили своих родных, но это была не наша воля, не наше желание. Семиреченский фронт создался по тем же причинам, как и другие фронты, но, несомненно, усилился он благодаря действиям первых партизан-командиров, действия которых ныне порицаются советской властью. Действия бывших партизан-командиров заставили восстать некоторые станицы на защиту своих личных и имущественных прав, благодаря чему и обострилась братоубийственная гражданская война, которая длилась в Семиречье два года и унесла немало лучших молодых сил, которым уже нет возврата; но ведь буря революции прошла не в одном Семиречье, а во всей России, только волна ее до нас докатилась позднее, чем в центре, так как мы слишком оторваны от центра, а потому и вполне понятно, что и война у нас закончилась позднее, чем на многих

других фронтах. Правда, во время революции было немало жертв, но эти жертвы были неизбежны, как и во всякой революции, не мы первые, не мы и последние переживали и переживаем это историческое событие.

В то время как в центре России и отчасти в Туркестане жизнь наладилась и начались работы по изживанию экономической разрухи — мы в Семиречье вели еще братоубийственную войну. Опять повторяем, что это ввиду нашей оторванности. Но вот, наконец, докатилась и до нас эта волна — стремление к порядку.

Мы, находившиеся в городе Копале, когда к нам приехала делегация от Красной Армии с предложением сдать оружие,— мы, откровенно говоря, отнеслись с большим недоверием к тем сведениям о положении в России, в которых теперь уже убедились, а еще с меньшим доверием, что отношение лично к нам изменилось и что они пришли к нам не как враги, а как братья. Вот, когда был решен на другой день вопрос сдать оружие, то многие из нас, когда красные войска вошли уже в Копал, с затаенным дыханием ждали: «что с нами будет?», но ничего с нами не было. Нас партиями отправляли в Верный, где мы все в данное время и находимся. Казаки свыше 30 лет распущены на работы по своим станицам, а до 30 лет — мобилизованы.

Многие из офицеров уже поступили на службу в Гавриловке, в Карбулаке и Верном.

Может быть, многие из вас зададут вопрос: «Почему же так резко изменилось в Семиречье отношение к нам, казакам, когда еще не так давно (каких-нибудь полгода) по нашему адресу неслись угрозы?» Дело в следующем: в данное время центр позаботился и о нашей окраине и прислал своих революционных деятелей — опытных, видавших, как наладилась жизнь в центре и в Туркестане, которые приняли все меры и принимают, чтобы как можно скорее наладить нормальную жизнь, восстановить хозяйство, а также и урегулировать от-

ношения между крестьянами, казаками и мусульманами.

В данное время в Верном начал работать Казачий отдел, состоящий исключительно из казаков, который принимает самые экстренные меры для выяснения: какие нужны средства для восстановления разрушенных хозяйств казаков, а пока как единовременное пособие для удовлетворения самых важных нужд испрашивает большой аванс. В данное время наши, казалось бы, бывшие враги, а теперь братья крестьяне иначе к нам относятся, чем в 1918 году, в чем опять-таки не их была вина, а вина тех, кто хотел розни между нами и ими.

Настал момент забыть все прошлое. Заблуждалась как та, так и другая сторона! Пора начать новую, дружную жизнь и общими усилиями создать благополучие страны. Продолжение же войны затянет восстановление хозяйства: это должен помнить каждый.

К вам, братья казаки, обращаемся мы, которые вместе с вами рука об руку дрались против Красной Армии: забудьте все, что было началом войны, и придите на свои старые места, начните новую, тихую жизнь, идите смело и не бойтесь, что кто-нибудь вам будет мстить и наказывать. Нет этого, нет и не будет.

Верно, что и здесь жизнь не так уж гладка, конечно, исключения есть, и, может быть, будут единоличные ошибки и проступки, но против них советская власть борется самым решительным образом.

Итак, братья казаки, забудьте все, сложите оружие, как сложили его мы. Идите к нам, и вы не ошибетесь, поверив нам.

Бывшие: командир Приилийского полка
Войсковой старшина *Бойко*.

Командир Алатовского полка
Войсковой старшина *Захаров*.

Пропечатали мы его в своей «Правде» и, кроме того, наготовили целую кипу листовок. Из пленных казаков выбрали особую делегацию для посылки в Кульджу к белым казакам. Дали нашим делегатам инструкции, писаные и неписаные, вручили эту кипу листовок-воззваний, связали их, делегатов, круговой порукой с оставшимися, особенно с теми, кто их выдвигал и рекомендовал, пощупали в особом отделе их благонадежность и отправили.

Кроме того, дали им на руки массу писем для белых казаков от жен, отцов, братьев, детей... На эти письма (просмотренные, разумеется, особым отделом) мы возлагали особенно много надежд,— так они были трогательны и убедительны, так настойчиво умоляли прекратить борьбу и так явственно разуверяли во многих зверствах большевиков. Делегация уехала.

А скоро сказались и результаты предпринятой кампании — казаки самотеком пошли из Китая в Семиречье. Напрасно Щербаков издавал приказы один другого грознее или милостивее: остатки белой армии разлагались, казаки в одиночку и партиями направлялись к Верному.

С пленниками пока дело было закончено. Казаки и офицеры были распределены. Теперь, через годы,— не знаю, верно ли,— услышал я, что Бойко все-таки не удержался, восстал против советской власти, был пойман и расстрелян.

Диво ли, что в те годы на окраине, столь глухой и далекой, как Семиречье, не все благополучно было и с нашей партией? Пролетариата промышленного здесь мало, почти вовсе нет. Туземная беднота темна и забита вековым гнетом, смердящей эксплуатацией. Кулачки-колонизаторы — плохие кандидаты в большевики. Наезжая «культурная» часть населения — то чиновники, то торговцы, то прогорклая, обывательская интеллигенция. Откуда быть, из чего родиться «железной когорте революции»? Но партия существовала. И были в ней такие ребята, что ими гордиться могла стальная большевистская армия. Но таких — единицы.

А большинство, масса партийная была в значительной мере случайная, невыдержанная, малосознательная. Для характеристики возьмем несколько беглых фактов.

Перебросить какого-нибудь партийца с одной работы на другую помимо его личного желания — это целое событие. Для этого надо много настойчивости, хлопот, угроз, обещаний, гарантий. Иначе:

— Уйду из партии!

Как-то задумали редактора областной газеты перевести на работу в трибунал. Обсуждали в комитете партии, областном ревкоме, признали, что, кроме него, в данное время другого подходящего нет. Сообщили. Заупрямился. Напомнили снова. Отказывается. Приказали. Нейдет. Что будешь делать? Выкинуть? Но он сам предупредил события: подал заявление... о выходе из партии! Это редактор-то областной газеты! Так сказать, руководитель, в некотором роде, общественного мнения всего Семиречья! Ну, конечно, мотивировал, доказывал, клялся в верности идеям, партийному комитету, клялся своей убежденностью и т. д. и т. д. А из партии все-таки ушел:

— Не согласен!

Затем был некий Лавриненко — чуть ли не секретарь верненского укома. Наделал такую массу мерзостей, что угодил в трибунал, судился и... приговорен к расстрелу. Партийная организация по поводу приговора подняла такую бучу, что можно было подумать, будто она отстаивает какого-нибудь славнейшего борца революции. Лавриненко расстреляли. После него осталось огромное состояние, по тем временам что-то на несколько миллионов рублей.

Приговорили в Джаркенте одного коммуниста к нескольким месяцам тюрьмы или, взамен, к уплате двух миллионов рублей. Сумма была поставлена просто невероятная... И все же он внес ее чистоганом.

Коммунисты-джаркентцы засевали по десяткам десятин опия, торговали с Китаем, наживали капиталы.

Торговцы в партии — вообще по тому времени в Семиречье явление заурядное.

Помнится, выбрасывали из партии таких, что

жестоко колотили жен, были истыми зверями в семейной жизни.

Местничество и семиреченский шовинизм были невероятные.

— Семиречье для семиреков! — вот лозунг, явно высказывавшийся или тайно лелеявшийся огромной массой семиреченских коммунистов.

И чему же дивиться, что такая масса в критические моменты, в те дни, когда надо было объявить особую выдержку, стойкость, сознательность, оказывалась гнилой, никуда не годной.

Вот прикончился Семиреченский фронт. Стали армию частично распускать домой: тридцатилетних и старше — в первую очередь. Коммунисты остаются по местам! Во всяком случае, впредь до особого распоряжения. Не тут-то было: партиями начали открещиваться от своей принадлежности к большевикам, чтобы только уйти теперь же в деревни. Вырабатывали разные резолюции, требования, постановления. Эту благодать слали в Верный. Ставили ультиматум. Даже «цвет» партии, высшие комиссары, и те стали наскакивать на Верный со своими требованиями немедленного роспуска.

Мы издаем приказы один за другим:

«Стой. Остановись. Не разбегайся!!.»

А тем временем в обкоме постановили провести двадцатипроцентную мобилизацию новых сил и послать их на смену бегущим или готовым удирать. Когда об этом узнали в полках — чуть смолкли. Обождали. И многие дождались до смены. Но много партпублики и разлетелось, открестившись на веки веков от партии.

Вот на этом испытании мы и увидели с особой очевидностью, что даже на партийную часть армии крепко положиться не можем. В дни испытаний они могут очутиться не с нами. Тогда-то и зародилась мысль — прежде всех дел, спешнейшим порядком пропустить хотя бы через самые краткосрочные курсы возможно больше партийцев. Трехмесячная партшкола, двухнедельные курсы на русском и такие же на туземном языке — вот она, хоть чуточная подмога! Вопрос с занятиями встал как боевой и ударный. Алеша Колосов

взялся за дело горячо — ему поручили. И по полкам, по бригадам забарабанили тревогу. Но не было, не хватало сил — тут наше главное несчастье.

Тем временем из пленных мадьяр, австрийцев и немцев создали «роту интернационалистов», готовя хоть какую-нибудь надежную силу на всякий случай. Коммунистов верненских объединили в коммунистический батальон. Партийная школа тоже кой-что значит и к тому же наполовину вооружена.

Когда подсчитывали силы, получалось несколько сотен как будто верных, более или менее надежных бойцов.

Готовились. Видели и чувствовали, как надвигаются грозные события. А центру, Ташкенту, то и дело бубнили о своей беспомощности, об отсутствии надежной, воистину своей, вооруженной силы. Но что же он мог сделать, чем помочь?

«Эти три части (то есть рота, комбатальон и партшкола),— писали мы центру в майском докладе,— должны составить при новых, могущих возникнуть осложнениях нашу опору».

События шли на нас неотразимо — их жаркое дыхание мы чувствовали еще за месяц до беды. Предпринять меры? Мера здесь только одна: силе противопоставить силу. Это и торопились сделать. Но из худого теста, видно, не сделать доброго хлеба!

«Войска Семиречья,— писали мы в том же докладе,— состоя из местных жителей, казаков и середняков, представляют собой хулиганскую, весьма трусливую банду, зарекомендовавшую себя в боях чрезвычайно гнусно. Их привычка ставить всевозможные ультимативные требования сразу была бы уничтожена, если бы мы могли противопоставить силу этой банде. Для всего Семиречья было бы вполне достаточно иметь шесть-семь тысяч центральных войск, чтобы отбить какую бы то ни было охоту у кулаков проявлять себя героями дня и быть постоянной угрозой мусульманскому населению. С подобной военной силой чрезвычайно трудно проводить всевозможные мероприятия, а особенно мобилизацию транспорта, сбор фуража и пр., так как по всему Семиречью у красноармейцев сватья

да кумовья, у которых они, разумеется, ничего не хотят брать и мобилизовать... С этим явлением бороться почти невозможно. И поскольку у нас не будет надежной опоры — сознательной вооруженной силы, постольку все наши планы обречены на неудачное выполнение. Наблюдающееся дезертирство красноармейцев с оружием в руках лишь еще более укрепляет дух и смелость этих скандалистов. И к тому же вооружено все кулацкое крестьянство и казачество, а голыми приказами их не разоружить...»

Или вот, несколькими строками раньше, как мы аттестовали свою армию:

«За советскую власть семиреченские части борются лишь постольку, поскольку у них имеется несогласие с казачеством и мусульманством; но надеяться иметь в лице этих красноармейцев надежную опору советской власти, в особенности при ухудшении национальных взаимоотношений, ни в коем случае невозможно. Красная Армия Семиречья представляет собой не защитницу советской власти, а угрозу мусульманству и отчасти казачеству и готова каждую минуту, помимо всяких приказов своего командования, кинуться стихийно и отомстить мусульманству за памятный 916 год...»

И своя и не своя. В таком драматическом соседстве нам оставаться далее было бы с каждым днем все опасней, опасней... Национальная рознь стояла неотвратимой угрозой. Джиназаковская работа только углубляла ее, приближала момент развязки.

И грозней и тревожней из Пишпека телеграммы Альтшуллера. Для него, видимо, совершенно очевидно, куда идет и куда ведет джиназаковщина:

— Идет настойчивая национальная травля...

— Нас джиназаковцы считают врагами...

— Отношения обостряются...

— Обличительные документы поступают непрестанно...

— Получены новые доказательства...

День за днем все в этом роде...

Важнейшие телеграммы Альтшуллера доподлинно, не изменяя в едином слове, передаем Ташкенту. Иной раз добавляем свои соображения,— они более спокойны, они только предположения. А сами доподлинные пишпекские телеграммы горячи, тревожны, насыщены непосредственной, близкой, неминуемой опасностью. Так бывает всегда: тому, кто стоит близко у развертывающихся событий, они кажутся и крупнее, и значительней, и опасней, чем тому, кто их не видит, не чувствует, знает о них лишь по сводкам. Нам в Верном они казались мельче, Ташкенту еще мельче, а когда узнавала о них Москва — о, каким, вероятно, пустяком представлялись они, каким чуточным эпизодиком на фоне грандиозных общих событий... Гремели громы польского фронта, кипела борьба на врангелевском... Что значили какие-то ожидания в далеком Семиречье, за горами, на окраине?

И Ташкент прислал нам совет:

— В горячке все вам кажется крупнее!

Он был и прав и неправ. Он многое тогда недоучел. Он путем не отобрал пишпекских телеграмм от верненских и судил одинаково по тем и другим. Это вздернуло нас на дыбы, но времени для споров не было, укор оставили пока без ответа.

В Аулие-Ата жил Карабай Адельбеков. Родовая давняя вражда поставила его на ножи с джиназаковским родом. Когда узнал Карабай, что особая комиссия в Пишпеке расследует деятельность Джиназакова, явился к Альтшуллеру и сначала скромно, а потом все резче и резче крыл джиназаковский род, и особенно самого Тиракула:

— Отец Тиракула — вор. Он нажил свои богатства конокрадством. Он грабил всех окрестных киргизов, и если вы отымете у него косяки коней и стада баранов,— киргизы вам скажут спасибо... Тиракул такой же, как и отец... Комиссия должна арестовать Тиракула... А я дам документы, которые покажут, какой человек Тиракул, какие он брал взятки, какой жестокий к киргизам человек Тиракул Джиназаков.

Альтшуллер прислал Карабая к нам в Верный. Мы долго говорили. Ни словом, конечно, не обмолвились про политическую часть вопроса, про то, что готовит-де Тиракул Джиназаков киргизское восстание... Только хотели отобрать у Карабая обещанные документы. Но на руках у него ничего не оказалось. Услали его обратно в Аулие-Ата. Он потом часть материалов передал в комиссию Альтшуллеру.

На примере с Карабаем мы лишний раз увидели и убедились, как тут на почве исконной родовой мести могут люди пойти на крайние меры, на клевету, на измышления.

— Надо быть сугубо осторожным!

Такой вывод сделали мы из беседы с Карабаем.

Совсем неожиданно приехал в Верный Джиназаков. Пока он там гонял по Пишпекскому и Токмакскому районам, его упустили из виду и последние дни не знали, в каком направлении он ускакал.

Мне сообщили:

— Только что приехал Джиназаков, хочет видеться и говорить.

Отлично. Жду. Он вошел.

В легком черном суконном пальто. Широкополая черная шляпа. Напоминал по одежде не то журналиста, не то адвоката. Черноволос, стрижен коротко. В щелках — черные ниточки глаз. На губах, бороде — черное поле, весь накругло черный, как жук. Снял шляпу, протягивает руку через стол:

— Здравствуйте, товарищ...

— Здравствуйте. Только приехали?

— Да, только приехал... И к вам — поговорить насчет нашего дела... Наше дело очень плохо, товарищ... Очень плохо наше дело...

— Чем же плохо?

— Нам не дают работать. Кругом мешают... Мы хотим делать, а нам не дают, мы хотим другое делать, нам другое делать не дают... Советские органы не слушают, и ваша комиссия не слушает... Нам ничего не дают делать.

И он начал долго, подробно рассказывать, как заботится о помощи киргизам, как работает «двадцать четыре часа в сутки», а ничего не получается, как крестьяне заняли все земли у киргизов и не хотят возвратить их обратно...

— Вы нас все считаете шовинистами, нам везде говорят, что мы шовинисты... а это только не понимают...

— Да кто же вам это говорит? — спрашиваю его.

— Все говорят...

— Ну, а все-таки?

— Да все говорят...

Я от этих общих разговоров все пытаюсь повернуть речь на работу, которую он ведет, хочу выяснить план, который у него имеется, определить перспективы, возможности работы и вижу — нет у него ничего, работает вслепую, от случая к случаю...

— Вам,— говорю,— надобно было бы дело свое начинать с областного центра, сначала договориться со всеми областными комиссариатами, выработать общий верный план — и тогда они вам во всем бы дали помощь, а то поехали по кишлакам, а здесь ничего о вас и не знают. Это была организационная ошибка...

— А зачем комиссия? — спросил вдруг.

— Какая комиссия?

— Ваша... Та, которую вы назначили в Пишпеке... Альтшуллер... Зачем она?

Я ему постарался объяснить, что до Ташкента дошли сведения о том, будто отдельные члены его комиссии злоупотребляют своими полномочиями. Ташкент забеспокоился и просил нас обследовать дело единственно для того, чтобы опровергнуть эти злостные слухи, показать, что джиназаковская-де комиссия работает хорошо и правильно...

Он смотрел на меня хитро и недоверчиво все время разговора. Но после этого разъяснения успокоился и даже выразил явное удовольствие по поводу того, что Ташкент его оберегает.

— А вы где остановились? — спросил я неожиданно.

— Я... я... на... Черкенской улице.

Он смутился, и видно было по лицу, что врет, к ответу не подготовился.

— У Павлова...— торопился он поправиться, называя домохозяина.— Я скоро переезжаю на другую квартиру,— зачем-то еще сообщил вдогонку.

Поговорили несколько минут, расстались. Особый отдел установил живо, что ни Черкенской улицы, ни Павлова, значит, там домохозяина нет.

— Зачем он обманул меня?

В это время прибежал посланец Джиназакова и сообщил, что тот уже переехал на другую квартиру...

— Что за быстрота? — изумился я.

Потом сообщили новую весть:

— Джиназаков тяжело заболел, слег и, вероятно, несколько дней не встанет с постели, так что тревожить его нельзя.

Все это было состряпано по-детски смешно. Совершенно очевидно, что все тут сплошная выдумка, и Джиназакову надо было что-то делать — или здесь, или выскакивая за город.

Особый отдел установил слежку. Так прошло несколько дней. Наблюдали, кто к нему ходит, уходит ли он сам куда.

Болезни, разумеется, не было никакой — в тот же день видели его на ногах. Но слежка поставлена была, видимо, неумело,— Джиназаков об этом дознался и вскоре уехал снова в Пишпек. Задерживать его не было пока достаточных оснований. Только в Пишпек дали знать о выезде.

Телеграммы Альтшуллера полны нарастающим беспокойством, и, наконец, одна получена ночью:

«Дела нашей комиссии почти окончены. Скоро можно было бы выехать — такая масса накопилась обличительного, совершенно достоверного материала. Но выехать нельзя. Опасно. Джиназаковцы за нами зорко следят. На всех углах стоят ихние агенты. Мы почти бессильны. Часть ревкома, трибунала, а пожалуй, и ЧК — с ними: так много работает джиназаковцев.

Нам передали, что девять человек из нас намечены к уничтожению... Что делать? Отвечайте срочно...»

Да, что теперь делать? Начдив Белов и начособотдела Кушин срочно примчались на совещанье. Все ребята наши повскакали — они на ногах, готовы к работе, а работы будет на целую ночь, до утра. Все шифровали спешно обширную телеграмму Ташкенту с изложением обстоятельств дела. Просили ответ на вопрос:

— Как быть теперь, когда малейший неосторожный наш шаг в этой раскаленной атмосфере чреват тягчайшими последствиями? Здесь каждая мера против Джиназакова может быть оценена как начало национальной борьбы, как проявление насилия над туземцами... Как глянет на это население, как глянут на это в Турцике, как отнесутся местные партийцы-киргизы?

Словом, шаги чрезвычайно ответственные.

Мы хорошо понимали, что вопрос с Джиназаковым далеко не только наш местный вопрос,— он выходил за пределы Семиречья. Как быть? — запрашивали мы Ташкент. И — не знаем отчего, то ли второпях, то ли не разобрав дела — оттуда прислали убийственный ответ:

— Предпринимайте, как знаете, только помните, что все лежит на вашей личной ответственности.

Тут не сдержался — ответил Ташкенту зло, ядовито, укоризненно. Просил не подчеркивать «личную» ответственность, ибо она подразумевалась сама собою:

— Не угроз хотим, а совета!

И вторая телеграмма оттуда была действительно полна «советов»,— правда, самых общих, говоривших об осторожности, о необходимости учитывать факт родовой вражды и т. д. и т. д., но все же это была «линия».

Не дождавшись этого ответа, появившегося только на следующий день, мы самостоятельно приняли ряд мер: во-первых, договорились *принципиально* о необходимости Джиназакова арестовать. Момент ареста согласовать и взаимно о нем друг друга оповестить

заранее, ежели будем находиться в разных местах. Во-вторых, рано поутру начособотдела Кушин сам едет в Пишпек и там лично руководит всем делом ликвидации джиназаковщины.

Послать Альтшуллеру на помощь какую-либо вооруженную силу нельзя — нет у самих. Решили передать в его распоряжение стоявшие в Пишпеке кавдивизион и батальон пехоты. Белов вызвал к проводу начальников этих частей и сообщил, что они поступают в распоряжение Альтшуллера...

Так работали всю ночь, а рано утром Кушин уехал в Пишпек. Тогда же Альтшуллеру мы послали шифрованную телеграмму:

> «Будь осторожен прежде всего — в каждом предпринятом шаге, в каждом слове.
>
> Воинскую силу держи крепко в руках, но до самого крайнего момента и думать не думай пускать ее в ход, не допускай первой стычки: помни, что стычка эта — начало больших событий.
>
> Если придется арестовать — прими все меры к тому (собрания, листовки, воззвания, заседания, приказы...), чтобы эти аресты не производили впечатления гонений на киргизов,— злые языки поторопятся их объяснять именно так; прими предупредительные меры.
>
> Все время помни родовую вражду и в сношениях с теми, кто дает сведения, будь зорок и недоверчив...
>
> Наконец, о дне и часе арестов сообщи заблаговременно, чтобы мы здесь согласовали свои действия...»

А наши действия сводились к следующему:

I. Как только узнаем, что в Пишпеке момент созрел, арестовываем джиназаковцев в Верном и даем распоряжение о том же в Токмак. (В Джаркенте придется с арестами волей-неволей повременить — там не на кого положиться.)

II. Все обязанности, которые лежали на джиназаковской комиссии, немедленно передать областному

ревкому, о чем объявляем в печати, без тревоги, без особых разъяснений, коснемся только самого факта передачи, указав, что это диктуется необходимостью.

III. Коротко о случившемся известим Турцик, изложим дело, как оно есть, и запросим указания на дальнейшую работу.

IV. В верненской и пишпекской прессе объявляем о случившемся, указав на ряд достоверных, установленных злоупотреблений джиназаковцев — этим положим предел догадкам, слухам, предположениям, клевете и панике.

V. Быстро распространим воззвание к населению, призвав его к спокойствию и порядку, указав на необходимость тесной и дружной совместно с нами работы.

Так подготовились мы к делу. Джиназаков, узнав, что Кушин в Пишпеке, вдруг выехал оттуда в Верный. Мы недоумевали, как расценивать его приезд. Возобновили слежку. Были наготове. Несколько дней, два-три, прошли в тревожном ожидании. Мы знали, что Кушин облавой ездил в горы, нашел там какое-то оружие.

Близилось. Накалялось. Вот-вот ударит!

Потом телеграмма:

«Перехвачен гонец к Джиназакову. У него отобрана бумага, в ней значится:

«Согласно вашему предписанию, винтовки и патроны приготовлены».

Эту бумагу кто-то послал Джиназакову. Кушин своему заместителю в Верном отдал приказание Джиназакова немедленно арестовать. Заместитель даже забыл поставить нас об этом в известность — арестовал, и мы только через четыре часа узнали, что Джиназаков сидит.

Верно ли, нет ли — объясняли потом, что бумага, попавшая Кушину в руки, была подложная; что «гонец» был подослан каким-то личным врагом Джиназакова, и этот враг джиназаковский сам дал знать Кушину, что у «гонца» есть для Джиназакова секретная бумага. Одни этому верили, другие нет,— весь оборот

дела признавали просто ловким ходом самого Джиназакова, который придумал дать делу такой оборот. Во всяком случае, все дальнейшее подтвердило опасения наши насчет джиназаковщины.

Мы понимали, какое сделали дело, арестовав теперь Джиназакова. Спокойно это обстоятельство миновать не могло. И действительно, в Ташкенте поднялась целая буря. Скоро прислали оттуда распоряжение — Джиназакова освободить. Но решительные действия особотдела расстроили все планы джиназаковской компании,— она почувствовала себя под ударом и, главное, под неустанным, зорким наблюдением. Сам Джиназаков по выходе из тюрьмы стал тише воды и ниже травы. Из Верного никуда не уезжал. С Кушиным раскланивался самым почтительным образом, льстил ему в глаза невероятно, а тем временем посылал доклады Турцику и настаивал, чтобы Кушина немедленно убрали из области. Да не только Кушина,— ультимативно он требовал изгнания из области целой нашей группы. Один из таких докладов попал нам в руки и показал воочию всю пакостность и двойственность его поведения. Но это — все бы ладно. Нас беспокоило главным образом то обстоятельство, что комиссия джиназаковская решительно ничего не сделала и не делала для беженцев-киргизов. Областной же ревком формально не мог пока взяться за это дело. Мы устроили несколько заседаний совместно с джиназаковцами в земельном отделе и в ревкоме, старались разбередить их, отдавали по области за общей подписью распоряжения на места,— хоть как-нибудь пытались столкнуть дело с мертвой точки. А центру поставили, в свою очередь, решительный вопрос: или должна быть прислана новая комиссия взамен джиназаковской, или обязанности ее надо передать ревкому, ибо комиссия ровно ничего не делает.

Ответа не было. А Джиназаков ушел с головой в интриги и происки: толкался то и дело в особый отдел, старался там все разнюхать и разузнать, ко всем приставал, всех расспрашивал, собирал какие-то «мате-

риалы». Он, как оказалось потом, созвал секретное совещание всех мусульманских работников-коммунистов и такую жаркую, подлую развел там агитацию, так извратил факты, подтасовал и разукрасил, что — гонение, да и только!

Он распалил собрание своими речами, накалил донельзя атмосферу, и уже готово было собрание принять безумное решение:

— Отозвать со всех постов партийных мусульманработников!

На счастье, тут подоспел Шегабутдинов. Авторитет его стоял среди членов этого собрания высоко — выше джиназаковского. И Шегабутдинову удалось отклонить, предостеречь вовремя взволновавшихся товарищей, указать на опасное их заблуждение. Предложение было снято, забраковано.

В один из ближайших дней в ревкоме состоялось заседание. Присутствовал и Джиназаков. Когда договорились обо всем, что стояло на повестке дня, он вдруг объявил, что хочет сделать доклад:

— Что? О чем? Какой доклад?

Голосовали: решили дать высказаться, хотя знали отлично, что нового ему сказать решительно нечего и станет он часа два-три переливать из пустого в порожнее и в конце концов начнет доказывать ошибочность собственного ареста, нашу вину, свою правоту и т. д. и т. д. Мы было протестовали, но председательствовавший Пацынко — этот теленок в образе человека — вдруг начал поддерживать Джиназакова, склонились еще два-три члена, и доклад начали заслушивать. Полилась пустая, ненужная болтовня. Джиназаков обостренно ставил все вопросы и, видимо, умышленно подливал масло в огонь — вызывал на резкие реплики и надеялся таким путем хоть что-нибудь выведать, узнать, вызвать кого-нибудь вгорячах на откровенность и услышать то, чего до сих пор о себе и аресте своем не знал. Но почти все присутствовавшие поняли смысл его выступления и сначала молча слушали, а потом резко начали перебивать.

— Я знаю, что тут над моим делом работает целая белогвардейская шайка,— гремел Джиназаков.

— Как шайка? — выкрикнул Кушин.

— Не вы, не вы,— заторопился Джиназаков.— Вы тут даже совсем ни при чем. Я знаю, что вы и товарищ Кондурушкин тут ни при чем...

Он заискивающе, неприятно заулыбался. Но глаза горели, как уголья,— в них и ненависть, и обида, и жажда мести...

— Но кто же? — в свою очередь спросил Кондурушкин.

— Тут работает одно лицо... Оно стоит у всех за спиной... Оно имеет силу, ему помогают из Ташкента...

— Да кто же, кто? — дергались мы нетерпеливо на местах.

Вдруг — впечатление разорвавшейся бомбы: он назвал мою фамилию... Поднялась суматоха. Заговорило разом несколько голосов. Закричали. Запротестовали.

Собрание скоро пришлось оборвать — до того ли? Все были чрезвычайно взволнованы.

И бесспорно было, что эту мысль он старается всюду распространить, особенно же укрепляет ее в сердце доверчивых мусульманских работников. Вместе с моей фамилией он прихватил и три другие — Альтшуллера, Полееса, Зиновьева, председателя Пишпекского ревкома, которого мы не позволили Джиназакову сместить с должности.

Не могли мы пройти мимо этого неслыханного оскорбления, составили бумагу, послали Ташкенту:

> В понедельник 24 мая 1920 г. на заседании Семиреченского обвоенревкома гражданин Джиназаков заявил, что в Семиречье ведется противомусульманская политика, что вся история ревизии особой комиссии Турцика по делам киргиз-беженцев 1916 г. создана и раздута определенной группой белогвардейцев и контрреволюционеров, во главе которой стоит (перечислили наши фамилии).
> Секретарствовал на этом собрании ближайший сотоварищ Джиназакова К. и протокол заседания

умышленно не вел, а составил его позже, почему этот протокол и не мог точно передать всего, что на заседании было сказано. Подлинник этого документа хранится в делах уполномоченного реввоенсовета фронта.

Следуют подписи: моя, Кондурушкина, Кушина, Шегабутдинова, Альтшуллера, Полееса.

Чудаку Пацынко тоже предложили было подписаться, но он уже давно струсил, почувствовал, как сложна эта путаница со слежкой, арестами и т. д. и т. д.

— Не помню... Я ничего не помню,— промямлил он.— Говорили что-то про белогвардейцев, это верно... Но я не помню, ничего не помню...

Плюнули, отошли. С того момента он кувыркнулся в наших глазах. Но окончательно показать свое ничтожество ему предстояло еще впереди: во время мятежа он так перетрусил, что не вызывал даже злости, а только кроткое отвращение,— стонал, охал, нагонял на всех панику, опустил беспомощно руки и отдал себя «на волю божию».

Здесь на Джиназакове кончим. Скоро и эти события отошли в тень,— их сменили другие, более яркие и более трагические. Приближалось восстание семиреченской армии, и перед этим фактом джиназаковщина побледнела, пропала, на время о ней даже вовсе забыли. Уже теперь, через годы, стало нам известно, что Джиназаков действительно изменил советской власти. Он перешел на сторону ферганских басмачей, был одним из виднейших организаторов и вдохновителей этого движения. Не то в бою, не то захваченный в плен — он был расстрелян.

III. Мятеж

В грозной обстановке грянул мятеж.

В Семиречье в те дни — что на вулкане: глухо выли подземные гулы, раскатывались зловещим, жутким рокотом — все ближе, явственней, тревожней.

И каждый миг можно было ждать: распахнется вот наотмашь широкий каменный зев, раздастся еще шире накаленная глотка, и вымахнет из нее с воющей бешеной силой расплавленное море,— помчится с присвистом, с гиком огненный ревущий ужас, все сжигая, унося, затопляя на мертвом пути.

Что остановит бешеную лаву? Где сила, что осмелится перегородить ей путь?

Нет этих сил, все пожрет разъяренная стихия, слепым ураганом промчится она по благодатным, цветущим полям, по каменным городам, по богатым, плодами набухшим селам, где звонки игры и сыты табуны, все зальет смертоносными огненными волнами, и вмиг повсюду, где билась жизнь, станет тихо. Жизнь похоронена на дне, а над нею — дальше несутся с ревом все новые, новые бешеные валы и пожирают огненными накатами настигнутую добычу. Никто не угомонит ее чужой,— только сама угомонится буря: когда все пожрано, смыто, убито и выжжено, когда устала грудь великана-вулкана, истощила всю свою богатырскую силу и, ослабленная, сжалась в изможденный комок.

В грозной обстановке грянул мятеж.

Сытое крестьянство проклинало советскую диктатуру, не хотело голодному центру хлеб отдавать по продразверстке, с проклятиями изгоняло, а вгорячах и убивало продовольственных агентов, издевалось над приказами советской власти и, до зубов вооруженное, чувствовало себя надежно, в безопасности. А тем более теперь, когда с фронта освободилась эта свойская — семиреченская армия: она штыком и пулей подтвердит любое требование, что выставят мужички!

Туземцы-киргизы притихли. Замерли в тревожном ожидании: ужели близок час новой национальной резни? Теперь — это понимали и сердцем чуяли — как раз ей время, грозный срок. Теперь крестьянство и победоносная его армия не упустят момента и отомстят — ох, отомстят бедою за памятный шестнадцатый год... Недаром то здесь, то там сверкают зловеще эти первые вспышки-сигналы:

«Крестьяне разоружили туземную милицию...»

«Крестьяне угнали киргизский скот...»

Когтистый зверь пробует свою силу, оскаливает хищные зубы, выпускает остро-тонкие перламутровые когти. Когда он почувствует бессилие противника,— кинется диким прыжком и справит веселым задыхающимся ревом победную тризну на костях растерзанной добычи!

У крестьянства — армия, оружие...

У туземцев — нет ничего, только прибавились эти вот десятки тысяч голодных и нищих братьев, что воротились теперь на родину из китайских пустынь. А тут еще джиназаковская комиссия накалила воздух, растравила аппетиты, поставила киргиза на *каждого* крестьянина, на *любого* казака, как на злейшего врага.

Молчали тревожно и казацкие станицы,— им памятна, незабываема была суровая полоса восемнадцатого года. Армия казацкая побита — крестьянство главный теперь силач по всему Семиречью. Что он станет делать, силач? Куда ударит своей силой? Не захватит ли и станицы казацкие?

Крестьяне, туземцы, казаки — каждый по-своему чего-то ждал и к чему-то готовился. Станицы, села, кишлаки ощетинились зловеще, готовые на битву.

Висели тучей над Семиречьем и ядреные остатки казачьих войск, что ускакали с генералами за китайские пределы.

Цепями и угрозой, несмотря ни на что,— ни на признанья, ни на восторги,— висела у нас, как петля на шее, плененная шеститысячная белая армия со множеством офицерства, наспех рассованного по советским учреждениям.

Не сулила добра и своя — победительница — Красная Армия Семиречья. Основным у ней стремлением было — разойтись немедленно по домам. И разбежалась бы до последнего человека, если б не угроза из Китая казачьих войск, если б не забота постоянная быть наготове против какой-то «туземной опасности» и, наконец, хотя туманная, но значительная уверенность, что за это самочинное «действо» покарает рано или поздно чья-то суровая рука. Посему кое-как — с протестами, со скандалами, с угрозами и буйным

хулиганством — она все же до времени внутри себя душила свое негодование.

Многим была она недовольна, армия: и тем, что собирает советская власть продразверстку, устанавливает разные наряды и повинности, а «сама» не дает ничего и не делает; и тем, что вовсе воли нет полкам похулиганить всласть; что попадают то в особый, то в трибунал ее недавние «полководцы», так мастерски отличавшиеся в удалых налетах, где каждому была своя воля, своя пожива.

— Что ж это, братцы: неужто наших дадим вождей расстреливать?

— Долой особотдел, трибунал и Чеку. Там наехала-засела шваль разная из центру,— гони их, центровиков, сами, одни управимся!!

Была взволнована армия и тем, что создавалась в Семиречье Киргизская бригада, и тем, что долго махорки по рукам не выдавали, что обуви нет, одежи, что пленных казачьих офицеров на месте не прикончили, а — подумайте! — на работу посадили в разных «камесарьятах»...

Краю не было обидам-недовольству. Но все это глохло пока внутри: зрело, копилось, готовилось к действию. Нужен был вызывающий повод, который прорвал бы заставы, и тогда... о! — тогда «гнев народный» прольется всеочищающей волной и смоет разом тяжелые недуги.

Повод нашелся: армию приказано перебросить из Семиречья в Фергану.

— Ну, нет,— молвила армия.— Из Семиречья — ни шагу. А будешь приставать — штыком.

Вот почему и мы, получив приказ о переброске, сказали себе:

— Быть беде. Это даром не пройдет.

На кого же обопремся мы в час невзгоды, когда будет надо против силы поставить силу? Ни одного надежного полка. Только где-то, за сотни верст, стоит 4-й кавалерийский — в нем больше десятка разных национальностей: немцы, мадьяры, киргизы, китайцы, текинцы... Кроме «пли... ложись... вперед» — вряд ли весь он разом понимает другие слова. На этот полк,

говорим себе, можно рассчитывать. Да, можно, но... с оглядкой. Затем очень недавно при штабе дивизии организовали мы роту интернационалистов. Но часть эта — свежая, в деле не испытанная. Посмотрим — увидим, на что годится. Коммунисты наши военные — горе одно. Горе одно и военные комиссары. Это они нам ставили ультиматумы:

— Отпускай по домам, а то сами уйдем!

Как на таких положишься в трудный час?

Совсем немногих, только отдельных ребят, считали мы в армии крепко надежными. От остальной братвы — и добра и худа ждать можно было одинаково.

Городская партийная организация — слезы смотреть на нее: ни к черту. Недаром сидела она потом на скамье подсудимых, была распущена и вдребезги расчищена. Кругом никого. Решительно нет никого. Обстановка ужасающая.

Тревога нарастала. Близилась развязка.

На руках был приказ центра о переброске полков в Фергану. Полки о том были уже извещены. По всем дорогам — густое движенье: проходят шумно в липкой пыли воинские части; проходят безоружные толпы пленных; перекатываются тифозные волны голодных лепсинцев-копальцев,— эти ищут лучших мест, бегут от погони смерти. Куда же бежать? Ну, конечно, к Верному: и кибитки, и верховые на костистых, тощих лошаденках, и толпы нищих беженцев-пешеходов запрудили дороги, продираясь отчаянно вперед, устилая трупами погибших свой крестный путь. Беженцы настроены гневно и мстительно. Они во всем отчаялись, они всех винили и всех проклинали, потому что уж все потеряли дорогое, и нечего было им больше терять, кроме трижды несчастной, голодной, нищей жизни. Они, как порох — вспыхивали быстро, от малой искры. Они, столь глубоко несчастные, горем доведенные до безумия, до отчаяния,— они тоже представляли опасность, потому что с горя падки стали на мечту о счастье. И кто им это счастье сулил, тот и овладевал вниманьем, тот и мог их увлечь за собою в какое угодно дело.

Так с разных сторон повисли над нами тучи. Близилась гроза. Хохотали зловеще вдалеке первые смутные раскаты. В душной испарине близкой бури было трудно дышать.

В конце мая по Верненскому гарнизону сеяла листовки-прокламации чья-то невидимая рука.

> Что нам дали коммунисты центровики? — говорится в одной из них. И тут же ответ: Особый отдел и Кондурушкина, смертную казнь и тюрьмы.
>
> Товарищи красноармейцы.
>
> За кого вы бились два года? Неужели за тех каторжников, которые работают теперь в Особом отделе и расстреливают ваших отцов и братьев?
>
> Посмотрите, кто в Семиречье у власти: Фурманы, Шигабутдиновы, Линденбаумы: разные жиды, киргизы и мадьяры. А трудовые крестьяне снова — в рабстве.
>
> Уже издан приказ о мобилизации мусульман — что это значит?
>
> Это значит, что у вас, товарищи красноармейцы, хотят отобрать землю, хаты, скот и передать киргизам.
>
> Товарищи! пора опомниться и дать врагу последний и решительный бой. Иначе будет поздно. Час мести близок. Будьте готовы. Помните, что все должны быть за одного и один за всех.

В другой прокламации какие-то «горные орлы» угрожающе взывали:

> ...Центровики загоняют нас в бутылку. Кругом — притеснения и контрреволюция. В Особом отделе для пролетариата стоят пулеметы. По городу рыщут тайные агенты и ловят тех, кто боролся с контрами-казаками. Наступает время кровавой революции. Горные орлы заготовили оружие и собрали в горах восемьсот славных бойцов.
>
> Трепещите, кровопийцы-комиссары и сыщики...[1]

---

[1] Текст прокламаций взят из очерка М. Степанова «Кулацкий мятеж», помещенного в сборнике ПУР Туркфронта за 1921 г.

Этакие документы весьма убедительно говорили о подготовке восстания. Перехватывалось много писем, направлявшихся из армии в деревню и обратно,— в этих письмах деревня и армия заботливо друг дружку подбадривали и совершенно недвусмысленно готовились к объединенному натиску на «жидов-комиссаров». В одном письме так и говорилось (видимо, то было письмо из армии в деревню.— *Д. Ф.*):

> ...А насчет разверстки — не беспокойтесь. Все это проделки жидо-мусульманско-мадьярских комиссаров. Скоро увидите, как будут они болтаться на деревьях. Настоящая революция трудовиков наступит через месяц. Горные орлы, доблестные герои, бившие Анненкова и Щербакова, сумеют бить и жидо-мусульманско-мадьярских комиссаров... [1]

Тем временем в Китае генералу Щербакову попало на руки то самое воззвание к белым казакам, что писали мы вместе с Бойко. И генерал на воззвании этом положил сердитую резолюцию:

> «...Жиду подчиняться не будем, русские сговоримся, а жидов будем бить беспощадно».

С такой надписью он переслал мне воззвание в Верный, и пришлось генерала крестить-костить в местной газете за эту резолюцию. Но факт — фактом: «горные орлы» и Щербаков шли вместе против «жидо-кирго...»

Этого нельзя было не видеть.

Нити подготовлявшегося восстания, безусловно, имелись и за китайскими пределами. Недаром на джаркентской границе еще 4—5 июня, то есть за неделю до мятежа, говорили о том, что в Верном уже восстание: это готовили почву, настраивали, мобилизовали силы [2].

---

[1] См. примечание автора на стр. 191.

[2] Об этом позже, на процессе, сообщал уполномоченный Наркомвнешторга, тов. Левитас, работавший тогда в самом Джаркенте.

Д. А. Фурманов на туркестанском фронте.

1920 г.

Здесь же, в Верном, и трибуналу и особому отделу подбрасывались то и дело анонимные письма, где перечислялось перво-наперво несчетное множество преступлений, содеянных этими органами; сотрудники их обзывались разными ласковыми именами, вроде «каторжники... сволочь... идиоты»... и т. д.; дальше обычно предъявлялось требованье: окончить немедленно ежечасные и чуть ли не ежесекундные расстрелы народных вождей [1] и наконец сам собою слагался заключительный аккорд письма: «...А впрочем, что вы там ни делайте, все равно вас, подлецов, надо перевешать... Дрожите! Трепещите! Ждите!!»

И вот все в этом роде. Трибунал показывал эти письма особому, особый — трибуналу преподносил свои: становилось совершенно очевидным, что листовки-прокламации и эти подметные письма даже по стилю, по привычным, затасканным выраженьям — были делом рук одной и той же кучки лиц.

Но на следы напасть не удавалось.

В первых же числах июня отдан был по области приказ сдавать оружие. (Скоро и Ташкент прислал нам такое же распоряженье.) Над этим приказом опять посмеялось анонимное письмо: «раскрывай, дескать, ворота шире,— сами на своих возах привезем». Тогда же стали мы разгружать от ненадежных жильцов дома, занимавшие относительно ОО и РВТ [2] особенно выгодное положение.

Таинственная рука отметила угрозой и это действие: «чепухой, дескать, занимаетесь: все равно возьмем под огонь, куда ни прячься». Словом, каждый шаг, каждая мера наша кем-то прослеживалась, взвешивалась, расценивалась, бралась на заметку.

В особом отделе собралась кучка ответственных работников обсудить общее положение и всю груду разных показательных мелочей, всевозможных документов, скопившихся и по учреждениям и у отдельных лиц.

---

[1] Кстати будет заметить, что ОО за весь период существования в Верном до мятежа — ни *одного* расстрела не произвел. (Сообщил Масарский.)

[2] Особого отдела и ревтрибунала. *(Прим. ред.)*

Было понятно каждому, что назревают события. Но что поделать? Что можно поделать в этих исключительных условиях?

Ведь было бы совсем иное, даже вовсе простое дело, если б задача наша заключалась только в распределенье и рациональном использованье своих сил. Но силы-то, силы где? Чем сопротивляться, чем обороняться и наступать?

Как в пропасть, провалилась мысль в этот пустой вопрос:

Нет сил!

И думай тут — не думай, гадай — не гадай: живую силу из пальца не высосешь.

Центру говорили не раз. Плакались. Просили. Угрожали возможными опасностями. Настаивали «категорически» — ну, так что? А сам-то он, центр, откуда возьмет? У него что за резервы? Если и было что, так все ушло теперь на борьбу с ферганскими басмачами.

Так что надежды серьезной на подмогу мы не имели. Во всяком случае теперь, в эти вот дни. Правда, из Сибири шла в Семиречье дивизия Блажевича, но это еще когда-то...

А вдруг уже теперь что случится? Ведь приказ о переброске частей вот-вот надо приводить в исполнение... Но как бы ни было, а дело надо делать.

Пока что — отправить следует два полка кавалерийских и два стрелковых. Отправлять решили побатальонно, чтобы лицом к лицу не столкнуться нам с целыми полками. Панфилычу на этом самом совещании (оно всего было дня за два до восстания) поручили даже выработать общий план обороны Верного — до мельчайших деталей. Не знаю, не помню — успел ли он сработать до «мельчайших»-то деталей, но общий план, разумеется, имелся у нас и без того. Да не понадобился он. Обороняться ведь тоже надо *силой* и силой надежной, а мы ею-то как раз и не располагали вовсе. Нам совсем-совсем не обычное приходилось к близкому бою готовить оружие: не кинжалы, не револьверы, винтовки, орудия или пулеметы. Нет. Слишком неравные были силы у нас и против нас. Пулями тут ничего не поделать! А ведь оружие выбирать

всегда надо по противнику. Оружие всегда надо брать по силе противника и по живой обстановке, в которой развертывается борьба.

И ежели все учесть хорошо,— иной раз и с малыми силами можно большие покрыть. Помнится мне — рассказывали в 1915 году в Сарыкамыше, на турецкой границе, как там один русский поручик всего-навсего с ротой попал в турецкое окружение и как раз на то самое место, где находился турецкий генералитет. Ежели бы поручик кинулся врукопашную, это, может быть, была бы и лихая, но неверная сеча: конец можно было предсказать заранее, ибо силы были вовсе не соизмеримые. Но поручик применил иное оружие. Он с ротой своей, как бы с командой, подступил к месту, где собрались генералы, объявил, что они все арестованы, что войска турецкие окружены и должны сдаться, положенье их безвыходно и т. д. и т. д. Генералитет он пленил и привел к себе, к своим главным войскам. Пусть даже все это неверно, но так случиться, бесспорно, могло. Это вот находчивость! Это тактика! Это действительно мастерской выбор оружия — по силам своим и по силам противника, по конкретной обстановке.

Нам теперь, в Верном, перед грозой, оружие открытой борьбы — как будто тоже применять не стоит. А впрочем: партшкола... коммунисты, военные и гражданские... рота интернационалистов... силы особого отдела и трибунала...— гадали мы на кофейной гуще, веря и не веря своим итоговым цифрам, не зная, на кого будет можно и на кого нельзя положиться в критический момент.

Тревога — тревога — тревога...

Ох, какая близкая, жуткая, ощутимая тревога... Она накапливалась, пучилась, сгущалась с каждым днем, часом, минутой; мы ею дышали, мы в ней задыхались, словно куда-то все глубже-глубже входили мы в зловонный черный, глухой тоннель, где спирает дыханье, мутит мысли и душит сердце, где без пути и на ощупь в зловещей мгле так трудно идти, где вот-вот грохнет по гулкой пустоте последняя катастрофа...

Она будет — она непременно будет, лютая беда:

ею густо насыщен душный воздух. Но в который момент и откуда она ударит? Сквозь густую повисшую мглу ничего не увидишь, ничего не узнаешь, только чувствуешь, как вокруг тебя собирается что-то зловещее, враждебное, чужое,— оно дико и глухо рычит, ревет, завывает, смыкает страшное кольцо...

Дивизия была в движении. Первым в Верный пришел из Джаркента батальон 27-го полка. Из стрелковых полков к переброске предназначались 25-й и 26-й, из кавалерийских — 1-й и 2-й. Джаркентский батальон вливался в 26-й полк, которому также задача была идти на Верный. 26-й, по нашим расчетам, должен был к Верному подойти числа 18 июня, когда Джаркентский батальон уж будет далеко в пути на Ташкент. Но 26-й развил такую быстроту, что 11-го был всего в 75 верстах от Верного, в выселке Илийском,— следовательно, к нам мог пожаловать 12—13-го. Он торопился сверх меры. Зачем? Откуда такое рвенье? Мы дали приказ: остановиться в Илийском — и ни шагу дальше, впредь до особого распоряжения! А тем временем по этому же пути издалека подводили 4-й кавполк — «на всякий случай». Джаркентский батальон был настроен из ряду вон скандально: не исполнял никаких распоряжений, не признавал никакого начальства, то и дело митинговал, держался вызывающе...

Вчетвером — Белов, Бочаров, Кравчук и я — отправились мы, чтоб на месте выяснить, в чем тут загвоздка и какого плана действий полезнее будет держаться. Приехали в казарму. В казарме по-обычному: грязно, сушатся кругом вонючие портянки, валяются немытые ложки, с присохшим салом котелки, заскорузлые, облепленные грязью сапоги и «ходики-американки», в головах по нарам — свернутые трубками шинели, перемятые фуражки с лаковыми объеденными козырьками, кругом набросаны окурки, цигарки, матовеют по дощатому полу густые солдатские плевки, по углам прислонились неловко винтовки в штыках, словно в черных острых косынках печальные монашки. Красноармейцы по двое, по трое или кучками —

вразвалку сопят на нарах. Во всяческих позах. Но видно, что не просто лежат — говорят о чем-то, о нужном, о своем. Сразу, как вошли, встретили нас охмелелые, злые взгляды. Никто не шевельнулся, не встал, не спросил — зачем пришли? Только взорами остро впились и шарили по нас недружелюбно, пытливо с нар следили каждое движенье. Оглянулись мы кругом,— зловещая картина. Прием не сулит ничего хорошего. По взглядам — сердитая глубокая предубежденность. Минутами и даже часами — вряд ли успеешь тут что поделать.

За первыми мгновеньями мертвого, сосредоточенного наблюденья слышим смешки-остроты,— это отмачивают по нашему адресу...

— Уговаривать явились... Речи говорить...

— Господа-начальники... коммунисты...

— Красноречье слушать будем... С... с.. с. волллч...

Шипящей, визжащей угрозой — как мимо летящий снаряд — прожужжала эта брань с нар...

Мы сейчас же разыскали батальонное начальство, попросили собрать красноармейцев тут же, в казарме, сообщить, что хотим говорить с батальоном по делу. А все дело в том лишь и состояло, чтоб разузнать: чего тут хотят и как нам быть?

Лениво, медленно, долго собирались.

— Чего там... надоели... без ораторов знаем...

— Лучше бы хлеба гнилого не давали, чем речами заниматься...

Но батальонное начальство приложило все усердие, чтобы митинг состоялся. Слышно было, как уговаривали:

— Начальник все же... дивизии... Военный совет...

— А мне што? С... я на них...

— Ну, все-таки,— извинялся начальник перед кочевряжившимся на нарах красноармейцем.

Кое-как батальон сколотили,— многие остались лежать, слушали издалека.

Первое слово держал Панфилыч, Белов.

Как всегда: отчетливо, откровенно, резко.

И тени не было какого-нибудь подыгрыванья, подлаживанья под общее настроение:

— Раз дан приказ о переброске — выполнять его надо, а не болтать над ним: то не хочу, да то успеем. Приказ только вовремя годен, а время ему уйдет — на кой он черт сдался? В чем у вас дело: одежи нет, пища плоха, спичек нет, табаку не хватило... А где это есть?! Где, я спрашиваю? Может, в тех полках, что на Врангеля, на польском фронте, а? Хуже, в тысячу раз голоднее там, а приказы небось нарушать они не собираются — оттого, что табаку не хватило...

Панфилыч, разумеется, отлично понимал, что дело тут не только в махорке, но про главное молчал: пусть зачнут сами и сами выскажутся.

За Беловым я говорил, потом выступали Кравчук с Бочаровым. Нам отвечали ораторы с бочонка. Выходили и крыли чуть не матом. А горячей, похабней того крыли злыми и ядовитыми выкриками с нар:

— Зачем нас разоружили в Джаркенте? Рази можит солдат без винтовки?

— Па... адлецы... сук... свол... лл... ч...— свистело злобно со всех концов.

— Смешно говорить,— отвечали мы,— кто ж из вас, из солдат Красной Армии, не знает того, что, вовсе уходя из двадцать седьмого полка, вы, по военным правилам, *обязаны* оставить ему свое оружие...

— А мы, значит, баранами?

И по углам, словно калоши по грязи, залопотали: мать... мать... мать...

— Зачем баранами? — вас вооружит двадцать шестой, в который вольют весь батальон...

— А, значит, до Ташкента с палками идти. Значит, если кто в пути нападать будет — так тут и пропадай весь батальон?!

Углы соответственно вторили крепкой, ядреной бранью.

— Кому это тут нападать, товарищи, чего вы городите чепуху: дорога до Ташкента совершенно безопасна, тут круглый день то и дело едут в обе стороны... Ишь дети малые: обидят... Это уж вовсе чепуха. И кроме того, на всякий случай — именно вот в охрану — у вас же есть девяносто две винтовки... А весь батальон, весь — вооружат на месте...

— Не на месте, а здесь давай.

— Здесь — права мы не имеем...

— Вы не имеете, так *мы* имеем,— взвизгнуло в задних рядах.

Эти задушевные, видимо, каждому близкие мысли — мигом, как искры, сверкнули по хмельным глазам. Толпа передернулась нервно, вдруг торопливо и беспорядочно загалдела, бессвязный крик-гам заполнил сразу все здание — словно чуткий мгновенный ток промчал по казарме и рванул, заставил ее содрогнуться:

— Ага... га... га... Хо-хо... Правильно... Ясно... Довольно! Больше никаких! К черту! Мать... мать... мать...

— Если бы и хотели — чем мы вас вооружим, товарищи? У нас же нет никакого оружия в запасе...

— Найдем...— отозвалось надменно, уверенно эхо...

— Как найдем — где? — застыли мы в вопросе.

— А так и найдем, сами знаем — где...

Это звучало угрожающе. Оружие у нас хранилось в крепости,— его назначение было совсем иное, во всяком случае не для этого батальона. Затем шел транспорт из Копала — там было оружие плененной белой армии. Отдел снабжения сообщал, что транспорт этот движется медленно и находится пока вовсе недалеко от Копала...

— Нам нельзя без оружия, никак нельзя,— выкрикнул резкий голос из толпы.

— Товарищ, выходи сюда говорить, чтобы все слышали,— предлагаем мы.

— Ничего, и здесь постоим, кому надо — услышат...

Окружающие дружно, сочувственно рассмеялись. Это нам как бы пощечина: не на таких, дескать, напали дураков, чтобы ораторов вам тут на вид ставить: Все говорили, со всех и ищи потом, ежели што...

— Нам нельзя без оружия,— выкрикнул вновь тот же самый голос,— потому киргиз вы начали вооружать... Войска киргизские равнять, а нас — вон отсюда, из Семиречья-то...

Настроение толпы вдруг вскочило еще выше, отклики-протесты посыпались горохом,

— Гнать из Семиречья? С земли? Одних вооружать, а других — вон? Нет, погоди... постой... не удастся... увидим еще... Нет, брат...

Мы разъяснили — почему и для чего создаем Киргизскую бригаду, но по холодным, суровым лицам слушающих прыгало откровенное недоверие: ладно, мол, болтай что хочешь, а мы знаем.

Перепалка в казарме длилась часа четыре.

Уж чего-чего только они нам не советовали, о чем не спрашивали, чего не требовали:

Всех киргизов немедленно разоружить или выслать их из области, а дальнейшее формирование — остановить.

Армию на отдых и на работы отпустить по домам на целый месяц.

Всех пленных офицеров, которые где-либо теперь у нас работают, немедленно с работ снять и расправиться с ними «соответственно».

Прекратить *грабеж* хлеба у крестьян (так на их языке называлась хлебная разверстка) и не посылать больше туда «никаких агентов».

Воспретить «трибуналам» расстреливать неповинных людей...

Словом, требований было предъявлено нам великое множество. На каждый вопрос, как бы он ни был нелеп и дик, мы просто и серьезно старались ответить, отбросив полемический гнев, то и дело сдерживая себя от готовой сорваться с губ обиды и злости.

Когда же в бешеной пляске проклятий, оскорблений, хулиганских выкриков, метавшихся подобно воронью над головами, вопросы исчерпались и стали безтолку повторяться вновь и вновь — мы поторопились окончить эту позорную, отвратительную бутаду.

— Итак, скоро вам по приказу выступать на Ташкент! — говорили мы уходя.

— Никуда не пойдем...

— Как не пойдем,— значит, приказ не признаете?

— Вооружить всех, иначе и месяц и два будем стоять, а из Верного не уйдем... Вооружить немедленно!

— Мы же вам объяснили, товарищи...

— Да нечего и объяснять было — зря старались,— срывали нас на полуслове.— Вот двадцать шестой придет, мы сами тогда *объясним* все, даже и спрашивать-то вас не будем...

— Двадцать шестой далеко, он за вами пойдет...

— Нет, не за нами... Мы подождем...

Выяснилось, что с быстро катившим сюда 26-м полком у них уже установлена связь, и ждут они его с часу на час.

Чего тут дальше болтать вхолостую,— мы заскочили на коней, медленно отъехали за казармы и пустили карьером, словно хотелось как можно скорей умчаться от этого гиблого, гнилого, зловонного места.

А когда поехали шагом — держали беседу-совет.

Видим: настроен батальонишко пакостно.

Казалось бы, было самое для нас простое и подходящее,— обезоружить скандалистов, вызвать и выловить зачинщиков, махровых хулиганов, а остальных выпихнуть быстро на Ташкент, согласно приказа. Чего тут церемониться с этакой братвой?

Но дело обстояло не так-то просто. Прежде всего — срок выступления батальона на Ташкент еще не пришел, а ежели мы прежде времени разоружим его «за неподчинение»:

— Позвольте,— скажут нам,— мало ли что кто болтал на митинге, это все были пустые разговоры. А батальон в свой срок уйдет. За что же вы оскорбляете: обезоруживаете, наказываете нас?

И пошла и пошла бы кутерьма: не распутаешь.

Затем — что значит отнять девяносто две винтовки?

Они же все равно, эти девяносто две, не решают никакого события. Не в них главная угроза.

И, наконец, обезоружив,— ой, как мы накалим атмосферу! А ведь здесь, в Верном, часть 25-го полка, тоже настроенного буйно, здесь караульный батальон, вполне с джаркентцами солидарный... Нет, нет, не стоит и гусей дразнить. Посоветовались мы на ходу и решили пока что батальон не трогать.

Это было 11 июня, часов в пять вечера.

В областной семиреченской «Правде» некий смутный репортер писал:

«Изживая первую стадию революционной борьбы — борьбу разрушительную на кровавом фронте, переходя на бескровный фронт, на борьбу с экономической разрухой и массовой темнотой, сам собою подымается на поверхность вопрос о привлечении в ряды борцов всех трудоспособных слоев общества на эти бескровные фронты труда.

Предыдущий опыт достаточно сильно убедил, что для успешного и скорого проведения в жизнь какого бы то ни было дела или начинания необходимо вначале объединить имеющиеся в стране трудовые силы и пробудить в них сознательное, а следовательно, и воодушевленное отношение к данному начинанию.

Безусловно, сознательное и воодушевленное отношение к делу возможно только при наличии известности принципов, положенных в основу дела, характеризующих предшествовавший причинный момент и приблизительно в такой же мере освещающих конечный результат.

Эти принципы хорошо известны членам РКП, и они с огромным воодушевлением и дисциплиной выполняют всякую работу. Что же касается беспартийных масс, до сих пор стоящих в стороне от активного социального строительства и даже во многих случаях не проявивших своего отношения к советской власти, приходится информировать их о принципах и задачах партийного строительства, чтобы путем обмена мнений на деловом собрании вызвать их к активному участию в созидании социального строя.

С целью привлечь беспартийные массы красноармейцев к сознательному активному участию, в связи с переводом армии на трудовое положение, в борьбе с экономической разрухой и к строительству новой жизни на социалистических началах, была созвана беспартийная конференция красноармейцев Верненского гарнизона на 10 июня 1920 года.

В назначенное время эта конференция была открыта и начала рассмотрение предстоящих вопросов пением «Интернационала».

На повестке дня стоит семь очень важных по сложности и по содержанию вопросов:

1. Текущий момент.
2. Экономическая политика советской власти.
3. Национальный вопрос и нац. политика.
4. Военная политика советской власти (в частности военные специалисты).
5. Задача советской власти и советское строительство в Туркестане (в частности, о среднем крестьянстве).
6. Земельный вопрос.
7. Текущие дела.

На конференцию прибыло 165 делегатов. Безусловно, решения такой многолюдной конференции будут отражать настроения широких масс и будут иметь огромное, авторитетное влияние на населенье Семиреченской области».

Никакого, товарищ репортер! Решительно никакого влияния на население и красноармейцев конференция эта не имела.

Даже наоборот: они на нее оказали маленькое «влияние», вид давления: насильственно придушили.

Открылась конференция 10-го. Счастье председательствовать в этом омуте досталось мне. Первый и второй вопрос интересовали аудиторию мало,— совершенно было очевидно, что вся она прогвождена иными вопросами, иными думами, и нет ей теперь никакого дела ни до Польши, ни до Врангеля, ни до «индустриализации»,— тут есть дела и интересы поближе, похлеще, породнее: свои, семиреченские!

По национальному вопросу шебуршили много, а больше всего опять-таки знакомое:

— Зачем киргиз вооружать? Зачем бригаду создавать киргизскую?

С большим трудом удавалось выдерживать вопрос в плоскости принципиального обсуждения,— то и дело выковыривали из него что-нибудь свое, разлюбезное и начинали крыть почем зря.

К четвертому вопросу, под напором общих требований, пришлось делать в повестке дня прибавление: «в частности, военные специалисты».

А вышло так, что одну эту «частность» и прищучивали. Жарко на ней посеклись.

В пятый вопрос добавка вставлена опять-таки под напором. Кричали:

— Какие тут у нас кулаки? Все говорят: «кулаки, кулаки». На всю область один середняк стоит,— вали, записывай на повестку: «о среднем, мол, крестьянстве».

Записали. На этом вопросе горячий скандал был в том месте, где заговорили о продразверстке. Что тут было — только ахнуть!

После митинга в Джаркентском батальоне я поехал открывать вечернее заседание конференции. Открылось в шесть, кончили в половине одиннадцатого. Назавтра ждали мы главного боя: будут обсуждаться наказы, которые получили делегаты от своих выборщиков. Частично нам известны уже были эти наказы — ужас белый: всех долой и разоружить, никаких больше не надо «насилий советской власти», оставить в силе вооруженного до зубов одного лишь тугого, крепкого мужичка — он и будет хозяином области.

На этих наказах, кто знает, как разгорелись бы страсти. Но не суждено было им огласиться, не суждено было конференции проскочить до резолюции: ночью грохнуло восстание.

После заседания конференции — у всех у нас тошное, паршивое состояние духа, будто объелись какой-то клейкой терпкой гадостью. В самом деле — эти речи, призывы наши, разъясненья, убежденья, просьбы — к кому они обращены? Кому они в чем помогли, кого образумили? Ухнули они будто в бездонную бочку, а из бочки навстречу им вырвался торжествующий, злорадный хохот. Стоило ли дальше упражняться столь бесплодно, надо ли тратить время на голые разговоры, вслед которым несутся лишь одни, всё одни крики и угрозы:

— Не трожь крестьянский хлеб!

— Долой продразверстку, долой, долой!..

— Разоружай немедленно мусульман!

— Не трожь войско из области!

По каждому вопросу — только эти слышишь протесты и требованья, только хлещет через край жадная забота о шкуре, а пониманья обстановки — нет его, вовсе нет, и никому не хотят, не будут они помогать, кроме самих себя.

Но нет — успокаиваем мы себя — это лишь видимость одна, будто совершенно *бесплодно* минует конференция, будто втуне останутся все речи, призывы, убежденья... Этого никогда не может быть: нужные, большие слова найдут себе нужное место, и пусть промчатся мимо десяти, двадцати голов — зато в двадцать первой осядут, произведут свою непостижимую, неуловимую работу, как-то по-иному перевернут мозги, и рано или поздно этот мозговой поворот даст себя знать. Ради этих даже десятых-двадцатых надо делать подобное дело: оно окупит себя впоследствии, хотя бы и вовсе неуловимыми и вовсе неприметными фактами!

Так, казалось бы, надобно было рассуждать и насчет нашей конференции. Но под живым впечатленьем пережитого в казарме позорного содома, словно заплеванные — мы были во власти тяжелых, смутных настроений.

Сидели грудкой, обсуждали-перебирали подробности дня, взвешивали обстановку. Потом разбрелись по комнатам.

Уж поздний вечер. Дело к одиннадцати. Вдруг торопливым шагом вбегает Муратов, по привычке на ходу срывает запотевшее пенсне, поблескивает осоловелыми без стеклышек смешными и беспомощными глазами:

— У нас неблагополучно...

— Где?

— В городе нехорошо... Среди красноармейцев брожение. Происходят какие-то таинственные приготовленья...

— Откуда все знаешь?

— Масарский говорил,— у них от особого есть там ребята — они и сообщали... Сейчас только прибежали...

Звоню Масарскому в особый:

— Приходи, есть срочный разговор...

Только Муратов ушел, как явился Белов, за ним в дверях показался сотрудник шифровального отделения,— не помню теперь его фамилию, но помню, что парень был верный, в штадиве стоял на хорошем счету.

— Вот послушай-ка, что расскажет,— скороговоркой выпалил Панфилыч и головой мотнул в сторону шифровальщика, а тот, не дожидаясь вопроса, заторопился:

— Прибегали в комендантскую команду какие-то два неизвестных...

— Когда?

— Да вот только что... недавно... И сообщили, что ночью будет два сигнальных выстрела... По этим выстрелам все красноармейцы должны подыматься...

— Подыматься?

— Да.. Подыматься и выступать.

— Куда выступать?

— Не знаю... Ничего никто не знает, но по выстрелам тотчас выступать...

— А что вы не задержали этих двоих?

— Не успел никто... А они, как только объявили,— сейчас же бежать. Да и ночь, видите — темная...

За окном чернела густая тихая ночь.

Мы еще минутку поговорили о самой команде штабной — как отнеслась, каково настроение в данный момент, что можно ждать от нее. Рассказчик мало что мог сказать точно, а в догадках путаться не хотел. Мы его отпустили.

Белов тут же сообщил новую неприятность:

— Говорили мне, что транспорт с оружием, шедший из Сарканда, красноармейцы разбили и растащили...

— Надо сейчас же проверить...

— Конечно... Я от тебя побегу к начснабу... потом ворочусь...

— А я жду Масарского — он сейчас все расскажет о казармах...

Масарский подскакал верхом, быстро вбежал и впопыхах обычным частым говорком затараторил:

— В казарме дело дрянь... Я послал сейчас еще новых агентов... Но ясно и без того — собираются что-то делать...

Ная в это время звонила ребятам, чтобы собирались ко мне немедленно, а верный друг, Медведич, поседлал нашего любимого Жучка и обскакивал тех, кого телефоном было трудно нащупать...

Через несколько минут собрались: Позднышев, Кравчук, Шегабутдинов, Рубанчик, Верменичев, Мамелюк, Никитченко, Альтшуллер, Колосов — словом, набралось человек десять — двенадцать[1]. Между прочим, Никитченко сообщил, что, едучи сюда, слышал со стороны казарм два выстрела... В комнатке за шумом они не были слышны...

По всем этим обрывочным сведениям нельзя еще было вывести ничего определенного, было ясно лишь одно: казармы неспокойны и к чему-то готовы...

Но как же, как и чем предотвратить нам готовую ударить грозу? События заскакали с быстротой невероятной.

— Товарищи, положение таково, что медлить нельзя ни минуты... Мы должны быть готовы ко всему. Надо встретить опасность организованно. Сейчас же распределим свои силы. Прежде всего — создадим штаб... человека в три. Одному в такой обстановке нельзя!

Назначили троих: Мамелюк, Фурманов, Муратов... Через несколько минут воротился Белов. Он в боевом нашем штабе занял место Мамелюка. О транспорте с оружием — горькая правда: его разбили, и все оружие теперь разграблено... О, черт дери!

— Штабу надо немедленно подсчитать и мобилизовать все наличные силы... Взять на себя руководство событиями... Сосредоточить в руках у себя часть оперативную[2]. Связаться с особым отделом, трибуналом,

---

[1] Кондурушкин в это время объезжал область и был в Пишпеке; Кушин после джиназаковской истории уехал в Ташкент; туда же уехал в командировку и Полеес.

[2] Надо сказать, что военный совет хотя и существовал, но пока больше теоретически — в работе он себя еще не проявил. Мы, по старинке, держались за управление уполномоченного, но

партийной школой, комитетом партии, ротой интернационалистов. Все и всех поставить на ноги. Прикинуть план действий в зависимости от того, что передадут сейчас новые агенты особотдела, только что отправившиеся в казармы...

В дверь постучали, вошел быстрым ходом Донских — командир Джаркентского батальона. Лицо бледно, глаза горят, дыханье порывисто... Он к нам скороговоркой:

— Батальон у меня весь на ногах. Построился... собрались куда-то все выступать — надо быть, на крепость. Никто ничего не говорит, меня сторонятся... Хотели арестовать — убежал... Народу у казарм масса, и все вооружены — не знаю, откуда достали оружие... Заметил среди своих много чужих, незнакомых лиц...

Мы его выслушали с затаенным волненьем, внимательно, но недоверчиво:

«А что, как утка? Вряд ли комбат не знает, что у него делается — не подвох ли тут?»

И мы ему в благодарность за рассказ:

— Пока побудь,— говорим,— в соседней комнате, никуда не уходи, у дверей будет охрана. А мы все эти сведения сейчас проверим...

По всем направлениям была у нас уже выставлена связь, пустили несколько разведок из трибунальской и особовской команд, наказали захватывать и приводить подозрительных...

— Ты, Шегабутдинов, направляйся живо в караульный батальон, выясни там положение, скажи хоть по телефону, что делается и что там надо делать...

Линденбаум — в интернациональную роту, Никитченко — к трибуналу! Панфилыч выяснял с командой штадива.

Вдруг прилетела весть:

— Пошли... Выступили...

— Кто, откуда?

— Из казарм... На крепость пошли...

в данном случае ни уполномоченный, ни начдив не смогли бы единолично выступать от имени всех организаций. Был нужен боевой штаб.

— Много?

— Пока встретилось человек сорок — пятьдесят... Надо сейчас же перехватить путь! Кого послать? Отрядили интернационалистов двадцать восемь человек,— наперерез, ближними к крепости путями. Дали задачу:

— В крепость не впускать. Постараться обезоружить. Стрелять лишь в крайнем случае. Сразу же завязать переговоры. Потребовать, чтобы сложили оружие.

Интернационалисты поступили проще всех наших советов и наказов: присоединились к восставшим и вместе с ними очутились в крепости. А крепость — ни выстрела, охрана крепостная не противилась. Там были все те же, семиреченские, «свои»: и ворота открыли и замки посшибали: бери что хочешь.

Когда мы узнали, что посланный отряд перешел к восставшим,— захолонуло сердце...

Эта же рота была *надежнейшей* нашей частью. А теперь на кого положиться? Правда, ушла только ее частичка, но где уверенность, что через час не уйдут и все остальные?

Шегабутдинов звонит из карбатальона:

— Батальон выступил на помощь восставшим, пошел в крепость...

— Весь ушел?

— Нет. Осталось человек пятьдесят мусульман — я сейчас посылаю их к вам.

— Да, немедленно, только не сюда. Мы со своим штабом переходим в штадив... Туда и посылай!

В темноте спускались с крылечка Белоусовских номеров, шли почти ощупью в чуткой, затаившейся, мраком укутанной улице.

Торопились. Ничего по пути не говорили, быстрым шагом, спотыкаясь и бранясь, спешили скорей к штадиву.

— Алеша,— дали Колосову задание,— ты несись в партийную школу и, вооруженную, приводи сюда.

Алеша мигом за дело.

Верменичев тем временем, как член областного комитета партии, с нашего общего согласия дал от

имени обкома знать уездно-городскому комитету, что надо экстренно собрать партийцев и в строю, вооруженных, привести к штадиву.

Через несколько минут под командой китайца[1] Масанчи из караульного батальона пришел посланный Шегабутдиновым отрядик в пятьдесят четыре человека — мы ввели его во двор штаба.

Во дворе тревога: шмыгают тени взад-вперед, что-то перетаскивают красноармейцы торопливо в разные стороны, кому-то кто-то строго, кратко отдает у крыльца приказанье — слышны только чеканные отдельные слова; проволокли к воротам пулемет, у изгороди конь кусанул соседа под гриву, и тот взревел,— стоявший рядом красноармеец вытянул забияку прикладом; на крыльцо и с крыльца штадива то и дело скачут черные силуэты,— двор в тревоге, в возбужденном, беспокойном броженье... Мы все в штадиве сбились в большой, слабо освещенной комнате, за дубовым широким столом, подсчитываем силы. Вот они, наши силы:

Команда трибунала	60	чел.
» особотдела	75	»
Рота интернационалистов	100	»
Партийная школа	40	»
Комрота штадива	60	»
Остатки карбатальона	50	»
Городская парторганизация	20	»[2]

Это — наличность штыков. Итого — около четырехсот. Сила немалая. Да, немалая, кабы верная да надежная...

— Тш... ш... ш... Это что?

Мы прислушались,— доносилась издалека все явственней и громче боевая походная песня:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой...

Кто может быть? Неужто идут? Но мы ждем ведь удара совсем с другой стороны, от сквера. А там

---

[1] Некоторые товарищи сообщали, будто Масанчи дунганин, а не китаец.

[2] По анкетам, в городской организации вооруженных членов партии было только 20 человек.

повсюду разведчики наши и дозоры. Кто же это может идти под боевую-походную?

Жена Горячева, жена Кравчука, Ная, Антонина Кондурушкина — эти все время с нами, вместе пришли в штадив, приготовились разделить общую долю. Они были теперь особенно к делу: надежней не найти разведчиц!

— А ну, в разведку...

Они срываются с подоконников, исчезают и скоро сообщают радостное:

— Подходит партийная школа...

Она прошла кругом и близилась переулками, значительно левее того пути, по которому мы ее ждали.

Пришла и погрузла во двор, пропала, растворилась в суете его и тревоге.

Вооруженные чем только было возможно, мы каждую минуту ждем удара. Уж все готово к встрече: колонками построено во дворе, цепочкой растянуто вокруг штадива, открыли тонкие хищные глотки черно-глянцевые пулеметы, чуть позванивают штыками тяжеловесные винтовки.

Мы зорко, чутко наблюдаем за сквером.

Ударом готовы ответить на удар. Но знаем заранее, что это не выход. Это неизбежное, но *так* вопроса не разрешить. Быстро советуемся, обдумываем, выщупываем обстановку.

Вот они развертываются, события,— их надо учесть и разом и с разных сторон:

Отношения с Китаем... Угроза Анненкова-Щербакова... Угроза новой национальной резни... Шеститысячная белая пленная армия...

Перед нами выросла живо грозная перспектива мятежа: если только победа окажется на стороне мятежников — дикая вакханалия расправ, бессмысленных зверств и жестокой мести, грабежи, пожары кишлаков и сквозь этот ужас — белый генерал на коне...

Да, это не фантазия, это очень, очень реальная перспектива.

Иного и быть не могло, если только понять всю многообразную, напряженную, путаную обстановку и

сложные взаимоотношения, что имелись тогда в Семиречье...

А как предотвратить? Что делать с *такими* силами, как у нас? О, конечно, будь это настоящие, надежные, верные бойцы — может быть, одним ударом сокрушили бы мы все планы мятежников. Ведь и четыреста человек — сила. Но эта наша сила — не та, с которою ходят на приступ.

Мы уже знаем, что в крепости больше тысячи штыков, знаем, что туда красноармейцы непрестанно перебегают изо всех наших команд, что бежит туда население из соседних станиц,— оно мгновенно узнало обо всем, а может, и раньше знало.

Там, в крепости уж давно разбиты склады, и из складов этих делят оружие приходящим... Там три орудия — у нас ни одного; там до десяти пулеметов — у нас три...

Вся область сочувственно откликнется мятежникам, она только и ждет, как бы прогнать этих сборщиков продразверстки, этих злодеев большевиков, что хотят теперь перебросить войска в Фергану, а сами вооружают мусульман... Крестьянское Семиречье будет все на стороне мятежников... Не вступится за нас город, не вступится и станица, а киргизская беднота, кишлак туземный — что он поделает, безоружный, против вооруженных полков? Ташкент — шестьсот верст за горами, и все шестьсот — без железной дороги. Если бы подмогу оттуда — долго ждать. Блажевич из Сибири — когда-то подойдет. Скорой подмоги нет ниоткуда. Свои силы... да что ж это за силы!

А мятеж жарко горит-разгорается. Быстро идет и вглубь и вширь. Чем позже подступимся мы к активной его ликвидации, тем меньше надежды на успех, тем труднее будет это сделать. Делать надо что-то теперь же, в первые часы и первые минуты, надо теперь же, сразу, безошибочно избрать какую-то единую линию действий и вести ее, осуществлять — с железной решимостью, во что бы то ни стало, до конца.

Быстро скакали мысли; один другому мы сообщали свои летучие планы. Договорились на одном, на общем:

1. Не нападать, а обороняться и принять удар только как неизбежность.

2. Помнить, что первый же выстрел — это сигнал к национальной резне, он развяжет руки,— провокация доделает свое.

3. Попытаться завязать переговоры.

4. Идти на максимальные уступки, помня, что они — временны.

5. Запросить тем временем Ташкент о помощи.

6. Подтянуть ближе к Верному более или менее надежный 4-й кавполк, стоящий почти за двести верст, но раньше времени без нужды в дело его не вводить.

7. Связаться немедленно со всеми другими частями и оповестить их вразумительно, без паники, спокойно, о некоторой части случившегося, не обо всем.

8. Выпустить листовку.

9. Локализовать мятеж на месте, удержать его в пределах только Верного, не дать переброситься на периферию.

10. Никому и ни в какой форме не давать чувствовать до последнего момента, что перевес сил не на нашей стороне, иначе ободренное этим население ускорит и увеличит помощь восставшим.

11. Держаться нам всем вместе, сообща обдумывать свои действия.

Так сообразили и так второпях набросали мы план своих действий.

Надо было применить политику лавирования, надо было до последней степени напрячься силами, изощриться, испытать себя во всех ролях зараз: и парламентером, и дипломатом, оратором, командиром, рядовым бойцом.

Надо было ко всему быть готовым.

Но до последней минуты держаться на посту, ни на один миг не спускать с глаз того, что грозит столь ужасающей катастрофой. Конечно, тут два выхода, и один из них очень уж прост: пожалеть свою шкуру, особенно же теперь, когда выяснилось, что силы неравны, а удар близок — пожалеть шкуру, поседлать коней и горами проскакать, положим, на Пишпек.

Это простой и безопасный ход: спасались-де от верной смерти — и баста: кто осудит, коли бежали от верной смерти?

А дальше? Дальше власть берут мятежники, дальше что-то непредставимое: сплошная черная ночь, а в ней полыхающие кровавые языки.

И есть другой выход: не выпускать вожжей, как бы ни мчались бешено кони, верить до последнего дыханья, что утомят, собьют их кочки и рытвины, что по пути, а если, вдобавок, ты еще и сколько-нибудь умело станешь дергать вожжами, в нужную минуту рвать им, коням, пенные, мыльные губы, сбивая на дорогу, которая нужна тебе,— о, поверь: и бешеные кони угомонятся, останешься жив, с честью спасешь и коней и себя!

Ни одного мгновенья не колебались: крепко решили держаться на месте, а там — будь что будет!

Около четырех утра прямым проводом связываюсь с Ташкентом. К аппарату подошел заместитель Фрунзе, командовавшего тогда Туркестанским фронтом, Федор Федорович Новицкий. Объясняю ему все происшедшее [1], спрашиваю, с одной стороны, мнение фронта о нашем плане действия, с другой стороны, ставлю вопрос о реальной нам помощи из Ташкента вооруженной силой. Не помню точно, что мы с ним говорили, но только, посовещавшись наспех по телефону с Фрунзе, Новицкий сообщил, что пошлют бронеотряд и фронтовую роту. Заикнулся я было про аэроплан — о нем оттуда промолчали: ни да ни нет. В заключение было нам приказано провозгласить — ввиду исключительной обстановки — свою военную диктатуру.

О нет, диктатуру провозгласить в тот момент было чрезвычайно опасно. Диктатура действительно провозглашается в исключительнейшие моменты, но для осуществления ее на деле нужно все-таки обладать хоть

---

[1] Этого первого разговора у меня не сохранилось, и в делах я его не нашел.

какими-то надежными силами, иначе — что ж это будет за диктатура: тут ведь не пугать надо, а непременно быстро, решительно делать то, о чем сказал. И если только раз-два не выполнил обещанного, не осуществил того, чем угрожал,— провалилась твоя диктатура, никто серьезно считаться с нею не станет, она превратится в карточный домик и разлетится от малейшего дуновения ветерка. У нас сил для проведения диктатуры не было: имевшиеся — каждую минуту могли обернуться против нас же самих, в лучшем случае они бросят нас, исчезнут, рассосутся. Методы диктатуры всегда жестки, и осуществлять их пригодны лишь верные, крепкие, глубоко преданные...

А эти? Наши? Нет, нет, немыслимая затея: только озлобим крепостников, вызовем их прежде времени на решительные и, может быть, решающие шаги. Наоборот, нам придется, видимо, действовать мерами диаметрально противоположными, бить на утишение страстей, на разжижение сконцентрированного ныне гнева мятежников, придется охлаждать пыл и всячески умерять у них размах действий... Именно с этой целью мы уже вскоре и отослали партийную школу в крепость для тайной агитации. Пусть мы этим отдирали от себя последнюю силу. Но так было необходимо. Крепость сгоряча мало разбиралась в приходящих, всех привечала, всем была рада, всех зачисляла своими сторонниками и, если было оружие, тут же вооружала. Мы были уверены, что не узнают, приветят там и наших посланцев.

Так оно и было. Они там рассыпались среди крепостников и повели разрушительную работу. А нам то и дело приносили свежейшие новости. Но так было недолго: перебежчики разных верненских команд вскоре начали их опознавать, и пришлось партшкольцам утекать восвояси.

Как это ни удивительно, а телефонное сообщение с крепостью сохранилось, и от времени до времени затевались у нас даже разные безответственные разговоры. Мы нащупывали почву. Говорили о том, к примеру, что для обеих сторон было бы очень выгодно сойтись и поговорить о создавшемся положении,—

может быть, будут найдены, дескать, точки соприкосновения, может быть, все уладится наилучшим образом.

И по ответам крепостников можно было заключить, что там колеблются, раздумывают над этим предложением, во всяком случае наотрез не отказываются. Наконец согласились:

— Пришлите сначала к нам в крепость несколько человек, здесь и поговорим.

Ну что ж, дело хотя и опасное, но предложение надо принять: два-три человека больше или меньше — положения все равно не спасут. А из попытки, может, что и выйдет. Только бы начать — там уж само пойдет. Мы снарядили делегацию: Шегабутдинов, Муратов и помначснабдива Ефимов. Кажется, там, в крепости, присоединился к ним и Агидуллин, помощник и близкий товарищ Шегабутдинова, впоследствии все время служивший нам связью с ним, когда обстановка заставила Шегабутдинова играть трудную и опасную роль.

Делегация уехала. Мы нервно ждали результатов: то верили, то не верили в благополучный исход. Ловили каждый звук, долетавший от крепости. Кто-то уверял, что встретили дружно. Кто-то говорил, что избили при первой же встрече. Уверяли, что делегацию, обезоруженную в воротах, увели на расстрел в глубь крепости. Наконец, трое или четверо, прибежали партшкольцы и сообщили достоверное: крепостники говорили с делегацией мало, грубо, угрожающе, затем арестовали и посадили в крепостную тюрьму. В крепости усиленное брожение,— верно, к чему-то готовятся к решительному...

Впрочем, что ж тут нового — мы и без того каждую минуту ждем удара.

Весть об аресте делегации вырвалась на волю, побежала по городу, в ближние деревни, в кишлаки.

Всякие вести и слухи переносились тогда с изумляющей скоростью. Буквально через минуту все значительные новости узнавала сразу широкая округа — тут помогал и телефон и живая связь, прежде всего крепостная конница.

В делегации арестовали Шегабутдинова. Об этом живо узнало туземное население. И помчалась роковая весть: брошен-де вызов, подан сигнал, *наших* хватают, сажают в тюрьмы. Готовьтесь к бою. Живей, живей, подымайтесь живей!!

Масанчи в штадиве встревоженно докладывал:

— Только что прибежала партия киргизов. Они у меня требовали оружия, чтобы идти на крепость освобождать Шегабутдинова... Хотели скакать в горы, подымать кишлаки. Уверяли, что быстро поставят на ноги целое войско. Но оружия у меня нет, они вернулись ни с чем... Мусульманство перепугано и взволновано до крайности. Многие попрятались, боятся резни... многие убежали в горы, молятся, спасаются кто куда...

Мы приказали Масанчи принять сейчас же меры через близких ребят и оповестить туземное население, что ничего особенного не случилось, что слухи о грозной опасности преувеличены и в большей части ложны, что Шегабутдинов в крепости вовсе не арестован, а остался лишь для переговоров.

В это время доложили, что человек двенадцать крепостников подошли к воротам штадива и хотят вести с нами переговоры. Их впустили. Провели сюда, в штадив, в главную комнату, где собирался и заседал непрерывно наш военный совет.

— Мы, делегаты крепости и восставшего гарнизона,— объявили они нам,— пришли поговорить с вами о разных важных вопросах.

Мы, конечно, сразу про наших арестованных: почему посажены, где сейчас, будут ли выпущены и как скоро?

Крепостники заявили, что наши товарищи уже на свободе, сейчас приедут сами, а «арестованы они были по ошибке и неизвестно кем».

Явная чепуха, но мы не возражаем, сносим молча.

Мы наблюдаем зорко их поведенье, замечаем, как стараются они распылиться по одному, заглянуть сюда и туда, понюхать, увидеть, узнать, в каком положении наши дела, какими средствами и силами распо-

лагаем. А мы как будто случайно прихлопываем наглухо одну дверь за другой, не выпускаем их из тесного кольца, в пустой комнате ведем пустые разговоры. Уж сразу видно по уклончивым ответам делегатов, что толку от них никакого не будет, что пришли они сюда единственно как сыщики и всем их словам и завереньям грош цена.

— Так почему же, говорите, задержали наших представителей?

— А не знаем,— уклоняются они,— мы этого не знаем. Мы на это не уполномочены...

Говорят и все переглядываются: дескать, не обмолвился ли я чем опасным?

— Мы только присланы сообщить вам, что крепость настроена очень миролюбиво... (Миролюбиво... миролюбиво...— прогудели в поддержку три-четыре голоса...) и так же не хочет проливать кровь, как вы. Ваши делегаты об этом говорили нам в крепости, вот мы и пришли уверить вас, что тоже настроены мирно... (Мирно... мирно...— прогудели снова голоса.)

— Тогда в чем же дело, товарищи? Из-за чего, собственно, выступил гарнизон, какие вопросы вас особенно встревожили,— давайте попробуем договориться.

— Нет, мы этого не можем...

— Да, не можем, совсем не можем... никак не можем...— поддержали крепостники говорившего.

— Почему же нет? Ну, хоть только предварительно...

— И предварительно не можем, на это нас не уполномочили, мы всего-навсего пришли успокоить вас...

— Но почему бы вам не вывести войска из крепости и не начать с нами настоящие, серьезные переговоры...

— А вот двадцать шестой полк придет...

— Что двадцать шестой?

— Когда придет, тогда и поговорим... Без него мы говорить не можем, надо сразу за всех объяснять...

Так мялись уклончиво добрых полчаса.

Мы хотели было повести протокол этого «совещания» и подписаться под тем, что заявляют обе

стороны. Но крепостники наотрез отказались и никак не хотели даже назвать свои фамилии.

Дело не клеилось. Они держались двусмысленно, ни слова не сказали путного, долбили одно:

— Мы только успокоить... Мы пришли вас только успокоить...

Нет уж, спасибо за этакое «успокоенье»: ишь как выглядывают, сквозь стены стараются рассмотреть — что там укрыто.

Сидим, полные взаимного недоверья, ловим друг друга на каждом слове, прощупываем, выпытываем, один другого сбиваем и путаем, выстукиваем-определяем слабые места.

С крепостной делегацией пришел и Сараев, верненский комендант, которого крепостники арестовали, держали долго где-то под запором, а теперь решили использовать:

— Если не воротишься,— заявили ему,— знай, что и Муратова и Шегабутдинова прикончим...

Мне все хотелось поговорить с Сараевым с глазу на глаз, узнать у него точно, что там творится в крепости, но сделать этого никак было нельзя, мы сидим у всех на глазах, и за ним, за Сараевым, крепостники усиленно следят. Мы только встретимся глазами,— и вижу я по его серьезному, тревожному взгляду, что неладно дело. Он в ответ на вопросительный мой взгляд только медленно, значительно покачивал головой:

— Плохо, дескать, очень плохо...

Но поговорить так и не удалось.

Пока сидели мы и толковали, крепость по телефону запросила прислать новую — полномочную делегацию, с которой могли бы там срочно обсудить все «наболевшие вопросы красноармейцев».

Делать нечего, надо слать, и слать именно теперь, пока крепостная делегация у нас. Мы ее не выпустим до тех пор, пока наши ребята не вернутся обратно...

Собрали четверку, послали: начподива Кравчука, Павла Береснева и двух курсантов — Копылова и Седых. Задачу им дали — не договариваться окончатель-

но, а только пощупать почву, осмотреться, уловить крепостные настроения, приглядеться к главарям, прикинуть силы крепости, узнать, чего она определенно хочет, как будет этого добиваться и до какого предела нам необходимо уступать...

Снарядили, послали. А мы тут, в штадиве, продолжали с этой невинной делегацией вести целомудренную болтовню.

Пару слов надо сказать о делегате нашем, Павле Бересневе. Его накануне восстания за какие-то старинные, а может быть, и новые грехи собирался арестовать особотдел. Поздно вечером, когда закончилось заседание конференции, часов в десять Береснев пришел искать защиту в штаб дивизии и обратился к начдиву Белову, а тот отложил дело до утра. Береснева пока оставил у себя, в штадиве, а рано утром хотел выяснить все лично с Масарским. Но утром — вот оно что случилось! Тут, разумеется, было не до Береснева. Иные из наших товарищей уверяли, что Береснев и есть главный вождь мятежа, что он это все лишь подстроил и с целью толкается в штадиве, чтобы знать все самому непосредственно и в нужную минуту, когда все ему станет ясно, даст приказ о нашей кончине!

— Остерегайтесь Береснева,— говорили они,— это известный бандит. Он такие тут по Семиречью штуки выкидывал, что давно повесить надо... Арестовать его следует немедленно и держать до конца...

Надо сказать, что в свое время Береснев командовал всеми войсками Семиречья, считался отличным партизанским командиром, отличался отвагой, безумной личной храбростью и железной волей. Среди своих бойцов он имел большую популярность, но у командования числился на худом счету за попустительства своей братве, которая была так охоча до грабежей и хулиганства. Этому Береснев никогда не поперечил, хотя сам, по-видимому, и был неповинен: просто гладил «бражку» по шерсти, своеобразно охранял свой «авторитет».

К Белову Береснев имел какое-то исключительное доверие и уважением проникнут был необыкновенным,

почему и обратился теперь именно к нему за помощью.

Мы с Панфилычем советовались:

— Посадить не штука, но будет ли толк? Во-первых, крепость разъярится, узнав, что Береснева арестовали, и черт знает чем кончится этот взрыв протеста. Затем, не лучше ли вообще попытаться использовать его в своих целях?

Мы отозвали Береснева в отдельную комнату и сказали примерно следующее:

— Ты, Береснев, человек умный. Ты, конечно, видишь, что эта глупейшая затея, эта каша, что заварили крепостники, дорого им обойдется. Ну, что у них может выйти путного? Ровно ничего. Из Ташкента уж двинуты броневики и пехота,— скоро будет жаркая баня. Они ведь по дури на ура вышли, они и сами не знают, чего хотят. Они думают, что Верный далеко, что раз они за горами — значит, и достать нельзя. Вот погоди-ка, что будет, если только не захотят угомониться. Жарко будет, жестоко будет. Но, знаешь, мы все силы приложим к тому, чтобы обошлось без капли крови. И ты нам в этом помоги. А там, быть может, и мы тебе окажемся полезны... Крепость тебя знает, хорошо знает и даже любит. Ты там — авторитет. Вот мы посылаем делегацию для переговоров,— иди с ними. Поговори и ты — у крепости больше будет доверия к твоим словам, чем к нашим.

И Береснев согласился. Чем руководствовался он — кто знает. Но согласился.

Мы умышленно ставили ему так круто и откровенно вопрос: пусть, думали, перейдет к крепостникам. Зато будет знать, что подмога нам из Ташкента уже идет, а это будет действовать устрашающе, это, может быть, удержит кой от каких шагов. Потом мы сказали ему, что дело хотим ликвидировать бескровно. Это сказали искренно, это и есть основная линия наших действий,— пусть в соответствии с ней и свои строит планы. Затем — и это для него главное — дано понять, что, в случае оказания нам помощи, мы возьмем его под свою опеку и поможем, добьемся, чтобы за эту заслугу простили ему старые грехи.

Так приручили мы Павла Береснева.

Держали на глазах, полной веры к нему, разумеется, не имели, но в дело пустили.

Тем временем в 26-й полк с секретным пакетом послали верного хлопца Лысова.

— Запомни, Лысов,— наказывали ему,— если мятежники прочитают письмо — всему конец. Дальше ждать не станут... Не давайся в руки... и письмо не давай...

Вскакивая на коня, пихая за пазуху пакет, ухмыльнулся Лысов:

— Будет справлено. Будьте в надежде. Если станут отымать пакет — я его в клочья, а сам... эх!

И крепко ударил ладонью по рукоятке нагана.

— Ну айда-айда, Лысов, скачи!

Конь заиграл, взметнул тучу пыли,— пропал по улице Лысов.

Потом узнали, что доскакал он благополучно: переулками пустых окраин выбрался в горы, а там пробирался глухими, неезжими тропинками. Эти места ему близко были знакомы: горное бездорожье служило ему самым близким и верным путем.

В пакете командиру полка описывалось происшедшее и указывалось, как надо поступить со своим полком и как нам помочь в нужную минуту. Сам комполка опасений не внушал, но братва в полку была столь разнузданной, что смахнуть его могла в единый миг: это же опять были почти одни семиреки...

Тем временем и крепость в 26-й полк послала своих представителей.

Но Лысов прискакал первым, насторожил, ко всему приготовил командира полка. Крепостную делегацию, как только она показалась, похватали и посадили в каталажку.

Напрасно крепостники шумели, протестовали, ссылались на свои полномочия, потрясали мандатами, требовали разговоров со всем полком. Их к полку, разумеется, не пустили, а страсти утишили тем, что показали дула винтовок и не шуткой пригрозили. Полк ничего не знал про мятежную делегацию.

А делегация именно к полку и рвалась, требовала,

чтобы пустили ее поговорить на открытом собрании зараз «со всеми братьями-красноармейцами». Это было для нас самое опасное. Тут бы непременно «своя своих познаша». Весь полк согласился бы не с нами,— с мятежниками: это ведь были все те же семиреки!

В нашем пакете указывалось на необходимость полк удержать на месте во что бы то ни стало; крепостников ни под каким видом к бойцам не пропускать; осветить должным образом верненские события как начало белогвардейского восстания, стремящегося свергнуть в области советскую власть. И затем — вынести постановление, закрепить в резолюции готовность полка защищать советскую власть с оружием в руках, осуждая восставших, угрожая им расправой.

Такие же сведения дали мы и 4-му кавалерийскому. Эти сведения попали и в Кара-Булак. Вскоре из всех этих мест действительно примчались в Верный резолюции-постановления:

«Советскую власть в обиду не дадим!»

Это была нам серьезная поддержка. Этими резолюциями потом мы немало козыряли, хотя и знали, что грош им цена, что приди назавтра в город 26-й полк — и через десять минут он будет в крепости, а через двадцать — снимет нам головы.

Да и крепость не без оснований заявляла:

— Какие это резолюции, какая им цена, кто их принимал? Полки-то, наверное, о них и не знают; одни командиры да коммунисты принимали... А ты нам самый полк подавай — мы с ним сами начистоту поговорим.

И уж совершенно очевидно, что, поговорив с полками «начистоту», крепость имела бы их в своих рядах. Мы это знали и потому в своей среде резолюциям цены большой не придавали, хоть и использовали их широко, раздули и нашумели, разгласили, опубликовали, где можно, грозили ими налево и направо.

А силы наши, жалкие наши силы, все таяли и таяли.

Уж давно к крепостникам перебежала комендантская команда, перебежали и остатки караульного батальона, приведенные Масанчи: не то что сочувствова-

ли они мятежникам, а просто боялись оставаться маленькою кучкой против такого сонмища врагов. По этим же соображениям и партшкола начала поговаривать об уходе в крепость; из особовской и трибунальской команд то и дело исчезали отдельные перебежчики, а один особист даже утащил с собою пулеметный замок.

Рассыпались, пропадали наши силы, скоро они и вовсе нас оставили. Ушла партийная школа, ушла и рота интернационалистов.

Всего-навсего осталось нас человек пятнадцать — двадцать партийцев. Теперь о вооруженном сопротивлении и думать было бы смешно: исход дела — мы это понимали — будет зависеть исключительно от нашего уменья лавировать, от спокойствия и выдержки, от крепких нервов и неутомляющейся, несдающейся энергии.

Двадцать человек против пятитысячной разъяренной толпы! Теперь в крепость набежало даже больше пяти тысяч. Вооруженных только — было полторы! Население пригнало лошадей,— там создаются свои конные части.

Словом, растет и крепнет крепость по часам и минутам, а мы, мы силами высохли до дна, остались крошечной кучкой,— мы предоставлены только себе самим.

Из особого отдела сюда же, в штадив, перевезли все ценности, все важнейшие бумаги и дела. Заботливый Мамелюк настоял на том, чтобы и из банка ценности перебросить сюда же. И их перевезли.

Все сгрудились в штадиве, словно на крошечном островке, осажденном ревущей, бушующей гневной стихией.

Наши делегаты из крепости воротились ни с чем, крепостников мы тоже отпустили «голодных», только разожгли им аппетиты намеками на вооруженную подмогу из Ташкента, на наши скрытые силы здесь, в Верном, нашу технику и т. д. и т. д.

Крепость просила новую делегацию. И на этот раз определенно указывала, кого хочет видеть: начдива, военкомдива, двух комбригов, завподивом и т. д.

Нет, довольно, пока не надо показывать, что мы исполняем немедленно их любое желание! Надо повременить, иначе сразу поймут, что мы бессильны и на все

на все немедленно согласны. И, кроме того, почему же это нужны им такие «именитые» делегаты — начдив, два комбрига... Нет, нет, дело ясное: это они хотят снять у нас самый цвет, нашу военную головку. Такую жертву принести не можем.

Мы отказали. Заявили, что в крепости совещаться не хотим, а предлагаем у себя в штадиве. От штадива они отказались. Тогда предложили мы им нейтральное место, не крепость и не штадив,— штаб Киргизской бригады. Крепость помялась, покочевряжилась, но согласилась. Было условлено, что сойдемся там в четыре часа дня, и с каждой стороны будет по десять представителей. Готовились к заседанию, собирали материал, совещались.

Я около этого времени дал Ташкенту телеграмму:

Ташкент, Реввоенсовет Туркфронта,
тов. Новицкому

Сообщаю новые сведения. К батальону присоединились следующие части: караульный батальон, батальон 25-го полка, нештатный артвзвод, милиция, Интернациональная рота за исключением 70 человек [1], и, кроме всего этого, *к ним непрерывно стекается население.* В крепости создан руководящий орган, так называемый Боевой совет. Он намеревается провозгласить свою диктатуру, *оцепить город, разогнать Особотдел и Ревтрибунал.* Это, безусловно, найдет и уже находит широкое сочувствие у населения, которое к данному моменту снабдило восставших лошадьми. *Имеются сведения, что восставшие на днях созывают какой-то съезд.* Ночью восставшими послана делегация в Илийское к 26-му полку, но наказ этой делегации узнать не удается. Двенадцатого в десять часов утра получено сообщение от комполка 26-го по проводу о том, что он делегацию арестовал, но это действие мы считаем проявлением дисциплинированности самого командира, но отнюдь не полка, вероятно, солидарного во

[1] Вскоре ушли и эти семьдесят.— *Д. Ф.*

всем с восставшими, так как эти последние решили не принимать никаких решительных мер до прихода 26-го полка, который ими ошибочно ожидается с часу на час. При создавшейся обстановке и впредь до подкрепления мы считаем преждевременным объявлять свою диктатуру, так как наша слабость реальной силой не позволяет нам диктовать. *Одно название диктатуры не придаст нам сил,* а с другой стороны, оно озлобит крепостников и вынудит их открыто заявить о своем военном превосходстве. Не регламентируя своей диктатуры и не раздражая этим крепостников, мы в то же время продолжаем издавать свои приказы и распоряжения.

Вам необходимо уяснить, что наши силы далеко не равные и всякий резкий шаг может родить нежелательные осложнения. До прихода новых сил мы с неизбежностью держимся выжидательно и завязали с ними переговоры. Была их делегация у нас и сообщила, что крепостники не будут предпринимать против нас никаких мер, но в их словах была отмечена неточность и противоречие. Мы в свою очередь посылали к ним делегацию из четырех товарищей, но переговоры ни к чему не привели, так как крепостники решение крупных вопросов, например, вопросов об оружии, очищении крепости, подчинении нашим приказам и прочее — откладывают до прихода 26-го полка. Они предложили прислать в крепость для переговоров начдива, военкомдива, двух комбригов и завполитотделом.

Это нам показалось подозрительным. Выходило так, что они у нас могли отнять разом всю военную головку, и поэтому мы предложили им заседание устроить в нейтральном доме, пригласив туда по равному количеству представителей от обеих сторон.

Ответа пока нет.

Сообщите, что и когда выслано вами в подкрепление.

Уполреввоенсовета *Дм. Фурманов.*

Эту телеграмму шифровал неизменный Рубанчик, помогал ему Никитченко, а что надо было печатать — на посту стояла Лидочка Отмарштейн. Мы Рубанчику изумлялись,— шифры он запоминал с быстротой необыкновенной, выдалбливал их наизусть и чужую шифровку нам читал по памяти, как простую писаную бумажку.

Город давно уж был на ногах. Встревоженное население еще с ночи, в первые же минуты восстания, узнало о переходе войск из казарм в крепость. Тут-то и поползли и поскакали разные слухи и измышления:

— Сдавшиеся казаки захватили город...

— Щербаков наскочил из Китая, и весь город занят белыми...

— «Власти» перевешаны...

— Красноармейцы сдались «казакам»...

Болтали что кому приходило на ум. Один другого вперегонку обвирали и перевирали, наслаивали на слухи свои «факты» и соображения. Слухи тучами носились над городом, рассыпались брызгами в живом человеческом потоке, в нем пропадали и из него вырывались вновь, мчались дальше неузнаваемо-странные, совсем иные, на себя непохожие: уж такова роковая доля летучего слуха.

По учреждениям, разумеется, тоже работа на ум не шла — никто ничего не делал, слонялись без толку в коридорах, шушукались за столами, за углами, в нишах окон, иные настораживались робко, иные мужественно сплетничали, подхихикивали или поматывали головами и молча отходили, покусывая ус, почесывая затылок,— все в зависимости от того, рады или не рады были услышанному.

Не объявляя своей диктатуры официально, мы все же пытались в каждом своем выступлении сохранять крепкий, уверенный тон, чтобы хоть он прикрывал до известной степени наше вопиющее бессилие. Отпечатали и по городу пустили мы листовку:

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ...

По городу распускаются провокационные слухи о том, что местная крепость занята белогвардейцами.

Военный совет, Областной военно-революционный комитет, Областной комитет партии коммунистов-большевиков самым решительным образом заявляют, что подобные слухи носят характер самой черной, неприкрытой провокации, и вместе с тем предупреждают, что с распространителями подобных слухов они будут бороться самым решительным способом.

То печальное недоразумение, которое случайно имеет ныне место среди части Верненского гарнизона, несомненно будет улажено в самом непродолжительном времени.

Военный совет, Военно-революционный комитет и Областной комитет партии предлагают всем учреждениям и должностным лицам спокойно продолжать свою повседневную работу.

Никакой паники, никаким колебаниям не может быть места в эти дни среди партийных и советских работников и всех граждан Семиреченской области.

За председателя Военного совета *Дм. Фурманов.*
За председателя Областного военного
революционного комитета *Пацынко.*
Член Областного комитета партии *Верменичев.*
12 июня 1920 г.
11 часов утра.

Писали, но уж, конечно, знали, что «спокойно продолжать повседневную работу» никто не будет, да и не сможет до тех пор, пока не будет ликвидирован самый мятеж. Листовку выпустили мы больше для того, чтобы напомнить о себе, заявить, что живы, что нас еще не укокошили и что мы еще сохранили немало бодрости и даже дерзости: пугаем «самым решительным способом», который... и осуществить-то нечем.

Но этого требовали обстоятельства: листовка чуть-чуть придала нам бодрости, осадила заносчивость наших противников,— большего мы от нее и не ждали.

Кое-какая техническая сила, разумеется, с нами оставалась: были работники в штадиве, телеграфисты, машинистка, остался даже кой-кто из команд, но все эти силишки были так ничтожны и так ненадежны, что и их мы опасались утерять ежеминутно,— что тогда делать, если и телеграфисты нас оставят вдруг?

Но они оставались: может быть, потому, что сознательно были с нами, а может, и потому, что мы с глаз их не спускали. Неизвестно. Но оставались и работали.

Вот, не странное ли дело: телеграф мятежники повредили только на Пишпек, да и то несущественно, а рвать его не рвали — для себя, видимо, хранили. Связь телефонную оставили по всему городу, а с нами, со штадивом, то и дело даже переговаривали любезно о разных делах.

Они ждали. Они, безусловно, выжидали и были уверены, что с часу на час подойдет в Верный 26-й стрелковый. В этом они твердо были уверены. А одни, без его подмоги, начинать окончательное дело не хотели. И, кроме того, у них было совершенно неверное представление о наших реальных силах,— в особом и в трибунале они считали не меньше... 800 отборных бойцов и до десятка пулеметов! Откуда были у них эти сведения — неизвестно, но такое заблуждение крепости было нам очень на руку, и, ухватившись за него, мы сами раздували и рьяно распространяли слухи об имеющихся в резерве наших значительных силах. Слухи эти имели свое безусловное действие: они породили в крепости неуверенность, медлительность, робость, встали поперек активному выступлению. Тут случилось вскоре одно небольшое происшествие; это происшествие могло ускорить ход дела и обернуть его против нас драматическим образом.

В инженерную часть дивизии везли из Талгара четыре бочки спирту. Крепостники это добро перехватили и угнали подводы за собой, а там, в крепости, на манер вольницы запорожской, окружили виночерпиев

и требовали по чарке «зелена вина», приспособив на роль этой чарки... грязную, ржавую консервную банку.

И часть уж успела недурно налакаться.

Но тут вмешались вожаки и остановили пьянство: опасались, что наши «10 пулеметов и 800 штыков» их, перепившихся, положат на месте. Понапугали толпу, пригрозили опасностями — переломили охоту: страх смерти был выше жажды полакать из консервной банки.

А нам и это было на руку, иначе можно представить себе, что делалось бы вечером, ночью...

Надо сказать, что попавшие в крепость — Сараев, Шегабутдинов и Стрельцов — одни из лучших наших товарищей, тоже, но по-своему и в других целях, боролись в крепости с пьяным разгулом. Они знали, что в пьяном, буйном море прежде всего утопят военный совет и штаб дивизии. Так каждый по-своему и в своих интересах оберегал крепость от повального пьянства.

Шумно бушевала крепость. Она собой напоминала встревоженный табор, когда он под близкой опасностью наспех готовится к бою, в звонком зуде второпях оттачивает тонкие кинжалы, широкоперые шашки, недосягаемой, высочайшей напрягся нотой и дрожмя дрожит в предчувствии неминуемой близкой сечи. Эта лихорадочная беготня, этот ревущий, неумолчный гомон, воспламеняющие крики, чьи-то кому-то обрывочные, безнадежные, бессвязные приказы охрипшей глоткой, раздраженные вопросы, дикие, но бессильные угрозы,— звериным ревом дрожит над крепостью мятежный гул. Никакого начальства. Никакого управленья. Долой все, к черту! — крепостная масса сама разрешит все свои вопросы. О том говорили дикие крики и сумасшедшая суета.

Но уже просвечивали первые признаки организации. Чутьем чуяли мятежники, что без организации ничего не поделать. Долго еще не уходиться разгульному самовольству, еще долго крепость станет сама, гулом и воем своих собраний, обсуждать вопросы, но к тому идет, и придет время (пришло бы оно!), когда

зажмет железная рука разбушевавшиеся толпы, заклещит их недвижимо дисциплиной плети, шашки, свинцовой пули и поведет, прикажет идти.

И пойдут — покорные, безвольные, не видя и не понимая своего нежданного пути.

Ночью у казарм, когда только выступали, раскололись мнения: одни говорили, что надо тотчас идти на штаб дивизии, захватить его и арестовать или тут же прикончить все начальство.

Другие урезонивали и до подхода 26-го полка не решались на этот шаг, за то крепость захватить считали весьма полезным:

во-первых — прибрать в ней к рукам оружие;

во-вторых — укрепиться, приготовиться к встрече;

в-третьих — подогреть на выступленье остальные части;

наконец — разбудить деревни, привлечь и вовлечь сразу в дело массы крестьянства.

Со своей точки, правы были, конечно, первые. В интересах восставших надо было действовать решительно уже с первого момента. Что-нибудь одно: или у штадива есть силы, и тогда от сил этих не укроешься в крепости, ожидая 26-й полк; или у штадива нет достаточных сил — и тогда зачем ждать подхода новых сил, когда управишься легко и теми, что есть налицо? Правы были первые: быстрым ударом надо было грохнуть в штадив, нас всех арестовать, а может быть, и расстрелять. Власть захватить немедля и полностью, произвести массовые аресты, заявить о единой собственной власти,— словом, всем и во всем показать, что за тобой победа! А мятежники — так они сделали? Ничего подобного: они только наполовину заявили о своей победе, а дальше — открыли с нами целую серию переговоров и совещаний, как в тину, затянули себя в споры и обсужденья, в этой тине сами и увязли. Мы их в эту тину усиленно тащили, ибо при данных обстоятельствах только здесь было наше спасение, спасение нашего дела. Мятежники выступали с грозными словами, но грозных дел совершить не сумели.

Их сбивало с толку предположение, что в особом, у нас и в трибунале — много сил: недаром после того как вооружились они награбленным из транспорта оружием и готовы были идти из казарм в крепость, выслали сначала сильные дозоры к особому и трибуналу — ждали оттуда удара.

Но удара не было. Тихо, без криков, без песен походных, чуть позванивая оружием — проходили они в густом мраке ночи, рота за ротой, в крепость. Там разбили склады, растащили из них оружие. Стража крепостная и не подумала сопротивляться — посторонилась, дала дорогу, а потом и сама присоединилась к восставшим.

Как только вошли — эх, забегали, шныряя по всем углам, загалдели, вверх дном кувырнули тихую жизнь крепости, врезали в глухое безмолвие ночи лязг, и свист, и ржанье коней, и крикливую обжигающую брань. Взвыла, заржала, застонала, зазвенела июньская ночь. Во взбаламученной крепости один за другим все быстрей нарастали, все грозней завывали пенные, мятежные валы.

В крепости, в центре людского потока — Петров и Караваев.

Петров — коренаст, крутобок, детина атлетический. Небольшая голова, стриженная накругло — посажена глубоко и плотно в мускулистые, тяжелые плечи. Ладонь — как лопата: широченная. Ноги коротки, но крепки и жилисты, легко бросают корпус на ходу. Вся фигура, как слитая, словно осаженная в землю, ядреная, выносливая. В сощуренных хитрых зеленых глазках — мысль, а за мыслью дрожит и бьется беспощадная, звериная жестокость. Фронтовик. В бою — боец, неустрашимый рубака. В кругу товарищей — скандалист, забияка, выпить не дурак, охотник пображничать.

Во всем под стать ему Караваев — забулдыжная, лихая голова: этому ничто нипочем. Недаром из песни самое у него любимое:

«Все отдам — не пожалею».

И это верно. В бою — и храбр, и находчив, и выручит в беде, и жизнь отдаст вгорячах — не пожалеет.

А вот тихую, без грома боевого жизнь и любит и не отдаст без слез, станет просить, как просил потом на суде:

— Пощадите. Простите. Исправлюсь. Смою пятно. Клянусь...

Ростом низок, крепко скроен Караваев, как барсук. Широкоплеч. Жилист и гибок, в движенье ловок, словно джигит. И на коне, как джигит,— ему конь с седлом, что мяснику табуретка: верное место. Черные волосы сухи, густы и жестки. Низкий лоб не сулит добра. Хищные зубы из-под багровых обветренных губ — так сверкнут за лукавой улыбкой, аж жуть берет: глотку прогрызет и кровь всю высосет. Вампир. Над губами — словно зола понасыпана, приютились короткие темные усики; под ними, как бык в стену лбом, уперся в грудь непокорный, крутой подбородок. В черных, быстрых, хитрецких глазах — и забубенная радость жизни, ухарская плясь под рыдающую гармошку, и безумная, грани не знающая удаль, всепожирающая, страстная отвага. Говор караваевский — чистый, трескучий, торопливый говорок. Лукавая, насмешливая улыбка все сбивает с толку, и не знаешь: правду говорит или глумится, свое держит на уме Караваев? Он с Петровым подымал казармы, это они строили ночью в строй красноармейцев, подбрасывали винтовки, отсчитывали патроны и дозоры слали в разные стороны и вели на крепость, подвели, ввели и там всю суматоху кружили вокруг себя.

К ним в батальон приходил Чеусов, из «коммунистов», работал в милиции, был начальством. Не боялись его восставшие, знали, что за «коммунист»: с *такими* коммунистами можно...

Чеусов говорил про свои нужды, про несчастия милиции, про пакостное начальство, что наехало из центра, поддакивал насчет «страдающих без вины красноармейцев», которых-де притесняют, и насилуют, и загоняют, охал и ахал вместе с казармами, проклинал и крыл на чем свет стоит разные «верхи». Словом, был у них «свой человек». И нужный человек.

Годов ему тридцать пять — тридцать восемь. На желтом сухом лице свинцом отливают карие, остывшие

глаза. Темно-русы негустые волосы над высоким, просторным лбом. Темно-русые, пышно-пуховые усы — он их ладонью то и дело вздыбливает из-под губ. В движеньях медлителен и раздумчив, не быстр и в решеньях, но может вскипеть негодованьем — тогда ударит сплеча. Грамотность небольшая, о ней не беспокоится, живет не ученьем, а больше своими мыслями и тем, что видит-слышит кругом: это запоминает и понимает быстро. Чеусов приходил в казармы, знал, куда идут красноармейцы, но с ними не пошел — пришел прямо в крепость. И как пришел — за дело: речи, речи, речи, разговоры разные, советы, указанья,— вошел в дело плотно, учуял, обсмаковал, взялся за вожжи.

В батальоне 27-го, в Джаркентском, когда он выступал, было много чужого народу — вооружали всех набежавших: тут были одиночки комендантской команды штадива, были из батальона 25-го полка, что здесь стоял, было много ребят из караульного батальона. Из караульного же были Вуйчич и Букин. Оба играли потом немалую роль.

В Туркестане по местам, иссохшим от зноя, растет корявое, сучковатое, изгорбленное дерево: *саксаул.*

Вуйчич напоминал саксаул: так был неуклюж, тощ и высок и согнут-перегнут в разные стороны, словно кто-то ломал его и не сломал вовсе, а только перекрутил, как железный прут.

Красноармейские иссаленные, во все цвета заштопанные штаны, как на шесте мешок, болтались на худых долгих ногах, сползая, словно хвостиками, двумя подвязками на босые широкие грязные ступни с черными и, верно уж, вонючими, пропотелыми пальцами. Рубашка коротка ему, долговязому: чуть прикрыла пуп и влезла рукавами на самые локти тонких, сухих, нездоровых рук. Руками на ходу бестолково болтает, как плетьми. Голова, словно птичья головка: шустрая, мелкая, беспокойная. Волосенки жидкие — то ли русы, то ли рыжи — видно, что голову наспех у забора обдергивали-стригли полковые ножницы. Лицо у Вуйчича в густых, заплесневелых веснушках, желто-буры впалые, иссохшие щеки, нос — разваренной картошкой, длинна по-гусиному сальная, потная шея: верно,

чахоточный. Глаза мертвы, тусклы, невеселы, никогда невеселы, и никогда им не сверкнуть, как сверкнут волчьи караваевские,— у Вуйчича словно налили под веки мутную густую влагу, и глаза в ней беспомощно завязли, затонули, обессилели и чуть ворочаются в глубоких орбитах: медленно, зловеще, налитые злобой и непокорностью, буйволиным упрямством.

Неотлучно с Вуйчичем — Тегнеряднов. Молодой парень, что-нибудь под двадцать пять. Лицо как лицо: средних качеств, сразу не бросается, ничем не выделяется из тысячи других. Быстрые движенья, быстрая речь, настойчивая жестикуляция — все говорит о молодой, неизрасходованной силе. Молодость — это первое, что ударяло от Тегнеряднова. От молодости и его энергия: прет наружу свежая силища, здоровье не тронуто жизненным искусом. Тегнеряднов равнялся по Вуйчичу: тот надумывал и говорил, Тегнеряднов делал, исполнял. Они все время вместе. Один был нужен другому.

Из Карбатальона был и Букин.

Страшилище. Чудище. Пугало. Росту голиафовского. Широты в плечах — соответственной. Рыжие густущие усищи — словно крылья мельницы: размашистые, большущие, шевелятся, как живые. Это не пышные чеусовские игрушки, а настоящие голиафовские, серьезные усы, на которых легко провисеть полчаса трехлетнему ребенку. И где-то в деревне у Букина в самом деле был такой Алешка-сынишка, которого так любил он брать в неуклюжие могучие руки, когда цеплялся тот за отцовские усы, вздымал над головой и дико ревел пьяной октавой — под беспомощный плач сухощавой, малокровной, перепуганной жены.

— Алешка, Алешка, сукин сын... Возьму вот тебя, мать твою раскроши, как шмякну об пол — ничего не останется... У... у... гу... подлец...

И он ласкал его рыжими крыльями-усами, а Алешка плакал навзрыд от боли и со смертельного перепуга от ласковых отцовских слов.

Возле Букина всегда было стоять как будто страшновато: хватит вот сверху кулачищем по башке и — конец. Тут и поляжешь бесславно костьми. Его

большущая круглая голова, все черты его здоровенного буро-матового лица, каждое движенье увесистой коряги-руки так тебе и говорило:

— Лучше не тронь. Не тронь, говорю, а то вот кокну и — дух вон, лапти кверху.

На плоском, тупом лице — мясист и крепок обрубок-нос; под самым носом густые усищи разжелтил табачищем: ежеминутно нюхает, прорва. Зубы — крокодильи: куда тут караваевские,— у того зубишки перед букинскими, словно перед волчьими у малого хорька: Букин сожрет и Караваева со всеми потрохами. И с зубами сожрет. Все переварит этакое пугало. Глаза букинские как будто темно-зеленые, но цвет их менялся от настроений: в ладном настроении они рассиропливаются в бледно-серые, а когда гневен Букин — темнеют глаза, грозовеют, как тучи, становятся мрачно-черны, наливаются страстной, звериной жадностью. В разговоре краток и крут. Не голос у Букина — рычанье хрипучее, а речь у него такая всегда увесистая, окончательная:

— Уб...б...бью, св...в...в...вол...л...лчь...

— Рр...р...рас...с...стерзаю, под...длец...ц...ца...

От Букина все время пахло могилой.

Был с крепостниками Александр Щукин. Из офицеров. Но из сереньких офицеров, из тех, которые несли на себе «империалистическую»... Одно званье — что офицер, душком гнилым только чуть-чуть попахивал, а на деле остался сиволапым, заскорузлым, от земли. Он все хорохорился, гоношился, как петух,— всем и всеми был недоволен, в том числе и крепостными соратниками, всё ему казалось, что везде и всякие дела идут и плохо, и медленно, и ведут-то их неумело:

— Эх, кабы мне всю волю, я бы...

Но всей воли ему не давали, а сам взять не умел: мелко плавал. Ростом Щукин мал, лицом серо-желт, глазами постоянно взволнованно-тороплив, движеньями непоседлив и суетлив, речью бессвязен, умом недалеко ушел: середняк, одно слово.

В крепости был потом комендантом, а брат его, Вася — так *Вася* и есть: Хренок-топорик назвали мы его, когда попался потом в руки; толку незначитель-

ного, хотя и секретарствовал у восставших в боевом совете; трусок, мещанчик, мечтает о тихой жизни — в крепость попал за компанию с братом.

Затем явился,— не сейчас, не в этот час восстания, а позже,— Чернов: Федька Чернов, как его звали в крепости. Чернов черен, как чернила, весь черный: лицом, волосами, бровями, усами, бритой густой щетиной бороды. Годов немного, под тридцать; не ходит — бегает, и не бегает, а катится, как шар: круглый, упругий, подвижный. Служил он прежде сам в дивизионном особотделе, чекистом себя называл горделиво, но от особого же и пострадал за пакостные разные делишки. Теперь готов был в разнуздавшейся мести — все перебить в особом, а заодно и все, что с ним и в нем и около,— мстить так мстить: по-черновски! Был Федька «комиссаром» крепости. Специальностью избрал погром особого отдела и трибунала. Потом, когда по приговору вели расстреливать,— плакал, как девочка слабонервная, молил о пощаде, не выдержал пути. Хулиган-скандалист по натуре — Федька и в крепости со всеми перебранился. Бунтовал-шебуршил, подбивать на «штучки» большой был мастер и охотник.

Кроме названных, были и другие в руководителях. Но про них не теперь — в своем упомянем месте. Про которых сказано — первые главари. И самые к тому же колоритные. Это — вожди, но лучше сказать, не вожди — зачинщики. Так точнее, правильнее. У вождя — большие горизонты, у вождя — широкие планы, он знает, что делает, что надо и что будет делать. Он видит вперед.

А эти просто были зачинщики. Они зачинали сегодня то, что завтра взорвалось бы все равно и без них. Они только более красочно и бурно отражали в себе подлинное настроенье взбунтовавшихся — и в этом смысле олицетворяли общие интересы. Но их хватало только на бунт. Встать, рвануться, оглоушить — это ихнее дело, это по плечу. А дальше не хватало ни мысли, ни опыта, ни знанья: путь был глух и неясен. Они знали, из-за чего поднялись, но вовсе не знали — как и что устранять, что надо собирать и создавать заново. Их на дорогу — *на свою дорогу* — вывел бы

кто-то другой, всего верней — Щербаков и Анненков. Но тем и значительно было восстание, что *вождей* оно не имело, что вырвалось из берегов само собою, что оно отражало в вихре своем интересы целого огромного слоя: кулацкого крестьянства, не желающего над собой ничьей опеки, стремящегося размахнуться вволю.

Зачинщики-главари только стояли впереди, но ведь надо же кому-то и впереди стоять, не всем сзади. И те из красноармейцев, что были «покулачистей» — эх, как охотно шли они за ними. А крепкие мужички? Да эти в один миг все распознали и унюхали: недаром и лошадей в крепость нагнали, и фуражу, и хлеба навезли, и сами винтовки брали с собой,— или по селам увозили, или тут с ними оставались, в крепости.

За сутки в крепость народу набралось... пять тысяч! Целое войско. И гнев и протест у них тут у всех, и желанья — общие.

Как только Петров с Караваевым привели восставших в крепость — ясно стало, что надо спешить разрабатывать какой-то план каких-то действий. Пока они возились около оружия, бегали, осматривали крепость и окрестности, прикидывали, как обороняться «в случае, ежели што»... облюбовывали лучшие места, советовались и готовились к решительным делам,— в крепости открылось собрание, и на этом собрании сразу же встал вопрос о власти:

Какую власть — временную или постоянную? Как ее назвать? Кого избрать? Что ей делать? И что делать с той властью, что теперь осталась в городе?

Шуму было, шуму — как полагается. Чеусов держал речи — одну за другой. Выступали Вуйчич, Букин, Щукин, другие. Столковались на том, что постоянную власть сразу создавать нельзя, надо временную.

Потом — и срочно — созвать областной съезд и уж тогда — постоянную.

Назвать... Как власть назвать? О, тут миллион проектов и предложений:

Революционный штаб... Штаб революции... Штаб горных орлов... Комитет свободы и равенства... Всеобщий совет революции... Боевой комитет революции...

Бузили-бузили и выбрали:

«Боевой революционный комитет», а сокращенно: боеревком.

Но многие звали: «боевой совет», «боесовет». Нам неизвестно, может, и изменили когда-нибудь позже это на заседаниях, но за все время звали и так и этак, на первом же собранье крепко окрестили: «боеревком».

Чеусов — председателем. Это уж официально и во всеуслышание. А прежде, говорят, небольшая кучка и Вуйчича председателем избрала, но это мимолетно, кратковременно, незаметно.

До Щукина тоже какого-то Скокова комендантом считали, крепостным, но настоящий комендант, постоянный, до последнего дня мятежа — Александр Щукин.

В боеревком и Вуйчича избрали, и Букина, и Петрова с Караваевым, и еще набрали несколько человек. Что делать — не знали. Собрались члены боеревкома после общего собрания в маленькую комнату крепостного дома и обсуждали: что же делать теперь?

Ну, вышли; ну, пришли; а дальше, дальше что?

Прежде всего связь к полкам — к 26-му и 4-му, который тоже идет сюда. Снарядили летунов, письма им дали, словами зарядили наглухо — айда.

Затем — караулы во все стороны и наново разослать и усилить те, что есть.

Подсчитать крепостные силы и привести их в боевую готовность.

Определить, что за силы у военсовета.

Связаться с селами-деревнями.

Закрыть из Верного выходы и входы.

Издать серию приказов...

Посадили секретарем Щукина Василия, заставили его обстрагивать корявые предложенья и вклеивать их в протоколы, а по протоколам этим — требовать исполненья от тех, кому что приказывается.

Заработала машина... Часть официальная, впрочем, была у них всегда в пренебреженье, и под разными распоряженьями подписывались кому как вздумается: где один председатель, где секретарь, а где и за секре-

таря подмахнет кто-нибудь, случившийся у стола, потом оба подпишутся, а то сразу человек шесть — восемь, это уж для большего весу и на бумагах немалого значения.

Как только населенье узнало, что крепость захвачена восставшими, от разных организаций сейчас же помчались туда вестники, представители, делегаты: разузнать точно, в чем дело, бить челом победителю, просить милости и разрешенья встать «под высокую руку». Прибежали, например, скорее всякого здорового — представители инвалидов:

— Так и так... одно видели до сих пор утеснение от советской власти: ни торговать не дает, ни сама не кормит — насилье одно. А потому — мы навсегда с вами, и ежели потребуется — мы с оружием в руках...

Члены боеревкома одобрили и ободрили новых своих союзников, и те мало-помалу перекочевали в крепость, ютясь около тучных крестьянских телег, понаехавших из деревень.

Потом вестник прилетел от верненского исправительного дома:

— Мы, дескать, борцы за свободу народную, а сидим в тюрьме — за что, спрашивается? Комиссары там разные — ничего себе: бриллиянты, золото воруют, а тут и часишки какие-нибудь взять нельзя — сейчас же в тюрьму... С... с... с... волочь... Мать... мать... И потом — насилье всякое: бьют по мордам, по бокам, плетками — день и ночь всё бьют... С... с... с... волочи!!!

Серые глазки Чеусова запрыгали под густыми ресницами. Злоба душила спазмами:

— Вот мы им покажем, трах... тах... тах!!

И он ухарским росчерком, как пишут полковые фронтовые канцеляристы, набросал приказ в исправительный дом, вручил его прибежавшему вестнику:

Заведующему верненским исправительным рабочим домом

Военно-революционный Совет предписывает не притеснять находящихся под арестом, и если только один из числа арестованных будет кем бы то

ни было уничтожен без ведома Совета, будешь отвечать своей шкурой.

Председатель Совета *Чеусов.*

Тов. председателя (подпись).

12 июня 1920 г.
Крепость.

Потом посидели-подумали и решили, что в военсовете все равно шпана сидит и трусы; соберут, дескать, они манатки — и поминай, как звали: кто на конях, кто на машине. Нет, задержать надо подлецов. Никуда не пустим. И Чеусов пишет верному человеку в село, в Казанскобогородское. А его никак не миновать по пути в Ташкент.

Военная, срочная, Казанскобогородск, начальнику милиции

Вр. Военно-революционный Совет приказывает вам ни одного пассажира не пропускать по направлению Ташкента без документа, подписанного Советом, которых задерживать и докладывать Совету для указаний.

Председатель Военно-революционного Совета
Чеусов.

Секретарь
Горлов.

12 июня 1920 г.

Тут как раз подоспела наша первая делегация,— не знали, что с ней делать, что говорить. А потом решили:

— Чего глядеть, сажай в тюрьму, пущай сидит.

И посадили. Но потом раздумались. Додумались, что и через наших делегатов кой-что можно выудить, пользу какую-то для крепости извлечь.

Совещались совершенно секретно.

И порешили в военсовет, в штаб дивизии послать свою делегацию — ту самую, которая изображала потом коллективное немое действо и лишь упорно монотонно повторяла:

— Мы не уполномочены... Мы только успокоить...

Это была не делегация, а разведка.

Затем обмен визитами принял хроническую форму, движение в крепость и из крепости совершалось непрерывно.

В первый же момент тревоги, лишь только узнали мы, что крепость занимается восставшими,— спешно подсчитывали свои силы и цеплялись не то что за каждую организацию, а за всякую малую кучку, за одиночек: надо было поставить на ноги решительно всех, кто еще не выступил против нас же самих,— не успеем мы поставить, успеют поставить против нас. И тут некогда было особо тщательно разбираться в степени надежности: раз хоть малая имеется надежда — веди, мобилизуй!!

Городскую партийную организацию мы вовсе не считали серьезно сознательной и целиком надежной, но, разумеется, на помощь известную от нее надеялись. И потому на первых же порах от имени обкома дали распоряжение: [1] парткомитету забить тревогу и немедленно созвать партийцев, под ружьем явиться всем к военсовету. Идти и говорить было некогда, каждое мгновенье было у нас поглощено иными заботами, каждое мгновенье ждали мы налета крепостников и обдумывали торопливо — как его отразить, этот удар?

Распоряжение обкома там получили, но явиться к нам и не подумали. Наоборот, скоро завязали отношения с восставшими, наладили туда своих представителей, а дальше — дали представителей и в самый боеревком. Рано утром 13-го вся партийная организация под знаменами «проследовала» в крепость и там держала приветственные речи. Эти молодцы позже все угодили на скамью подсудимых и понесли за предательство крепкую кару. Мы такого оборота все-таки не ждали, самое большое, что могли предполагать,— это пассивность «партийцев», их трусость, невмешательство в развертывавшиеся события.

А вышло все по-иному. Скоро четыре «представи-

---

[1] Подписывал это распоряжение член обкома Верменичев.

теля партии» сидели в мятежном боеревкоме и решали судьбу советской власти в Семиречье. Как они ни ежились, как они ни прикрашивались и ни прикрывали себя разными «доводами»,— было очевидно лишь одно: они с мятежниками — и против нас.

Председатель угоркома Джарболов даже отослал в центр совершенно ребяческую телеграмму: никакой помощи, дескать, присылать сюда не надо... все спокойно... восстания никакого нет, и т. д. и т. д.— что-то в этом роде.

И это *после* того как крепость была захвачена восставшими, оружие разграблено, в области провозглашена власть боеревкома «до созыва съезда», а тем самым низложены, следовательно, существовавшие органы советской власти. Подложил было мину нам, да ладно, скоро все мы разузнали, дали знать центру, что за цена в этих сообщениях предательской «парторганизации». Уже 12-го, через несколько часов после восстания, в крепости болталось немало «партийцев», а когда открылось там «совещание о требованиях к военсовету»,— на этом совещании председательствовал некто Печонкин, тоже член партии и даже чуть ли не член угоркома. Крепость выработала двенадцать пунктов. Эти пункты и разбирали мы потом на заседании в штабе Киргизской бригады. И здесь, на заседанье, кроме нас и крепостников,— посредниками, что ли, черт их знает,— присутствовали «представители партии», да еще как лихо присутствовали: требовали немедленного разоруженья особого отдела и буйно бутадили против каждого нашего слова, каждого предложения.

Совещание в Кирбригаде открылось ровно в четыре часа. Обе стороны пришли вовремя — дорогà была каждая минута. Помнится — этот маленький старенький домик с худыми, полусгнившими воротами, скучное крылечко, низкая, душная комната с измазанными стеклами в окнах, голые стены, где болтались ободранные грязные обои, стол — длинный, пустой, словно под покойника. А вокруг стола — лавки, хромавшие и скрипевшие на не мытом годами, дряхлеющем полу. Мы набились в комнату все разом, и разом стало там душно и тесно. Окна были приоткрыты, но

вовсе открывать было нельзя: совещанье наше ведь «секретное», а по улице то и дело шмыгает народ. Поставили стражу — у дверей, около домика. Но страсти могут разгореться — и никакой страже не ухранить тогда наши споры-крики. Словом, сидели в душной комнатке при закрытых окнах, в табачном дыму, словно в курной избе. Исподлобья оглядываем друг друга, хотим проникнуть взором туда — в мысли, в сердца, узнать: с чем кто пришел?

Будут слова, будут обещанья, а вот на самом-то деле — чего они ждут от этого совещанья? И кто тут у них главный? Может, вот этот же самый Печонкин? Или этот, как его — вон, что вертится и вьется ужимками, словно опорожненная глиста... какое у него, однако ж, нехорошее лицо: подобострастно-рабское, корыстное, жестокое. Нервно прыгают зеленые хищные глаза, словно что-то высматривают. Губы сложены в ядовитую, нехорошую улыбку: такие мясистые, отвислые, сластолюбивые губы говорят о дрянности характера. Это кто? Вилецкий. Он шумит больше всех. Видно, из вожаков.

А вот — этот, небольшого роста, с застенчивым лицом — этот как будто другого склада... У него и манеры такие непосредственные и в словах ни вызывающего нахальства, ни заносчивой самоуверенности. Это Фоменко.

А тот, что сидит на окне со скрещенными руками, оглядывает бесстрастно всех немигающим, спокойным взором? И руки так у него положены крепко одна на другую, словно и не думает он их вовсе разнимать. По лицу — безмятежно пассивен. Опасность не здесь. Это Проценко.

Тот, что рядом стоит у окна и пристально нас рассматривает,— серьезен, уверен в себе, неглуп: он что-то заговорил, как вошел сюда, и речь была простая, верно построенная, свидетельствующая о том, что *знает* человек, что ему надо делать. Такой *может* быть и опасен. Даже — куда опасней гаденького Вилецкого. Это Невротов. За этим надо приглядывать и слова его взвешивать прочнее.

А другие? В общем, право, похожи друг на друга.

Мы помаленьку размещаемся, проталкиваемся кому куда любо сесть, чуточку разговариваем сторона со стороной, а больше всё — они меж собой, а мы тоже. Шелестение, говорок кругом, передвижка, подготовка к действию, которое все — впереди.

Надо открывать — чего еще медлить.

От нас выбрано было народу тоже немало: кроме меня — Позднышев, Белов, Бочаров, Береснев, Павлов и Сусанин (командиры), Аборин, Пацынко, Муратов. Впрочем, осталось нас потом всего несколько человек. Иные и вовсе не пришли, разными спешными поглощены были делами, а иные ушли с заседанья, увидев, как оно проходит, и сообразив, что в другом месте им быть полезней. Открывая заседанье, пришлось агитнуть в том смысле, что:

...Интересы и цели у нас, собравшихся, само собой разумеется,— одни и те же. Надо только кой о чем договориться в мелочах... Мы же борцы... революционеры... Мало ли какие могут быть и у нас разногласия в своей среде. Но мы всегда договоримся, так как лозунг у нас общий: «вся власть трудящимся» и т. д. и т. д.

В этом роде была построена короткая речь. Цель у нее единственная: ослабить их подозрительность; наиболее слабых — психологически, хоть в малой доле, привлечь на свою сторону; заявить сразу и определенно, что не смотрим на них, как на врагов, и пытаемся договориться...

Затем стали избирать президиум.

Избрали, впрочем, только двоих: меня председателем, Никитича (Позднышева) — секретарем. Это уже была некая победа.

— Ну, что ставить в повестку дня?

— А вот эти двенадцать пунктов и обсудить,— заявил Вилецкий,— которые у нас разработаны на всякие нужды... Чего же еще разбирать...

Пункты огласили. Голоснули: все были согласны обсуждать. Мы своего ничего не предлагали, не все ли равно: и под этими вопросами провести можно что угодно.

Открылось заседанье, пошла галиматья: с едкими

вопросами, взгоряченными протестами, злобными выкриками, угрозами, дрожащим негодованьем, с буйным громом по столу кулачищами...

Буря длилась четыре часа. Мы старались утихомирить страсти, сгладить колючие углы вопросов: в такой обстановке заострять их было нам вовсе не выгодно. И шли на уступки, то и дело шли на уступки, когда видели, что на рожон переть все равно нельзя. Но многое взяли с бою. Собственно говоря, ни одно постановление не было вынесено в том виде, как предлагали его мятежники,— все постановления перестроены под нашим напором. Лишь только предлагалась какая-нибудь сногсшибательная формулировка, как мы в очередь, один за другим, брали ее под перекрестный огонь, безвыходно сжимали крепостников к стене и как-нибудь так повертывали дело, что им приходилось отвечать на вопрос:

— Революционеры вы или нет?

— Конечно, да.

— За власть вы трудовую или нет?

— О, конечно, да...

— Ну, так значит...

И мы опутывали вопрос тонкой сетью своих доводов. Из этой сети мятежникам трудно было выбраться, и волей-неволей они соглашались предложение свое изменить в духе наших требований, так как они же... «революционеры... борются за право народа... за трудовую власть... за власть совецкую...»

Им надо было нас давным-давно посадить в тюрьму,— это было бы, с их точки зрения,— дело. А тут завязали переговоры-разговоры. Да еще на «легальной, советской платформе». Это уже была наполовину ихняя гибель, ибо удержаться тут в равновесии было никак невозможно: или — или. Или не признаешь советскую власть — и тогда сажай ее защитников, расстреливай, свергай; или, раз признал ее, хоть и на словах,— никак не отвертишься от убийственной логики, которую нам в нашем положении «советчиков» так просто развивать.

Мы все время и по каждому вопросу ставили крепостников в тупик и обнаруживали им же самим про-

тиворечия в их словах. Тогда они быстро пятились назад, кой-что не повторяли, кой-что уступали, кой от чего вовсе отказывались и говорили, что этого не было, что это недоразумение, оговорка и так далее.

Назвался груздем — полезай в кузов.

На примере этого безрассудного восстания вообще хорошо можно научиться тому — как *не надо* делать восстаний.

Крепостники негодовали. Бранились, бесились. Но что ж от того: не в этом сила в конце концов.

Только вот что нас смущало: наговоримся, постановим, запишем... Ну, хорошо. А будет ли крепость-то сама всему этому подчиняться, что мы тут скажем? Ой, нет,— ох, мало надежды. Ведь и самый-то боеревком, говорят, у них только чести ради выбран, а все дела решают на общих крепостных собраниях... Так куда уж тут надеяться, что наши решенья там приняты будут «единогласно»? Пустое, пожалуй, все это... А делать все-таки надо. И мы делали: усердно, настойчиво, тщательно.

Первым вопросом стояло:

О белом офицерстве из перебежчиков и находящихся в Семиречье.

Не очень складна формулировка,— ну, да ладно. По разным вопросам разные были у них и «докладчики», особенно потом, когда разгорелись страсти,— каждый спешил высказаться, выкричаться первым. Всем скопом выли зараз.

— ...Зачем все офицеры на свободе? — кричали они.— Совецкая власть должна быть не такая, чтобы офицеров на службе держать: пожалуйте, дескать, господин офицер казацкий, в продотдел работать, а там мы паек вам дадим, будете обеспечены. Разве такая совецкая власть? Всех посадить сразу — так требует крепость, а если не посадите, мы сами посадим, а вместе с ними и вас всех туда же... Довольно терпеть, мы сами все можем делать и без вас: ишь учителя какие понаехали, офицеров распускать,— видно, дороги больно пришлись по сердцу...

— Товарищи, да что вы говорите,— отражали мы

лихой налет,— и о чем тут спорить: ни вам, ни нам офицеры не товарищи.

— Нет, товарищи у вас, коли так...

— Да нет же... И вовсе не в том дело.

— Втирай очки! — хихикал Вилецкий.— Знаем вашего брата, куда вертеть надо... А тут и спорить нечего: раз они вам не товарищи — посадить в тюрьму — и кончено, расстрелять сукиных детей...

Все это по виду было очень революционно. Слушая их, не зная их, можно было подумать: какая же тут яркая классовая ненависть к офицерству, защитнику наших врагов! Но не в том дело — за этот вопрос лишь надо было спрятаться крепостникам-главарям, как за боевой. Да таких и еще было два-три вопроса. А главное совсем-совсем не в том, главное — в хлебной монополии, в жестокой диктатуре советской, особом и трибунале и т. д.,— вот где собака была зарыта, вот что им надо было кувыркнуть. А это все ширма одна. Впрочем, ненависть к офицерству, особенно в широкой массе красноармейской, где не одно же было чистое кулачье,— эта ненависть и действительно имелась, но уже не из-за нее, конечно, поднялось все огромное дело мятежа.

— Такую сволочь держать на свободе,— гремели крепостники,— да это что же, братцы, а?!

— Но вы не забывайте, товарищи, этих офицеров мы ведь взяли в Копале со всею белой армией. А при сдаче — условия определенные подписали, поклялись советским словом, что расправы не будет... Так что же, по-вашему, теперь — обмануть? Но кому, зачем это надо? Мы ведь часть из них все равно отправили в Ташкент, а остальных отправлять будем постепенно... Он, офицер, положим, как агроном работает в земотделе, вашему же хозяйству крестьянскому помогает... Сними его сегодня, а кем назавтра заменить? Нам обещали в скором времени из центра работников партию: тут же, как заменим, тут же все остатки офицеров и угоним в Ташкент...

— Это ладно, нащет партиев-то... Какое нам дело до ваших работников... Крепость требует, чтобы немедленно снять!

— Но, товарищи, нельзя же всех разом, мы этим дело, работу свою испортим. Давайте хоть некоторую соблюдать осторожность. Ну... ну, хоть так давайте поступим: вам, вероятно, известны фамилии уж особенно поганых офицеров — тех, которые вели себя жестоко в белой армии... Давайте от крепости такой список, и мы этих по списку вышлем немедленно, а остальных — в очередь, постепенно, не разрушая дело... Идет?

Поломали-поломали — договорились:

> Военный совет дивизии уже издал соответствующий приказ и обязуется немедленно отправить в Ташкент всех офицеров, список которых будет представлен делегатами гарнизона, и постепенно, по мере нахождения заместителей, снять всех остальных с командных и административных должностей.

Укачали первый вопрос. Второй гласил:

> *По вопросу об использовании и распределении трофейного оружия, по возможности, из него снабдить население.*

Видите, куда повернуты оглобли: населенье вооружить! А мы ведь только недавно по области отдали приказ, чтобы под угрозой тяжелого наказания все оружие население сдавало нам.

Совсем наоборот выходит.

— Потому что населенье навсегда должно быть вооружено,— уверенно, спокойно заявил Невротов.— Крестьянину винтовка необходима, раз он находится среди врагов.

— Каких врагов?

— А всяких врагов: и казаки могут опять, и потом же киргизы эти...

— Но ведь у киргиз тоже нет никакого оружия,— нам все его должны сдать...

— Киргиз? Что такое киргиз? — взвизгнул вдруг Вилецкий.— Ты меня с киргизом, что ли, станешь равнять? Что я тебе — кто? Я шесть лет в армии

служил, кровь, можно сказать, пролил, а меня с киргизом ставить заодно? Нет уж, это вам не удастся... Продались вы там все офицерам, а теперь киргизу продались: вооружать его, а нам не надо оружия? Коли не надо, так не надо, мы и не просим, у нас хватит без вас...

— Вилецкий, ты не то,— перебил его Фоменко,— тут не насчет киргиз, тут, чтобы всех, значит, разоружать...

Невротов злобно глазами сверкнул на Фоменку, перебил торопясь:

— То ли, не то ли, об этом никто не спрашивает. А крепость требует потому, что в штабе, в дивизии много оружия, крепость требует отдать его все населенью... Мы его отвоевали — нам и должно быть передано...

— А не киргизу,— ввернул ехидно Вилецкий.

— У меня никакого оружия нет,— четко выговорил Иван Панфилыч (Белов).— Никаких *огромных* запасов не имеется. Это вранье. А то оружие, что есть, необходимо для дела, и пока я начальник дивизии,— я взять его не позволю...

Откровенная, но резкая речь Белова могла иметь двоякое влияние: разжечь страсти, поднять мятежников на дыбы или же, наоборот, урезонить, оборвать возможность дальнейших пререканий. Она подействовала благотворно.

— Оружья нет? А если мы проверим? А если мы сами найдем? — хихикнул Невротов.

— Найдете,— значит, ваша взяла,— добродушно, без улыбки, скрепил Панфилыч.— Только вот что надо помнить: я за это время части перевооружал,— что было, туда все ушло... А проверить можно, что не проверить? — добавил он после короткого молчания.

Зная, что все равно ничего нигде они не найдут, а в то же время будут заняты и отвлечены, мы предложили избрать комиссию. Они вынуждены были согласиться.. Постановили:

Ввиду того что оружия незначительное количество и начдивом принимались меры к использова-

нию этого оружия для перевооружения частей, решили избрать комиссию из товарищей Невротова, Халитова и Проценко, которой и поручается выяснить этот вопрос с начдивом 3-й Туркдивизии.

Постановления мы принимали с теми подчас неуклюжими поправками и формулировками, которые настойчиво предлагали они; но это их успокаивало, получалось даже впечатление, как будто это сами они свое же предложение и подтверждают.

Пусть, что мы теряли от этого?

Третий вопрос:

Об удовлетворении красноармейцев обмундированием.

Вопрос как будто вовсе деловой и безобидный. А на самом деле крыли они в этом пункте нас за то, что все мы тут одни только воры и собрались, обмундирование растащили себе, а красноармейцу нет ничего, что за счет красноармейца мы пузо себе растим, а он вот разут и раздет, значит, за дело, дескать, и самое восстание произошло:

Вот мы еще вам покажем, как обращаться с нами надо!

Мы отбивались от упреков и обвинений, мы утверждали, что воровства не было, а где и было — мы же сами крепко за это карали виновных. Напирали мы на приказы центра и вынудили крепостников признаться, что «приказы центра надо исполнять...», а то, дескать, какие же вы и защитники советской власти, раз центр не признаете?

По третьему постановили:

Поручить военному совету принять самые решительные меры к скорейшему снабжению красноармейцев, наблюдая за снабженческими органами, чтобы они распределяли это равномерно, а в смысле удовлетворения командного состава и сотрудников — строго придерживаться существующих приказов центра, а виновных в нарушении — отдавать под суд...

Близкий к этому вопросу был и следующий, четвертый:

Об улучшении питания красноармейцев.

Тут, конечно, опять о воровстве, о том, что «вы там жрете, наверно, колбасу, а нам и хлеба нет... Известно, тут один другого моет, все вместе воруют красноармейское наше добро...»

И тут побранились немало. Постановили неплохо:

> Существующим снабженческим органам, а также и продовольственным организациям принять все меры в самый наикратчайший срок, принять самые решительные (?) революционные шаги к улучшению питания красноармейцев, а в частности госпиталей, а Военному совету 3-й дивизии наблюдать за проведением в жизнь. Комиссарам же и Политоду всячески прийти на помощь контрольно-хозяйственным советам частей в их работе, а где таковых нет, то организовать.

В повестке дня всего двенадцать пунктов. Они их так расположили, что среди невинных и «законных» вопросов втыкали как бы вовсе не заметно какой-нибудь особо злободневный, основной,— из тех, которые и подняли восстание. А остальные тут вопросы, вроде вот двух предыдущих,— декорация одна, попытка глаза отвести.

Пятый вопрос уже соленый:

> *Разобрать все дела красноармейцев, находящихся под следствием и судом, а также и в заключении, согласно представляемого списка.*

Этот вопрос, как видите, совсем иного порядка.

Кто у них в списке? А все сами же главари на первом плане и есть. За трибуналом и особотделом — кто ж тут не числится или уже не пострадал? Петров, Караваев, Вуйчич, Букин, Вилецкий... Все они — кто за что: за бандитизм, за зверство, за хулиганство...

Так что вопрос этот в известном смысле был и «личным»,— разбирать его надо было с особой деликатностью.

— Нам,— заявил Вилецкий,— никаких ваших делов и разбиранья не надо, мы всех арестованных заведем на собранье в крепость, и пусть сами красноармейцы разберут: виноват он али нет... А потом сейчас же всех выпустят... И сейчас же в крепость всех...

— Товарищи, так нельзя,— вступились мы,— так нельзя, это же не суд получается, а черт-те што. Ну, где это видано, чтобы пятитысячная толпа разбирала вся сразу какое-нибудь дело? Это же гвалт сплошной — и больше ничего...

— Не ваше дело,— перебивает кто-то из крепостников,— мы сами знаем, как надо судить, учиться не будем...

— Но это же немыслимо: гарнизон будет судить преступников... А кто его уполномочил, кто ему право дал на это? Разве сами вы не понимаете, товарищи, что судебный орган непременно должен быть где-то и кем-то выбран... Сегодня судит гарнизон, завтра случайное собрание горожан, потом наедут, может быть, из деревень — и они судить захотят... Да разве это суд? Курам на смех. И кто из вас хотел бы очутиться перед таким случайным судом?

— Не случайный, а свой... народный будет,— ворвался настойчивый протест.— Этот свой, а ваш трибунал,— что он нам дал? Расстрел, один только расстрел наших братьев...

— Да, расстрел, непременно расстрел,— покрывали мы протестующих,— но этот расстрел был не «братьям», как вы говорите, а врагам нашим — буржуям, белогвардейцам, бандитам... Для них эти трибуналы... Только для них... А вы о «братьях» — стыдитесь говорить! Какие они вам братья?! Ну да, не отрицаем — предатель или бандит может случиться и из нашего брата, трудящийся, пусть из рабочих, крестьян, киргизов, казаков — не все ли равно? Да разве такого вы сами-то помилуете, разве не кончите его?

Крепостники сидели смущенные. Притихли.

Мы продолжаем:

— И среди арестованных, товарищи, всякие есть. Очень может быть, ни на минуту и мы не сомневаемся, что есть там ребята, которые попали вовсе случайно.

— И невинные...

— Да, и невинные,— соглашаемся мы.— Но остальные — виновны. И вот, кому-то надо отсеять одних от других: виновных от невинных,— крепость всем скопом этого не сделает. Надо выбирать какие-то органы, но зачем выбирать, когда они уже есть: особый и трибунал...

— Долой, к черту ваши трибуналы...— взорвался снова протест.— Перевешать там всю сволочь, только и знают, что расстрел...

— Товарищи, товарищи,— о чем мы спорим? Эти органы остаются... Не можете же вы их уничтожить, раз они утверждены центром, а мы ведь только недавно постановили с вами, что решеньям центра будем подчиняться... Их не уничтожить, а только освежить... людей туда, может быть, прибавить новых... И пусть они вместе...

— Своих, одним словом — свой и трибунал в крепости выберем...

— Нет, нет,— поправляем мы ретивых строителей,— не свой трибунал, а освежить надо тот, что есть...

— Держут по году, с... с... вол.л.л...чь...

— Ну, не по году, это уж лишку... А вот что не успевают быстро,— это может быть... Но мы поторопим, мы им накажем, чтоб быстрей...

Наконец постановили:

> Особый отдел и Ревтрибунал обязуются в самом срочном порядке пересмотреть все дела красноармейцев и разобрать, а впредь стараться при разборе дел придерживаться установленных законами сроков.

Вопрос шестой:

Об уничтожении волокиты и формалистики.

Ну что за серьезный, подлинно советский вопрос? Да разве большевики не против «волокиты и формалистики»? Словом, сказано приятно.

А начали обсуждать,— эге, куда саданули:

— В учрежденье не приди... Слова не скажи... Одна формалистика кругом. А ты пришел по своему делу. Весна. Тебе пахать надо идти, а из армии держут — не пущают... Что это — порядок? А земля — непаханая... Какой ты черт меня держишь, когда побил я казака?

И вся «формалистика» сводилась к одному:

— Распускай армию по домам!

Постановили «вообще»:

> Как та, так и другая сторона признает волокиту и ненужную формалистику злом Республики. Предлагается компартии, профсоюзам и всем ответственным работникам бороться с этим злом, отдавая виновных под суд.

Седьмой:

> *О пропусках, существующих для входа в некоторые отделы.*

Тут на первый взгляд как будто и вопроса-то скандального вовсе нет никакого. Да и вопрос сам по себе второстепенный. Но его подняли с нескрываемой охотой, вгрызлись в него оживленно, потому что тут, в суматохе спора, уж очень было легко перескочить в перебранку, поднять демагогический вой:

— Никуда тебе пройти нельзя, красноармейцу: в штаб идешь — пропуск давай, в трибунал — пропуск... На кой они черт надобны, и кто же вас тронет тут, в тылу... Нам чтобы везде ходить...

— Нельзя везде ходить без пропуска, товарищи... Это чистые пустяки... Да у себя на фронте — разве вы позволите каждому входить, например, в штаб, где начальник готовит боевой приказ?.. От этого приказа и жизнь ваша зависит... Все тут... И раз без пропуска — входи, значит, кто хочет. А почему же тогда и белогвардейцу не войти какому? Почему не смыть

вовремя этот приказ, а? Ну, как по-вашему, возможно это или нет?

— Ничего не «возможно»,— огрызнулся Вилецкий,— белогвардейца сами узнаем...

— Не узнаете... Он сделает так, что нельзя узнать... И все дело погибло... Это же совершенно легкомысленно, это ужасно и недопустимо: всем и везде распахнуть наши двери... нельзя этого, товарищи, нельзя,— нам же самим и опасно. Конечно, есть учреждения, где не должно быть для входа никаких пропусков, ну, в хозяйственную какую часть, положим, в здравотдел, соцобес.

— Собесы ваши, мать-мать-мать...

— Не о том, не о том, подождите...

— У вас всегда не о том,— перебивают крепостники.— Как только о деле — у вас всегда «не о том», когда же «о том-то» будет?

Молотили-молотили — постановили невинное:

> Признать пропуска необходимыми для некоторых отделов, как Штаб, Трибунал и т. д. Изгонять также пропуска из учреждений, где они не нужны.

Вопросы восьмой и десятый согласились объединить:

> *Допустима ли та форма устрашения, которая применяется в Ревтрибунале в отношении подсудимых?*
>
> *Возмутительное поведение и приговоры таких учреждений, как Особый отдел и Революционный Трибунал, которые ни в коем случае не могут существовать в таком виде, в каком существуют в Верном.*
>
> *Уничтожить сыск в таком виде, в каком он существует в Особом отделе.*

На этих скандальнейших вопросах вдруг заговорил и «представитель партии» — Печонкин: против «дьявольского» нашего сыска, против трибунальской разнузданности, а в конце ляпнул:

— Правильно говорит крепость, что разоружить следует и особый и трибунал... Разоружить — и к черту разогнать...

Ну, раз «партейные» так говорили — что ж было делать остальным?

На этих вопросах разгорелись страсти. Паче же всех неистовствовал, разумеется, Вилецкий:

— Суд? Это — народный суд? Это советская власть называется, чтобы в подвал загнать, чтобы в подвале на висок револьвер наставить: говори, мол, сукин сын, а то убью!

— Да где это было? — кричали ему перебивая.

— Везде! — орет Вилецкий.— Везде нашего брата пугали да мучили... Значит, это допрос, по-вашему, коли пистолет на висок наставили, а? Это допрос? Самих расстрелять, допросчиков, подлецов, а они красноармейца, ироды, мучают... До всех доберемся, всем будет сказано, кому што делали...

Крепостники одобрительно гудели, выкрикивали поощрительно отдельные слова ему в подмогу и в раздор, а Вилецкий уж и без того настолько бурно расходился, что выплевывал гневные, злые слова совершенно бессвязно, все чаще, все настойчивей угрожая какому-то невидимому врагу:

— Мы эти допросы все переменим...

— Да кто допрашивал-то, где, когда?

— Вот тебе и где,— уклонялся он от ответа,— мы знаем, где... все знаем...

— Но тут нам и спорить нечего,— успокаиваем крикуна,— за такие случаи допросов мы же первые и предадим негодяев революционному суду, ну? Ну, называйте же фамилии... говорите...

Так фамилий никто и не назвал, а взамен того шумно загалдели о другом, о сыске:

— Красноармейцу стрелять нечем, а тут оружья по трибуналам необеримо, тут шпана окопалась разная да нашего же брата и расстреливает... Нигде тебе пройти нельзя, чтоб спокойно, сыщики шныряют на каждом шагу... Что мух на мед, сукины сыны, все налетели на чужое добро... На каждого жителя по три

мерзавца, и все с оружьем... Все с оружьем, а нам стрелять на фронте нечем... Прогнать сыщиков, прогнать шпионов, всю шайку разогнать сейчас же, без промедления, а оружье в Красную Армию сдать, в крепость...

В этом именно месте и выступил «партейный» Печонкин, требуя разоружения особого и трибунала. Положение становилось угрожающим.

Почувствовав «поддержку», крепостники и вовсе обнаглели, заявляя еще резче свои требования, еще грубей угрожая и предрекая всякие нам беды и кары. Напрягли мы свои агитационные таланты, возопили к «совести и разуму революционеров» и, перекувыркивая одно за другим крепостнические предложения, добились сносного заключения.

А предлагали нам разное и сумбурное:

— Арестовать сейчас же особистов и трибунальцев.

— Начальников особого и трибунал — на суд в крепость.

— Прервать наше заседанье, идти отсюда всем и обыскать оба учрежденья: а найденное оружие переправить в крепость...

И вот все в этом роде: раз от разу не легче. Постановление по сему пункту гласило:

> Поручить избранной комиссии по выяснению оружия, добавив в эту комиссию товарищей Вилецкого и Беледкова,— все выяснить путем ознакомления с делами Ревтрибунала и сообщить фамилии всех лиц, позорящих советскую власть.

Для такого жуткого вопроса это решение — чистый клад. Мы уже бодрей, уверенней проскакивали к следующему, девятому:

> *Немедленно приступить к организации на местах в Семиречье выборной советской власти на основах конституции...*

В чем же тут соль вопроса? Уж, конечно, не в том, чтобы — «по конституции»... Словечко это пристегнуто для шику советского, а с другой стороны, как ширма: попробуй-ка, дескать, придраться к нам, когда тут

все строится что ни на есть по самой лучшей «конституции»?

А существо дела такое.

Боевая страда заставляла все время держать Семиречье на положении военного лагеря. Повсюду были назначенные ревкомы, а не выборные советы, как и повсюду это было у нас в прифронтовых местах или в местах под угрозой. По ликвидации фронта — естественное дело — организация советской выборной власти была для нас первоочередным делом. И уж недалек был срок, когда все это осуществилось бы естественным порядком и действительно по конституции. Но перед выборами надо же было провести подготовительную работу. Надо нам было отсеять кулацкую, спекулянтскую часть крестьянства, казачества, туземного населения.

Это ведь целое огромное дело, особенно для глухого Семиречья. А тут хотели наспех, сплеча, вгорячах, не дав нам произвести деление — построить эту выборную власть «по конституции». Можно себе представить, что получилась бы за власть, кого бы туда насажали, кого бы вовсе оттерли от управления!

Кулачество рвалось к легальному господству. Вот почему мы и открыли жестокий бой по этому вопросу:

— Нельзя сделать часами того, что требует по крайней мере недель... И потом — согласие центра? Вы же не хотите оторвать от всего мира свое Семиречье? А волостные, уездные, областной съезд намечены и без того, ваша горячка опоздала...

— Народ задушили,— вопили нам в ответ крепостники.— Нету управы на вас никакой. Мужик сам собой хочет управлять, а вы насажали ему разную сволочь,— на што она ему? Раз свобода, так всем свобода, и мужику свобода, а ему вздохнуть не дают, жмут его, обдирают кому не лень, а власти настоящей все нет... Мы больше не хотим ждать — и сами созовем...

— Товарищи! Это же вовсе не требуется,— объясняем мы им.— Уж давно и создана и работает областная комиссия по выборам... Чего еще? Сроки близки — и нечего горячку пороть...

Обломали. Решили не очень складно:

Ввиду того что волостные съезды собираются через две-три недели, а уездные и областной за ними, внести вопрос (там) на обсужденье об установлении выборной власти, для чего съездам возбудить ходатайство перед Турциком.

Одиннадцатый:

Уничтожить расстрелы.

Коротко и ясно: вообще не расстреливать — никого и ни за что!

Вой протестов и брани, слюнявых угроз и шипящих укоров, буйных, гневных проклятий ударил по нам:

— Подлецы разные... Укрылись по трибуналам... расстреливать... наживаться. Мы кровь проливали... разнести трибуналы до основанья.

А мы вопрос — по-своему:

— Верно, что провинившегося рабочего и крестьянина надо мягче судить... Но если белогвардеец попал, если оставить его опасно, если по его вине сотни — тысячи, может быть, наших лучших погибло товарищей, а на месте сел, деревень, кишлаков остались только мертвые пожарища,— неужели и его помиловать?

Прижали к стене. Крыть им было нечем.

Вынесли постановление:

Предложить Ревтрибуналу, Особотделу и ЧК с особым вниманием относиться к рабочим и крестьянам при вынесении приговоров, беспощадно расправляясь с контрреволюционерами.

И, наконец, последний, двенадцатый:

Принять самые решительные меры по оказанию помощи Лепсинскому уезду и беженцам, а также отозвать агентов Особого отдела из уезда, где они ведут себя непристойно.

Тут уж получилась вовсе чепуха: они о помощи лепсинцам как-то ничего и не говорили, а все внимание свое и наше сосредоточили на том, что вот-де по голодным уездам агенты особотдела хулиганствуют, насилуют, грабят, издеваются.

— Дайте хоть один факт,— просили мы,— и по приговору, у вас же на глазах, чтобы видели все, мы расстреляем сами подлеца...

Но фактов не нашлось ни одного, а был лишь бессмысленный крик на иные темы:

— Казаки били — страдали мы! Казаков побили — опять страдай!.. Да где же правда после этого? Что наши семьи — гады поганые? Жрать они, по-вашему, не хотят, што ли? Сами тут пайки да то, да се, а голодным семьям — на-ко в рот...

— Нет, это не верно, это не верно, товарищи,— доказывали мы,— по голодным уездам уж давно работает наша специальная комиссия...

— Кляп с ней и с комиссией вашей.

— Нет, вы подождите...

— А что ждать? А что толку в ней?

— Толку? Есть толк: мы уж туда немало переправили хлеба, это вы только не знаете или не хотите знать... А потом дорога — разве вам неизвестно, что это за дьявольская дорога, песок горячий, безводица... а кормиться чем? Ведь одних лошадей что мы на этом деле поморили: не держится лошадь — падает... Мобилизовали верблюдов — на них теперь возят, да разве и этого вы не знаете? Нет, товарищи, надо ж отчет себе отдавать, за что порицаете... Сразу тут все равно не сделать...

— А нам сразу надо! — налетали они.

— Сейчас же, немедленно подать туда хлеб, вот што, а то разнесем все ваши отделы снабжения, сами возьмем...

Против этого нечем было козырять, доводы не помогали, пришлось соглашаться на пустое, никчемное решение:

> Предложить Обвоенревкому и отделу Социального обеспечения немедленно снабдить хлебом

разоренные Копальский и Лепсинский уезды, обеспечив также и беженцев, прибывших в город из этих уездов...

Обеспечить немедленно!

Легко сказать, а мы уж давно, неделями, все силы напрягаем на эту работу, да и то не смогли обеспечить...

А тут: немедленно!

Ну, пусть. Это дело работы подлинной и серьезной нисколько не изменит.

Кончились все двенадцать вопросов.

— Теперь, товарищи, передайте крепости, что по всем вопросам с вами мы договорились, что протестовать, собственно, дальше,— против кого же и в чем? Надо кончать, кончать надо эту всю заваруху. Спешно очистить крепость, разойтись по казармам, начать дружную совместную работу на основе того, что мы приняли теперь... Распишитесь под протоколом.

— А вы еще дайте обещанье, что все будет выполнено,— вставил Невротов.— Не то наговорите, а там — ищи. Подпишите-ка здесь же, под протоколом.

Его шумно поддержали приятели.

Через минуту он диктовал, мы писали:

«Военный совет 3-й дивизии обязуется революционным честным словом провести все в жизнь».

И ниже подписи: наши и крепостников. Мы искренно, охотно подписались. И без лукавства: что было полезного в этих решениях трудовому Семиречью — мы все готовы были осуществить, во всем готовы были участвовать.

Что для нас это «честное слово»? Уж, конечно, не слепое ему служенье. Только целесообразность — и больше ничего. Если очевидно станет, что от исполнения его один вред, разруха, погибель,— неужели станем держаться за него, как за фетиш?

Заседанье окончено. Расходились. Но уж, конечно, мы не верили, что на этом всему конец. Эти делегаты и эти разговоры-решенья — одно, а крепость вся в це-

лом — совсем другое. И вряд ли станет слушать она серьезно этих своих делегатов. Да и делегаты какие: второстепенные. Тут же не было ни одного из настоящих вожаков.

Разошлись так же, как и сходились сюда,— в глубокой тревоге.

Пока сидели мы в штабе Киргизской бригады и совещались с мятежниками, Мамелюк бился на «широком собрании» в Доме свободы, тщетно убеждая и доказывая присутствующим необходимость идти с нами рука об руку: семиреченские «партийцы» и иная публика предпочитали обратное.

Шегабутдинов целый день сидел в крепости под арестом. В боеревкоме у кого-то явилась мысль использовать его и «взять в работу». Привели.

— Хочешь с нами работать?

— Работать можно, если вы не против советской власти...

— Какое против,— мы сами и есть советская власть...

Шегабутдинов остался в боеревкоме. Вылучив минуту, шепнул он Агидуллину, чтобы тот сбегал к нам и доложил, как и для чего вступил Шегабутдинов в боеревком:

— Объединить вкруг себя мусульман-красноармейцев. Бороться с возможными эксцессами. Доносить нам вовремя обо всем и предупреждать об опасностях.

Мы ему через Агидуллина же отослали свое согласие на такую работу. В боеревкоме выбрали вскоре Шегабутдинова товарищем председателя. На этом посту он мог бы сделать для нас очень многое, но он был плохим политиком и не знал граней, за которые переступать опасно. Он, безусловно, с чистым сердцем и в нашу пользу вступил в боеревком, но уже сразу ахнул непростительную глупость: дал свою подпись под приказом крепости № 1. Его имя под таким приказом многих сбило с толку.

Вот он, приказ крепости № 1:

ПРИКАЗ № 1

Врем. военно-революционного Совета Семиреченской обл. 12 июня 1920 г., г. Верный.

§ 1

Для улучшения быта защитников Советской власти, власти рабочих, крестьянской и дехканской бедноты, красноармейцев, всемерного улучшения положения трудящихся масс области, без различия национальностей, для разрешения создавшегося положения в области в связи с назначением на ответственные посты в советских учреждениях офицеров, перешедших к нам, взятых в плен на северном фронте, и предотвращения возможных выйти конфликтов среди трудящихся масс и в красноармейских частях, сего 12 июня в 6 часов вечера организован из представителей красноармейских частей Верненского гарнизона Временный Областной Военно-революционный совет в составе следующего порядка: Председателя Вр. Обл. Военсовета т. *Чеусова,* тов. его — обл. военкома тов. *Шегабутдинова,* членов тт. *Кризенко, Шкутина, Прасолова, Вуйчича,* каковому совету с момента опубликования настоящего приказа до созыва Областного чрезвычайного съезда совета переходит вся полнота власти.

§ 2

Всем советским учреждениям, как гражданским, так и военным, с опубликованием настоящего приказа предлагается продолжать работу и неуклонно исполнять все распоряжения Вр. Обл. Военсовета; за неисполнение сего заведующие учреждениями будут привлечены к самому строгому ответу.

§ 3

Всем советским учреждениям предлагается 13-го сего числа к 12 часам удалить со всех ответственных постов всех назначенных на таковые офицеров, служивших у *Анненкова,* об исполнении немедленно донести.

Подлинный подписали:

Председатель Реввоенсовета *Чеусов.*

Его товарищ *Шегабутдинов.*

Члены: *Кризенко, Шкутин, Вуйчич и Прасолов.*

Составлялся он вечером 12-го, а опубликован был только на следующий день поутру.

Кончался первый день мятежа. Крепость гудела неумолчной тревогой. Никто не спал. Ночь подступала такая же беспокойная, как беспокоен был день от ранней зари. Красноармейцы наловчились из скрытых бочонков добывать спирт, обманывали бдительность расставленной Шегабутдиновым и Сараевым охраны из верных ребят, сосали и тянули тут же, в крепости, а потом, пьяные, рвались на улицы, на бульвары, с песнями, гвалтом, разгульным буйством... Носились и пьяные разъезды,— эти гикали и орали дико, грозно, зловеще, словно мчались в атаку. Жители давно попрятались. Окна наглухо застегнуты. Весь город замер, напрягся в ожиданье пьяных бесчинств и расправ. Остатки нашей охраны стояли по углам: это ребята из партийной школы. Ватаги мятежников их трогать боялись: все были еще уверены в огромных силах, скрытых нами в особом и в трибунале... Кончался первый день мятежа. Что-то будет ночью, что будет завтра?

В крепости, словно в камере тюремной,— за решетчатыми окнами, в глухой, полутемной комнатке ночью заседал боевой ревком: Чеусов, Шегабутдинов, братья Щукины, Вуйчич, Букин, кто-то еще. Обсуждали

разное: про силы крепости, силы штаба, надежна ли крепость как боевая точка, хватит ли оружия...

Только что заполночь — шумно ввалились пьяные Петров с Караваевым, а сзади них целая толпа:

— Тут что, все обсуждаете? А дело не делаете! А враги все на свободе... Эх вы, мать раз-мать перемать!!

В приотворенную дверь один за другим протискивались спутники — скоро комнатушку забили битком. Под окно подступила гудящая густая толпа, сквозь решетку слышала-слушала она эту брань, сочувственно волновалась, подбадривала выкриками пьяных вожаков.

Держит речь Караваев. Взвизгивает нервным, срывающимся голосом, взмахивает кулаками в такт своей буйной речи.

— Болтуны... подлецы, хвастунишки! Мы три месяца готовили с Петровым восстанье, а вы что? Только все болтовней занимаетесь, дела вам нет никакого. А тут — три месяца! По конюшням да за казармами, как воры, прятались... Особый слежку за нами... Помощи нет никакой... А тут шпиёны кругом... Ладно вот Букин да Вуйчич поддержали, в караульном помогли... А то бы не пикни, сунуться некуда. Теперь-то уж что, теперь растрясли и второй и двадцать пятый, оба с нами, а в двадцать шестой послали делегацию. Настал момент, и надо действовать, а не болтать тут словами,— только и дела вам, что языки чесать! Братва в Узун-Агаче, Каскелене, Талгаре, да и везде — с нами, готова... Везде свои поставлены ребята, и никакая сволочь теперь не уйдет. Только не выпустить надо, не дремать, а сразу захватить особотдел и послать, куда они нас всех посылали — красноармейцев, проливавших два года свою кровь... «Кумурушка»[1] сбежал на луну, так надо скорей захватить остальных, чтоб и они не сбежали. Нужно быстро действовать, а то будет поздно...

Взволнованно Караваеву в ответ зарокотала сочувствием красноармейская толпа:

---

[1] Предтрибунала И. С. Кондурушкин, объезжавший в то время область по служебным делам.

— Чего там... Правильно... Делать надо, не ждать...

Эти выкрики сразу накалили атмосферу, заострили положенье.

— А что смотрите,— кто-то крикнул вдруг из толпы,— средь вас шпион!!! Что его тут держать, дайте сюда, на луну мы пустим...

Никто не называл фамилии, но поняли разом, о ком тут речь. Вздрогнула толпа, ляскнула зубами — словно рванул ее электрический ток. Момент — и все будет кончено.

Петров скакнул, как зверь, Шегабутдинова в широченную спину прямо с размаху ахнул прикладом. Тот только крякнул, вмиг обернулся:

— Что ты?

Еще бы миг, один только миг молчания и новый один удар — остервенело кинулась бы дрожавшая толпа, прикончила жертву.

Но крикнул Чеусов:

— Ты что, Петров, брось — брось... Шегабутдинов — свой, он работает вместе с нами.

Петров смущенно потупился, тихо отошел, и в тот же миг толпа обмякла, словно пружина, только что утерявшая силу...

— Ты, брат, того — не обижайся, я так...

Шегабутдинов ни слова ему, только от боли поводил спиной да кривил багровыми сухими губами.

Петров разорвал неловкое молчание, неистово, зычно заговорил:

— Что Караваев, то и я: все правда... Давно мы начали все готовить. И сколько намучились — только знаем про это сами... Да... Оно тово... А главное — торопиться надо... Скорей надо дело делать!

И опять ворвался-заговорил Караваев:

— Нам поручили с Петровым обрезать провода... А как поехали, на разъезд штабной попали... Они задерживать, а мы им пропуск: «Антапка»... Отпустили... Ничего... Мы в Кучугур к старику одному, там и самогонки хапнули...

Караваев лукаво улыбнулся, ухмыльнулись, облизнулись стоявшие кругом.

— Правда,— продолжал он,— перерезали, теперь «им» не с кем говорить по телефону. Надо скорей только, не выпустить чтобы из них ни одного...

И Караваев шмыгнул по всем сторонам хитрым взглядом, ожидая сочувственных слов.

— Караваев правду говорит,— глухо прогудел Букин,— надо торопиться, потому — красноармейцы бунтуют...

— Идти требуют,— вставил за ним и корявый Вуйчич.— Дальше, говорят, терпеть не можем, требуем, чтобы на штаб вели немедленно...

Чеусов важно провел рукой под пышными усами, выцедил самодовольно:

— Что ж, можно. Боевой совет готов...

Шегабутдинов все время молчал. После удара прикладом он понял, что каждое лишнее слово может тут испортить всю его «карьеру» и что верить ему так, как верят Караваеву или Петрову,— никто не поверит. Но момент был исключительный,— все ставилось на карту: крепостники согласны и готовы выступать... Они решили... Что дальше — когда разгромлен будет штаб? Скорее, скорей им поперек!

— Товарищи! — обратился Шегабутдинов.— Вы постановили выступать на штаб, а я вам вот что советую...

— Чего еще там? — заворчали из толпы.

— Я советую,— продолжал он,— лучше сначала договориться,— не сразу идти, а договориться, потому что они там — все же законная власть...

— Мы сами власть,— прозвенел злой выкрик,— какая там еще законная нашлась...

— Это, значит, война, опять война пошла,— настаивал Шегабутдинов.— Потому что вы на штаб, а они из особого и трибунала всю силу выпустят на вас: у них же пулеметы, вы сами знаете...

Угроза подействовала. Чеусов первый заколебался:

— Я тоже думаю... я тоже думаю, товарищи, чтобы... поговорить сперва.

— Конечно, попытать,— поддержал его Василий Щукин.

Поддержало еще несколько голосов. Стали обсуждать, как и когда наладить в штадив делегацию. Но раньше того — звонили по телефону. Петров и Караваев зловеще молчали, не принимали участия в обсужденье. Переглянулись-перемигнулись с Вуйчичем и Букиным, вышли во двор. Дело с делегацией без них вовсе расклеилось, и скоро присутствующие, один за другим, тоже ушли; остались только Чеусов, Щукин Василий да Шегабутдинов... Был третий час ночи... Устало повалились на полу и только стали задремывать, как снова распахнулись двери, шумно ввалилась ватага.

— Теперь новый боевой совет,— ни к кому не обращаясь, громко сообщил Петров. А потом, повернувшись к Чеусову: — Вот красноармейцы избрали нас заново: я — председатель, потом Чернов, Букин...

— А мы как же? — изумился Чеусов.— Нас же на общем собранье выбирали...

— Не... И командующим меня назначили,— не слушая его, продолжал Петров,— а Букин вот в помощники, Чернов — комиссаром. Некогда тянуть, сейчас же надо дело делать...

— Товарищи,— обратился к ним Шегабутдинов,— можете мне верить, можете нет, но я тоже думаю, что всю крепость надо снова собрать, чтобы боесовет новый... А теперь, Петров, действительно ты должен заняться войсками, в совете мы и сами справимся.

Петров не протестовал. У него, видимо, была какая-то новая мысль:

— Ну, ладно. Только первым делом — приказ, что я командующий,— вдруг заявил он присмиревшему боеревкому.

— Ясное дело,— подтвердил Шегабутдинов.

— Второе — штаб мне сейчас же...

— Это уж вместе будем делать,— ответил Шегабутдинов.

— Штаб подожду, а приказ сейчас же...

Приказ скоро смастерили. Вот он:

ПРИКАЗ № 3[1]

Вр. Военно-революционного Боевого Совета
Семиреченской области.
1920 года 13 июня, 5 ч. утра.

§ 1

Тов. *Петров* назначается командующим войсками Семиреченской области. Его помощником тов. *Букин*. Первому приступить к своим прямым обязанностям, об исполнении донести.

§ 2

Тов. *Чернов* назначается политическим военным комиссаром при командующем войсками Семиреченской области, которому предлагается приступить к своим прямым обязанностям, об исполнении донести.

Председатель Вр. В. Р. Б. Совета Семиреченской обл.
Чеусов.
Тов. председателя *Б. Шегабутдинов.*
Члены: *Шкутин, Караваев, Прасолов, Вуйчич.*
Комендант крепости *Щукин.*

Петров и Караваев, а за ними и остальные собрались уходить.

— Надо бы их всех сюда,— сказал Вуйчич.

— Кого?

— А из штаба дивизии. Пусть прикажут-скажут, что они собрались делать.— И Вуйчич криво улыбнулся — видно было, что думал он вовсе не то, что говорил. Но мысль его всем понравилась. Затрезвонили по телефону в штадив. Требовали, чтобы Белов и другие немедленно явились в крепость.

— Не придут, сволочь, боятся,— крякнул Караваев.

— Придут, проси лучше,— усмешливо ему ответил Чеусов.

---

[1] Приказ № 2 не сохранился, и неизвестно, когда и по какому поводу он был составлен.

Мы всю ночь на ногах в штадиве. По проводу говорили с Ташкентом, сообщали свежие новости. За ночь два раза прибегал из крепости Агидуллин и взволнованно рассказывал сначала, как Шегабутдинова чуть не прикончили, потом — как собиралась крепость выступать. Наши дозорные через каждые полчаса приходили с разных концов к штабу и докладывали, где рыщут пьяные разъезды крепостников, где кого они примяли, где произвели дебош, самочинный обыск... Мы были в курсе происходящего. Потом звонок из крепости:

— Белову немедленно явиться в крепость.

Это было в три. Мы подумали-подумали — воспретили Панфилычу идти:

— Подождем до утра, пока не ходи.

Утром снова звонят:

— Явиться! Крепость требует!

— Я еду,— заявил Белов.— Павлушку беру Береснева и еду, а то еще подумают, подлецы, что боюсь их.

Это было уже иное время, иное положенье: шесть утра.

Ночью, в три, к пьяным идти куда было опасней.

Теперь, под утро, был слабей хмельной угар.

С Беловым поехали Бочаров, Кравчук, Пацынко. Мы их перед отъездом насытили советами.

— Павел,— приказывал дорогой Бересневу Белов.— Ты в крепости, тово, лишку не болтай. Сил наших настоящих не называй, а если спросят — раз в тридцать больше ври...

— Ладно. Знаю сам.

Ехали дальше молча. Береснев уважал Белова и верил, что тот сумеет в благодарность «отстоять» его перед центром и перед особотделом.

Подъехали к крепости.

У ворот, окруженный шумной братвой, встречает Караваев.

— Слезай с коней, давай оружие,— обратился он к приехавшим.

— Караваев, ты это брось,— сказал ему серьезно Белов.— Дело не в наших четырех револьверах, а мы

ведь все-таки по приглашенью... как делегаты,— так с делегатами нельзя.

— А это я для вас же, товарищ Белов,— с ухмылкой пояснил Караваев.— Вас же оберегаю. Массы, знаете ли, настроены очень скверно, могут, знаете ли, крикнуть: бей! То есть вас-то, дескать, бить... А вы... вгорячах и прицелиться, пожалуй, можете...

Толпа мятежников окружила приехавших тесным кольцом. Некуда деться. Да и бесполезно открыть огонь — зачем? Ребята молча сняли револьверы, отдали.

Толпа облипала, ширилась по кругу, росла. Караваев деланно-громким голосом,— так, чтобы слышали все,— спросил занозливо Белова:

— А что, товарищ Белов, разве это белая банда, как вы называли, а? Посмотрите-ка...

И Караваев рукой обвел неопределенно вокруг, словно хотел сказать:

«Эва, какие владенья-то у меня!»

Белов молчал. Тогда Караваев резче, громче:

— Так разве это похоже, Белов, на белую банду, а?

Тихо и строго Белов ему ответил:

— Не знаю, брат, не знаю,— сразу не определишь.— А потом добавил еще строже: — Ну, веди-ка нас в боесовет, там, верно, ждут — зачем звали.

Караваев от этого спокойного и строгого тона Панфилыча сразу потерялся, не знал, что дальше сказать, а когда увидел, что Белов уверенно, твердо пошел вперед средь раздвинувшейся притихшей толпы, только кинул ему вслед что-то неудачное и скороходью сам заторопился, догнал, повел к боесовету.

В комнате боесовета народу сбилось до отказа. Тут все члены совета в сборе. Они знали, что из крепости с минуты на минуту должны приехать делегаты, и нетерпеливо их поджидали. Посредине стола торжествующе восседал сам Чеусов. Как только Белов появился в дверях вместе с товарищами — Чеусов к нему:

— Ну, вот, мы вас и ждали. Это вы являетесь хозяином дивизии?

— Я не хозяин, а начальник дивизии,— поправил его Белов.

— Это одно и то же,— чуть сдрейфил Чеусов.

— Ну,— сказал Белов,— зачем вы нас позвали?

Кругом с оттянутыми шеями стояли красноармейцы. Они серьезно, сосредоточенно вслушивались в то, что говорили кругом. Иные пересмехались:

— Отта да... Отта самые что ни на есть... Одни главари попались...

— Мы вас хотим допросить,— заявил Чеусов.— Например, мы вам посылали делегатов в штаб, от вас тоже были... И мирное положение вполне было достигнуто... Мы вас уверяли, что хотим избежать кровопролития. Хорошо. Так вот почему же после этого всего вы от штаба в разные стороны выставляли посты, а на крепость направили свои пулеметы?

— Это ложь,— твердо ссек его Белов.— Никаких пулеметов на крепость мы не выставляли. Ложь. А что касается постов в разные стороны — так посты были и от вас: такое создалось положение, нам надо было охранять свой штаб...

— Угу... Так... хорошо,— расправил Чеусов мягкие, пышные усы.

Он сидел, важно развалившись на стуле, и, видимо, с большим наслажденьем смаковал свою новую, неожиданную роль. Он себя в те минуты, верно, почитал не простым допытчиком, а верховным судией: так много самоуверенной важности было у него во всей фигуре, в позе, во взгляде, в небрежно произносимых словах.

— Хорошо-с... так... А почему это,— продолжал он, скосив глаза на Белова,— почему это вы грузили несколько дней назад брички оружием и почему же это вы направляли их не куда-нибудь, а именно к озеру Балхашу?

— Киргиз вооружать! — крикнул кто-то от стены.

— Что такое, что за дичь, за вранье,— серьезно уперся взглядом в Чеусова Белов,— откуда вы все это взяли?

— Сам видел.

— Что сам видел?

— Как нагружали... Да... да...

— Ну, уж это, брат...— и Панфилыч развел руками.— Я заявляю,— вдруг повысил он голос,— заявляю, что никакого оружия за последнее время я не грузил и не отправлял на Балхаш. Это... это выдумка...

Вдруг Караваев стукнул по столу:

— А, что там слушать. Они вам брехают, а вы тут развесьте уши... Идти сейчас же и всех из штаба привести сюда...

— Стой, стой, Караваев,— остановил его Чеусов,— стой, не говори.

На Караваева действовал окрик, он примолкал.

— Караваев, погоди, а вы,— обратился он к Белову,— вы мне еще на один вопросик ответьте: сколько же это у вас пулеметов в особом и в трибунале?

— Да я-то откуда знаю, они мне не подчинены,— огрызнулся Белов.— У них спрашивайте, при чем тут штаб...

— Да што их слушать,— снова кто-то выкрикнул из толпы,— одно все вранье. В работу их взять...

— Я предлагаю,— рявкнул октавой Букин,— предлагаю все разговоры кончить, а Белова и пришедших с ним посадить в отдельную камеру...

Он грузно поднялся из-за стола, подошел к Панфилычу, взял его за плечо и сказал:

— Ну-ка, идем в кабинет, посидишь, а мы тут сами доделаем.

Белов резко отдернул руку Букина, запальчиво крикнул:

— Это что такое? Не сметь трогать! Знайте, что если вы нас и арестуете... если расстреляете даже — революция от этого не пропадет, не погибнет... Но вам тогда несдобровать... И дело без крови не обойдется: команды особотдела, трибунала и штадива — они даром вам в руки не дадутся... Так и знайте: будет бой, будет кровь! А вы сами присылали делегацию, заявляли, что против кровопролитья.

Все притихли и слушали со вниманием его страстную, обозленную речь.

— Я другое предлагаю,— продолжал Белов,— я предлагаю идти нам вместе к проводу и поговорить

с Ташкентом, вызвать командующего, и если он разрешит обезоружить команды — так тому и быть... Тогда без крови. А так — идите, попробуйте... Как «они» цукнут!

Речь произвела впечатление. За Беловым тотчас Береснев:

— Ребята, говорю это я — Павел Береснев. Я Белова знаю давно. Это человек хороший. Он не врет. И что он говорит, то дело. Он настоящий революционер — его надо слушать... д... да...

Встал, выпалил, примолк, сел, голову положил на широкие ладонищи.

Тут же случился Мерлин, председатель уревкома.

— Товарищи, вот видите мои худые сапоги? — и он приподнял сапог с отвалившейся подошвой.— Клянусь вам, что не надо никаких насилий. Прошу верить мне, как давно работающему в Семиречье, а Белова я знаю давно как хорошего человека... Миром, миром, товарищи...

Мерлин лопотал что-то ненужное, бессвязное, но уже настроение общее давно переменилось,— прежнего задора не было следа. Сошлись на том, что вместе с Беловым поедут в штадив представители боесовета и лично будут участвовать в разговорах с центром.

Выбрали Чеусова, Караваева.

А чтобы с ними ничего не случилось, в крепости оставили заложниками Бочарова и Кравчука. Пацынко уехал с Беловым, с ними и Чеусов, а Караваев, взяв человек тридцать конных, догнал их в пути. И когда подъезжали к штадиву, Караваев и Чеусов — боясь, что откроют огонь — Белова направили вперед, а сами за ним, зорко озираясь, робко пробрались во двор.

Подступили к проводу. Подошли к ним и мы, остававшиеся в штадиве.

Вызвали ревсовет фронта.

Рано утром этого же дня, то есть 13-го, городская партийная организация собралась около комитета. На руках у комитетчиков было распоряжение обкома

явиться к военному совету. Но они и думать про то не думали — развернули знамена и прямым сообщением наладили в крепость. Там их встретили как желанных друзей, торжественно, с музыкой. Партийные представители, по приглашению боесовета, уже работали в нем заодно с мятежниками. Крепость чувствовала себя в некотором смысле «революционной». И в самом деле, как это выходило революционно!

Тут тебе и коммунисты как будто заодно, тут тебе можно и «долой коммунистов» кричать, и уничтожать агентов по продразверстке, и требовать разоруженья особотдела и трибунала, свергать все власти военные и гражданские, провозглашать свою мятежную, крепостную власть,— это вот так коммунисты, с такими и дело любо вести!

Потому так торжественно крепость и встретила городскую организацию.

— Свои,— решили там безошибочно.

Были даже при встрече торжественные речи,— обменивались взаимно любезностями. С приветствием от партии досталась «великая честь» выступать Кирпо.

Произошел даже вежливый обмен официальными документами. Крепость писала:

Угоркому партии.

Временный военно-революционный совет предлагает партии влить в состав Врем. В. Р. С. четырех членов партии.

За предс. Врем. В. Р. С., член *Ф. Шкутин.*

Члены: *Кризенко, Прасолов, Караваев.*

Последовал ответ:

Городской комитет партии выдвигает во Временный военно-рев. совет товарищей: Менькова, Демченко, Кирпо, Дублицкого.

(Следует девять подписей.)

Словом, соблюли все необходимые «формальности». Один из командированных партией, Дублицкий, настолько усердно, рьяно взялся за работу, что уж вскоре сидел в боесовете над столом, за картой, вместе с мятежниками и разрабатывал план налета на особотдел. Правда, это был всего-навсего юноша годов девятнадцати. Потом, на суде, он сознался в ошибках своих и прегрешениях, но все же вреда натворил немало,— и не только в этом деле, он участвовал и в других, столь же зазорных и пакостных. Одним словом, крепость чувствовала себя в «контакте» с городскими «коммунистами» и начинала даже на них покрикивать. Так, например, тому самому почтенному собранию, что заседало в Доме свободы, крепость послала довольно отчетливое... извещение.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Вр. военно-революционный совет Семиреченской области считает долгом *оповестить* объединенное заседание всех организаций, состоявшееся в Доме свободы, что ему в полном составе предлагается явиться в крепость не позже восьми часов утра для разрешения наболевших вопросов среди тт. красноармейцев. В случае неявки советом *будут* приниматься меры как к неподчиняющимся *советской власти,* во главе которой стоит Вр. революционный боевой совет Семиреченской области.

6 часов утра, 13 июня 1920 года, крепость.

Председатель Вр. военно-революционного боевого совета Семиреченской области *(подпись).*

Тов. председателя *(подпись).*

Секретарь *(подпись).*

«Партийцы» верненские все переносили молча, крепостная узда им приходилась в самый раз. Недаром председатель угоркома телеграфировал в Ташкент краевому комитету партии, что все спокойно, помощь не нужна.

В самом деле, какая и зачем еще им требовалась бы помощь? Они во всей этой суматохе чувствовали себя как рыба в воде.

Теперь в крепости во время паскудного допроса Белова Чеусовым — они, представители партии, и не подумали возвысить свой голос против самой недопустимости подобного допроса, они сидели и сочувственно ухмылялись вместе с мятежниками над каждым беловским ответом.

Только Мерлин неловко вмешался со своими «дырявыми сапогами», да и то как-то слезно, просительно, по-христиански.

Заложников — Кравчука и Бочарова — скоро посадили в тюрьму. Разнузданная шпана вела в заключенье партийных товарищей, а «представители партии» стояли в сторонке и ухмылялись, единого слова не вымолвив в пользу заключенных. Ничего себе,— недурны «партийцы»!

На прямой провод вместе с Чеусовым и Караваевым их пожаловало трое: Демченко, Меньков, Дублицкий. Ташкент отвечал.

Еще значительно раньше, тотчас после вчерашнего совещания в штабе Киргизской бригады, мы сообщили центру все наши решения по двенадцати пунктам. И предупредили: решить-то решили, но сами этим решеньям не верим ни на грош, так как делегация крепостная и сама крепость в целом мыслят вовсе не одинаково, и плюнуть на любую свою делегацию — для крепости — пара пустяков.

Теперь, явившись в штадив, прежде чем говорить по проводу, мы устроили с мятежниками заседанье и на нем предполагали выработать «общее мнение», которое уж и сообщим центру. В ряду множества других подобных заседаний оно ничем не выделялось, и молотили мятежники на нем все ту же и такую же околесицу, как на всех прочих. Кой до чего «договорились». Подошли к проводу. Не все разговоры по проводу сохранились полностью. Иные — только в обрывках [1].

---

[1] И потом слова зачастую спутаны или искажены в них целые выражения.

И, видимо, перед тем как всем нам подойти для переговоров, кто-то из наших товарищей имел с Ташкентом следующий разговор:

— Подзовите к аппарату Новицкого, немедленно нужен!

— Здесь у аппарата Новицкий, член Турцика — Ибрагимов и председатель Турцика — Бисеров, остальных членов пока нет...

— У аппарата секретарь уполномоченного... Положение слишком критическое. Самозванным боесоветом выставляется ультимативное требование о сдаче военной власти командующему, выставленному ими... Собираются арестовать ответственных работников... Бунтарями выставлены посты по всем направлениям выезда из Верного... Положение очень тяжелое. Достали спирт в достаточном количестве, и можно ожидать печальных последствий... Скажите: ожидать ли нам здесь ареста или заранее выбраться в горы?

Мы никого не уполномачивали на такой разговор, тем более ставить этот нелепый вопрос: «ждать ареста или бежать в горы».

Откуда Ташкент мог это знать? Нам самим лучше было видно, до какого момента следует сидеть на месте и когда полезно бежать. Но такая была горячка, что к проводу тогда подходили почти все и завязывали самые невероятные, безответственные разговоры. Мы этого сначала вовсе не знали. Узнали только тогда, когда пожаловались телеграфисты:

— Заездили, товарищи: все говорят...

— Как все? — удивляемся мы.

— А так: идет, идет, повернется — и давай.

Впрочем, бывало и так, что какой-нибудь любопытствующий задавал разные вопросы из Ташкента:

— Что нового, как дела?

И тут ему отвечал тот, кто случится у аппарата. Всего разом не предусмотришь.

Разговор этот о «побеге в горы» на этом не закончился. Сохранились и еще обрывки:

— Здесь у аппарата члены реввоенсовета — Куйбышев и Ибрагимов, председатель Турцика — Бисеров,

председатель Совета комиссаров — Любимов, а товарищ Фрунзе сейчас подойдет...

— Настаивайте на кандидатуре Белова в командующие войсками,— советовал Ташкенту некто из Верного,— и отвечайте на последний вопрос (то есть о побеге в горы).

— По аппарату сейчас получите ответ. Новицкий.

— Хорошо. Ждем.

— Подошедшие к аппарату читают ваши сообщения. Новицкий.

— Хорошо, давайте ответ...

— Пока не прочтут — ответить не можем... Вы пригласили много лиц, которые все должны ознакомиться с разговором.

В это время, по-видимому, заседанье наше окончилось, говоривший по проводу это узнал и заторопился:

— Заседанье кончилось... Если не можете сказать, то мы уходим...

Из Ташкента тоже торопливо:

— Сейчас к аппарату подошел Фрунзе, сейчас начнем давать ответ...

Но уж было, видимо, поздно; говоривший из Верного на ходу диктует:

— Задержите... Подходят к аппарату Фурманов и Белов. За их спиной стоят повстанцы. Учтите это в разговоре, и потому ответа пока не нужно.

— Поняли и все учтем,— скрепил Ташкент.

Затем мы подошли к аппарату и запросили Ташкент:

— Скажите, кто у аппарата, и всех перечислите.

Оттуда отвечали:

— Сначала вы перечислите — кто это требует.

— У аппарата Фурманов, Белов, Позднышев, начособотдела Масарский, предобревкома Пацынко и члены так называемого реввоенсовета, организованного в крепости, Чеусов, Шегабутдинов, затем еще оскомпродив Мамелюк и некоторые ответственные работники. Говорю я, Фурманов. В ряде заседаний... выяснилось следующее: самый жгучий вопрос для восставшей массы — это вопрос о разоружении ОО и РВТ с передачей всего оружия крепости. На только что закончив-

шемся объединенном заседании военсовета и реввоенсовета было принято условно два предложения.

[Первое.] Оставить в той и другой организации (т. е. в ОО и РВТ) по пятнадцати человек, а остальные части команд [употребить] на укомплектование комендантской команды штадива со всем оружием, кроме пулеметов, передаваемых непременно в крепость, тем более что пулемет ОО уже не имеет замка, похищенного перебежавшим в крепость пулеметчиком.

[Второе.] Если масса не примет этого предложения и потребует полного разоружения команд и передачи всего оружия в крепость,— создавшаяся обстановка вынудит нас со всем согласиться и посылать на работу в ОО и РВТ караулы из караульного батальона. Военсовет и реввоенсовет будут настойчиво защищать первое требование, но в крайнем случае вынуждены будут согласиться и на второе.

Следующим крупным вопросом стоит организация власти — как военной, так и гражданской. В данное время у нас двоевластие, которое та и другая сторона желают окончить, но методы рекомендуют разные. Одно дело — соглашение организаций военсовета и реввоенсовета, и другое дело — наше общее соглашение с массой.

Мы, организации, договорились на следующем: реввоенсовет влить в обревком и военсовет. Караульный и батальон двадцать седьмого полка развести по своим местам, оставив в крепости [лишь] необходимую охрану. Обо всем широко оповестить население. Если это предложение не будет принято массой, то остается существовать во главе всей военной и гражданской власти реввоенсовет самочинный. Разница между самочинной и государственной организациями разъяснена как делегатам, так будет разъяснена и массам. Делегаты предупреждены о том, что в случае уничтожения государственной власти центр будет действовать броневиками из Ташкента и сибирскими армиями, стоящими под Лепсинском и состоящими из рабочих и крестьян, не привыкших свергать [свои же] государственные организации. Ждем от вас ответа на

два вопроса: первый — о разоружении ОО и РВТ, второй — об организации власти. Фурманов и остальные. Скажите, кто у аппарата? Желательно присутствие начособотдела и предреввоентрибунала.

— У аппарата командующий фронтом Фрунзе, члены реввоенсовета — Куйбышев, Ибрагимов и Любимов, председатель Турцика Бисеров и председатель ОО фронта. Говорит командующий. Из предоставленного реввоенсовету фронта материала [ясно], что местными органами власти как военной, так и гражданской, были допущены некоторые ошибки. В частности, как это видно из заявления гарнизона, это относится к пребыванию в Верном перебежчиков-офицеров, затем деятельности ОО. Указанные ошибки уже учтены фронтом, и дано распоряжение о переброске офицеров-перебежчиков в Ташкент для дальнейшего направления в Россию; что же касается ОО, то из Ташкента уже больше недели направлен новый начальник ОО — Соколовский. Постольку, поскольку заявления гарнизона касаются различных мероприятий,— должно установить подобного рода недочеты и с ними считаться. Поскольку же вопрос ставится о создании новых органов власти по усмотрению отдельных частей, реввоенсовет [фронта] считает это абсолютно недопустимым. [В качестве] практических мероприятий, как долженствующих улучшить работу местных органов, так и положение частей, должны быть сделаны, в частности: — Первое. Еще раз подтверждается переотправка перебежчиков-офицеров в Ташкент. Второе. Относительно вооружения населения подтверждается приказ фронта, согласно которому должны быть организованы части всеобуча, которые будут нести местную охрану, являясь в то же время резервом полевых частей, а неорганизованного вооружения населения, кому попало и как попало, быть не должно. Третье. Организация советской власти на местах является очередной задачей туркестанской советской власти, и этому вопросу посвящены все ближайшие съезды как на местах, так и в центре, в результате которых мы надеемся создать правильный аппарат рабоче-крестьянской власти в Туркестане.

Четвертое. Все заявления, касающиеся улучшения работы местных органов власти, должны быть проведены немедленно. Пятое. Помощь лепсинскому населению, разоренному войной, считается первой задачей советской власти, и этому вопросу должно быть уделено особое внимание, согласно нашим прежним приказам. Что касается ОО и РВТ, то реввоенсовет фронта согласен с военсоветом только в том случае, если оставшиеся части будут влиты в комендантскую команду штадива, с сохранением оружия. Вопрос об органах власти может быть разрешен только на основе сделанных уже нами указаний и должен быть санкционирован центральной властью. Новый орган должен состоять из лиц, знакомых фронту, и в этом случае разрешается военсовету наметить кандидатов из лиц, пользующихся доверием гарнизона, и представить их также на утверждение реввоенсовета фронта. То же самое относится и к обревкому. И в том и в другом случае сохраняется порядок издания приказов и несения ответственности перед всей рабоче-крестьянской массой республики. Вся оперативная работа и все приказы остаются за начдивом Беловым, так же как и приказы обревкома — за нынешним председателем. Реввоенсовет усматривает определенную работу лиц, обрадовавшихся возможности нанести удар Советской России и затруднить ее положение в борьбе с польской шляхтой, и требует разъяснить [это] красноармейцам. Я уверен, что чутье рабочего и крестьянина подскажет каждому из них необходимость немедленной ликвидации всего происшедшего на основе данных разъяснений. В частности, подтверждаю мой боевой приказ о переброске некоторых частей в Фергану, где в борьбе с разбойничьим басмачеством изнывают рабочие и крестьяне, ожидая братской помощи из Семиречья. Еще раз подтверждаю необходимость восстановления порядка, причем — в случае исполнения приказа и приступления к работе — не будет никакого преследования, если же приказ не будет выполнен и среди частей найдутся люди, которые способны нанести в спину Советской России удар, то никаких разговоров с ними, как палачами России, не будет. Рабочие России и

войска фронта, как представители их, заставят считаться с ней. В ближайшее время я, как командующий фронтом и сам сын Семиречья, выеду в Верный. Реввоенсовет фронта ожидает немедленного ответа на поставленные им требования. Комфронта Фрунзе, член реввоенсовета Куйбышев.

— Говорит Фурманов в присутствии представителей военсовета и крепостного ревсовета. Все переданное вами будет принято к немедленному исполнению. Сейчас вопросы разберем на объединенном заседании военных и гражданских работников, потом объявим всем красноармейцам, находящимся в крепости; о результатах известим вас. По нашему мнению, один из членов реввоенсовета [фронта] должен быть поблизости от аппарата, чтобы самые срочные ответы не замедлялись.

— Дежурство будет, причем можно говорить с товарищем Малиновским и товарищем Новицким как нашими заместителями. Передаю для сведения только что полученное радио из Москвы о взятии нашими войсками Киева и решительном повороте борьбы в нашу сторону, причем озверелая польская шляхта разрушила большую часть города, заводы, электрические станции и даже собор Киево-Печерской лавры. Известно ли вам, далее, что в Персии вспыхнула коммунистическая революция, образовалось в Реште революционное правительство, англичане и купечество покидают [город]. Это обстоятельство особенно должно обратить наше внимание на афгано-персидскую границу. Здравый смысл и чувство [чести] 3-й дивизии подскажут ей место в рядах славной рабоче-крестьянской армии...

Был, вероятно, и еще какой-то разговор, но здесь лента порвана. Мы после этих переговоров тут же, в штадиве, устроили с крепостниками летучее совещание, обсудили все, что сказал нам Ташкент, и постановили идти в крепость, созвать там общее собрание и из нас одному выступить с обширным докладом — как по поводу вчерашнего заседания в штабе Кирбригады, так и для разъяснения этого только что из центра полученного распоряжения.

Выбор пал на меня. Дружески напутствовали, заряжали ребята бодростью, энергией,— так провожали, словно чувствовали, как обернется все дело. Пошел еще в крепость Мамелюк, пошел Пацынко. Чеусов и другие с ним уехали раньше; мы — обождав, посовещавшись, выработали линию поведения.

Шегабутдинов остался в штадиве, с Чеусовым в крепость не возвратился и вообще до конца мятежа туда больше не показывался, ни на минуту не оставляя военный совет.

За эти полтора-два часа, что остались нам до поездки на крепостное собрание, мы связались и поговорили с Пишпеком. Там, в Пишпеке, в данное время находился и Кондурушкин. Ни с каким другим центром по области связи установить мы не могли,— не знали, на кого положиться.

Единственным был — Пишпек. Заведующему там пунктом особотдела Окотову, верному, надежному парню, дали телеграмму:

Военная. Вне всякой очереди. Восточный.

Восставший батальон двадцать седьмого полка, соединившись с другими гарнизонными частями, захватил крепость и пытается провозгласить себя высшей властью. К нам на помощь из Ташкента идет тридцать восьмой броневой отряд и фронтовая рота на грузовиках. Как только они прибудут в Пишпек, дайте мне знать немедленно шифром, а их пока, впредь до особого распоряжения, остановите в Пишпеке. Мандатом на действия вам будет служить эта телеграмма. Примите меры к предупреждению у вас чего-либо подобного. Известите Зиновьева и ряд ближайших работников. № 900.

Уполномоченный РВС Туркфронта *Фурманов.*

Окотов сразу забил тревогу, созвал ответственных работников и прежде всего, ввиду чрезвычайной секретности заседания, дал всем подписать смертную бумагу. Вот она:

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, присутствовавшие на совершенно секретном заседании 13 июня 1920 года в 8 ч. вечера, созванном зав. пунктом Особого отдела, сим обязуемся хранить в строжайшей тайне все, что говорится, и все даваемые поручения. За нарушение тайны обрекаем себя на расстрел.

1. *Окотов,* 2. *Борзунов,* 3. *Шаповалов,* 4. (неразборчиво), 5. *Жиманов,* 6 (неразборчиво), 7. *Айдарбекев,* 8. *В. Сопов,* 9. *Булавин,* 10. *Кара-Мурза,* 11. *Кондурушкин,* 12. (неразборчиво), 13. (неразборчиво), 14. *Судорогин,* 15. (неразборчиво), 16. *Зиновьев.*

И тут же избрали орган действия — секретный штаб, о чем составили протокол.

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания активных работников Пишпекской организации РКП под председательством Окотова, 13 июня 1920 г.

После доклада Окотова о причинах созыва работников приступлено к избранию секретного штаба, с правом начальнику штаба единоличного разрешения всяких вопросов. В помощь начальнику штаба необходимо избрать помощника и адъютанта.

После прений избраны: Начальник штаба тов. *Окотов.* Помощник начальника *Кара-Мурза.* Адъютант *Голубь.*

Заседали поздним вечером, к ночи.

Выработали приказ — наутро его расклеили по городу.

Приводим здесь целиком этот памятный документ:

ПРИКАЗ № 1

14 июня 1920 года.

Сим объявляется, что с настоящего момента город Пишпек объявляется на осадном положении.

Вся власть в городе передается в руки штаба в составе нач. штаба тов. Окотова, его помощника Кара-Мурза и адъютанта тов. Голубя. Все распоряжения из области не подлежат исполнению без ведома штаба.

Воспрещаются всякие собрания, митинги, вечера и увеселения впредь до распоряжения.

На все время осадного положения воспрещается колокольный звон и церковные службы.

Выезд из города без пропуска штаба воспрещается под страхом расстрела на месте.

Товарищ Шаповалов назначается командующим всеми вооруженными силами Пишпекского, Нарынского и Пржевальского уездов; все его распоряжения действительны только за подписями начальника штаба или его помощника.

Начальником уездно-городской милиции назначается тов. Снигирев. Начальником гарнизона назначается тов. Жевакин.

Всякая подача и приемка телеграмм без разрешения штаба воспрещается.

Все военные силы города Пишпека и уездов: Пишпекского, Токмакского, Нарынского, Пржевальского переходят в полное подчинение штаба г. Пишпека.

Все нарушения караульной службы, нарушение дисциплины, неподчинение штабу или неисполнение одного из пунктов настоящего приказа будут караться немедленно расстрелом.

Все коммунисты и советские работники остаются на своих местах и исполняют беспрекословно распоряжения штаба.

Вплоть до отмены осадного положения Ревком переходит в распоряжение штаба и исполняет только его указания.— Подлинный подписал начальник штаба *П. Окотов,* помощник *Кара-Мурза,* адъютант *Н. Голубь.*

Мы связались с Пишпеком,— уж не помню, что разузнали, о чем предупреждали,— за спиной боевого

совета вели свою работу. То же самое делал, впрочем, и сам боесовет.

Одно дело — его официальные переговоры с нами и всякие заседания, а другое дело — та работа, которую они, боесоветчики, тоже там, у себя, не обрывали ни на миг. Особенно неспокойно держался сам крепостной «главком» Петров,— ему были решительно нипочем какие бы то ни было заседания и совещания, он их не признавал, плевал на все постановления, сам в заседаньях не был; вместе с Караваевым, Букиным и Вуйчичем не уходил из гущи бунтовщиков и ворошил непрестанно какое-то свое, цельное дело.

Прежде всего он определил, каким частям быть в крепости, как переформировываться, развертываться, пополняться.

Выяснял всякие возможности — свои и наши, выискивал командиров, ставил их на должности — словом, был действительно душой организующейся крепости. Народу сюда понабежало всякого и отовсюду: беженцы лепсинские и копальские; выпущенные или скрывшиеся из-под замков особотдела и трибунала; крепкие хозяйчики близких и отдаленных сел, деревень, наехавшие то с жалобами на «бесчинство властей советских», то за оружием, то попросту поживиться в суматохе или же навестить своих родных-знакомых. Были тут и перебежчики из разных команд,— комендантской, штадива, особовской, трибунальской, были выпущенные из арестного дома, пострадавшие вообще от советских карательных органов, шныряли инвалиды,— словом, такой подобрался материалец, который от первой искры, подобно бочке с порохом, взорвется. С таким материалом тонкая нужна осторожность: чуть оступился — и может быть вмиг конец.

Вся эта гневная масса зловеще волновалась, из памяти выхватывала разные воспоминанья про «разбои советчиков» (и тут продразверстка!), раскаляла атмосферу недовольства, грозила каждый миг прорвать плотину терпенья, вырваться бурным, буйным потоком на волю.

Петров, Караваев, Букин, Вуйчич, Чернов образовали группу так называемых «активистов»,— они ни-

Обложка первого издания «Мятежа». 1925 г.

сколько не хотели с кем-либо переговаривать и объединяться, они все хотели делать только сами.

Хотели, но... не решались. Им не хватало какого-то одного только винтика, пустив который в оборот, они совсем, совсем по-новому заставили бы работать крепостную машину. Они выражали явное недовольство тем, что боесовет якшается со штадивом и чего-то еще церемонится, но этим недовольством да проклятьями только и ограничивались, большинство боесовета не всегда было с ними: Невротовы, Фоменки, Прасоловы и иные. Эти, видимо, все надежды свои возлагали и все действия свои откладывали до прихода 26-го полка. Вот где был корень дела.

Пока что — промышляли приказами.

Приказ № 3 был о назначении командующего. Этот приказ издал военсовет. А теперь «командующий» издал за № 4 свой приказ, не считая, видимо, нужным заводить особую нумерацию.

Вот содержание документа:

ПРИКАЗ № 4

По войскам Семиреченской области.
13 июня 1920 г.

§ 1

Предлагаю всем командирам полков, командирам рот и начальникам команд самочинных выступлений не производить, о чем и сообщить своим частям. В случае неисполнения сего будут преданы суду.

§ 2

Начальником штаба войск назначается тов. *П. Бороздин.*

§ 3

Секретарем штаба войск назначается тов. *Круглов.*

§ 4

Предлагаю командирам полков немедленно привести свои части в боевой порядок.

Подлинный подписали:

Комвойск *Петров.*
Военком *Чернов.*
С подлинным верно: нач. штаба *П. Бороздин.*

Видите — тут уж приказывается полки привести в боевой порядок. Это значит только одно: «активисты» готовились к действию. Сохранился еще за этот же день характернейший документ, который выдал Петров одному молодцу уж совсем не по «боевому порядку», а по делам... продовольственным. Его содержание:

МАНДАТ

Дан сей красноармейцу Савелию *Исаенко,* командируемому с командой в числе 50 человек для преследования и арестования комиссии, отправленной по селениям Верненского уезда до с. Зайцевского для производства всевозможной реквизиции, что подписью и приложением печати удостоверяется.

13 июля 1920 г.,
г. Верный.

Комвойск Семиреченской области *Петров.*
Военком *Чернов.*
Верно: начальник штаба *П. Бороздин.*

Так широко было поле деятельности «командующего»: и организация сил для наступления, и борьба... с продразверсткой!

В то же время Чеусов, председатель боесовета, спешно устанавливал и завязывал вновь и укреплял уже наладившиеся связи с селами, деревнями. Сохранилась, например, весьма показательная переписка боесовета с Алексеевским ревкомом. Крепость еще 12-го писала:

Секретно. Экстренно, неофиц.
Алексеевскому сел. Ревкому.

Вр. областной военно-революц. Боевой совет сообщает вам для сведения, что в городе тишина и спокойствие. Как идут дела у вас, сообщите скорей нарочным и не забывайте, товарищи, что вам нужно быть наготове, по первому нашему извещению стать, как один, всем под ружье.

Подпись.

На это давала ответ Алексеевская волостная военная комиссия. Ответ, писанный корявой рукой, таков:

Алексеевской
волостной военной комиссии
Верненского уезда

13 июня 1920 г.

№ 131.

Сел. Алексеево.

Председателю Военно-Революционного Совета
Семиреченской области.

На ваше отношение от 12 июня 1920 года с просьбой не выдавать оружия без ведома вашего и отобрания оружия от таранчей, которое они отобрали у крестьян, сообщаю вам, что оружие отобрал я путем мирных переговоров: винтовок 5 и централок 9, патронов 375 и две ручных гранаты. Сам председатель Карасукского волостного ревкома Юсупов и с ним 2 человека его прихвостников ночью бежали — по слухам, на город Верный и увезли 5 револьверов, 2 трехлинейки и винтовки. Настроение как таранчей, так и русских очень хорошее, везде тишина и порядок; просим сообщить, какие у вас новости. Мы пока не боимся: организация наша хороша. Если вам нужно, то просите помощь. Мы дадим резервов, остальное вам все пояснит товарищ Лехтин.

Алексеевской Военной волостной Комиссии
(подпись).

Крепость набиралась сил. Устанавливала связи. Организовывалась. Готовилась в «боевой порядок». Силы росли у ней не по часам,— минутами. А наши растаяли вовсе. Осталась горстка — по существу, беспомощная. Единственным достоинством этой горстки было то, что она не растерялась, не пала духом, работала дружно и, не зная устали, понимала верно психологию разбушевавшейся толпы и в соответствии со всем этим — лавировала. И только. Этого «только» оказалось довольно.

Пришел час — надо было снаряжаться в крепость. Пожали нам крепко руки на прощанье, пожелали успеха друзья,— мы ушли. Всю дорогу обсуждали с Мамелюком — как держаться, что говорить. И еще условились, что вслед за моим общим докладом он выступит по хозяйственным вопросам дивизии, по продовольственному, а кроме того — коснется и вчерашнего совещанья в Доме свободы.

Напрасно уговаривались мы с Филиппом Иванычем,— обстоятельства прежде времени расшибли весь уговор.

При входе в крепость встретили нас члены боесовета. Тщательно осмотрели. Оружия при нас не было,— умышленно с собой не взяли, знали, что отымут все равно. Вошли. И тут же настояли, чтоб посреди крепости немедленно созывали митинг. Крепость быстро пришла в движенье. Скоро знали все, что решено собранье; опрометью неслись к центру крепости, торопясь занять места ближе к телеге, откуда будут речи.

Вот она, многотысячная вооруженная толпа — сбилась, гудит, ревмя-ревет, словно стадо голодных зверей. Тут «недовольных»... сто процентов! У каждого свой зуб против советской власти: кто за то, что от дома против воли на фронт отлучают, кто за разверстку, кто отомстить трибуналу охотится или особому, кого не обули вовремя, кому помешали хапнуть, кому сам строй не люб новый,— словом, всяк сверлит свое.

Ну-ка, сунься в этакое пекло!

Собрались вожаки, обступили телегу. Влез Букин, зычно объявил:

— Собранье открывается. Сегодня будем здесь обсуждать вопросы, про которые говорит Ташкент... командующий там и члены ревсовета... Слово даем председателю военного совета дивизии...

Он назвал мою фамилию. Поднялся я, встал в рост, окинул взором взволнованную рябь голов, проскочил по ближним лицам,— чужие они, злые, зловещие...

Как ее взять в руки, мятежную толпу? Как из этого официального доклада построить агитационную речь, которая нам сослужила бы службу?

Прежде всего — перед лицом мятежного собрания надо выйти как сильному: и думать, мол, не думайте, что к вам сюда пришли несчастные и одинокие, покинутые, кругом побитые, беспомощные представители жалкого военсовета,— пришли с повинной головой, оробевшие... Может быть, и не прочь они толкнуться к вам за милостью, за прощением? О нет. К вам пришли делегаты от высшей власти областной, от военсовета, у которого за спиной — сила, который вовсе не дрогнул и пришел сюда к вам не как слуга или проситель, а как учитель, как власть имеющий. Он вам открыто заявит свою волю, непоколебленную волю военсовета.

Словом — выступать надо твердо, уверенно, как сильному, и без малейших уступок, колебаний. Это первое: твердо и не сдаваясь в основном.

А второе — не выпускать ни на одно мгновенье изпод пытливого взора всю толпу, разом ее наблюдая со всех сторон и во всех проявлениях: говорить — говори, но и слушай чутко разные выкрики, возгласы, одобрения или недовольства, моментально учти, отражают ли они мнение большинства или только беспомощные попытки одиночек. Если большинство — туже натягивай вожжи; если одиночки — парализуй их вначале, спрысни ядовитой желчью, выклюй им глаза, вырви язык, обезвредь, ослепи, обезглавь, разберись в этом вмиг и, поняв новое состояние толпы, живо равняйся по этому ее состоянию — то ли грозовеющему, то ли опавшему, смягченному, теряющему — чем дальше, тем больше — первоначальную свою остроту. А как только учтешь, поймешь — будь в действии гибок, как пантера, чуток, как мышь.

Если нарастает, вот она, близится гроза, чуешь ты ее жаркое близкое дыханье,— зажми крепко сердце, жалом мысли прокладывай путь — не по широкой дороге битвы, а окольными чуть приметными тропками мелких схваток, ловких поворотов, неожиданных скачков, глубоких, острых повреждений, иди — как над ревущими волнами ходят по зыбкому, дрожащему мостику, остерегайся, озирайся, стремись видеть враз кругом: пусть видит голова, пусть видит сердце, весь организм пусть видит и понимает, потому что кратки эти переходные мгновенья и в краткости — смертельно опасны. Кто их не понимает, кто в них не владыка — тот гибнет неизбежно. Когда же минуешь страшную полосу, когда чуть задумаются бешеные волны нараставшего гнева толпы, задумаются, приостановятся и глухо гудущей, тяжкой зыбью попятятся назад,— смело уходи с потаенных защитных троп, выходи на широкую, на большую дорогу. Но — ни гугу. Чтоб никто не приметил,— ни в голосе твоем, ни в слове, ни по лицу твоему взволнованному,— как по тайным тропкам минуту назад скрывался ты от грозно ревевшей близкой катастрофы. Кроме тебя одного, этого никто не должен видеть и знать. Разомкнулись тучи, миновала черная беда, нет больше опасности мгновенного взрыва, толпа постепенно остужается, нехотя и медленно отступает сама под напором твоих убеждающих, крепнущих слов. Не прозевай этого кризисного, чуткого момента, не упусти. Все туже, все туже навинчивай на крепкую ладонь эту тонкую невидимку-узду, на которую взял уверенно обезволенную, намагниченную толпу. Возьми ее, оскопленную, плененную тобой, возьми и веди, куда надо. Веди и будь лицом к толпе, и смотри, смотри по-прежнему пристально и неотрывно ей прямо в мутные глаза. Ни на миг не отрывайся от охмелелых, свинцовых глаз толпы, читай по ним, понимай по ним, как ворочается нутро у ней, у толпы, что̀ там *уже* совершилось, ушло невозвратно, что́ *теперь* совершается в глубине и что̀ совершиться *должно* через минуты. Просмотришь — будет беда. Твой верный, твердый шаг должен командой отдаваться в сердце намагниченной толпы, твое

нужное острое слово должно просверлить толстую кору мозгов и сделать там свою работу. Так надо разом: будь в этих грозных испытаньях и непоколебимо крепок, подобно граниту, и гибок, и мягок, и тих, как котенок.

Это запомни — во-вторых.

В-третьих, вот что: знай, чем живет толпа, самые насущные знай у ней интересы. И о них говори. Всегда надо понимать того, с кем имеешь дело. И горе будет тебе, если,— выйдя перед лицом мятежной, в страстях взволнованной, разгневанной толпы,— ты на пламенные протесты станешь говорить о чужом, для них ненужном, не о главном, не о том, что взволновало. Говори о чем хочешь, обо всем, что считаешь важным, но так построй свои мысли, чтобы связаны были они с интересами толпы, чтоб внедрялись они в то насущное, чем клокочет она, бушует. Ты не на празднике, ты на поле брани,— и будь, как воин, вооружен до зубов. Знай хорошо противника. Знай у толпы не одни застарелые нужды,— нет, узнай и то, чем жила она, толпа, за минуты до страстного взрыва и пойми ее неумолчный рокот, вылови четкие коренные звуки, в них вслушайся, вдумайся, на них сосредоточься. Мало того, чтобы зорким взором смотреть толпе в хмельные глаза и видеть, как играют они, отражают в игре своей внутреннюю бурю. Надо еще понимать, отчего разыгралась она, какие силы вызвали ее на волю, какие силы заставят утихнуть. И какой бы ты ни был мастер — никогда не возьмешь на узду толпу чужими ей делами, интересами, нуждами. Можно взять и чужими, но докажи ей сначала, убеди, что не чужие это, а собственные ее интересы. Тогда поймет.

Потом, в-четвертых.

Глянь на лица, всем в глаза, улови нужные слова, учуй по движеньям, пойми непременно и то, *как* передать, как сказать этой толпе слова свои и мысли — *так* сказать, чтобы дошли они к ней, проникли в сердцевину, как в мозг кинжал. Если в тон не попал — пропало дело: слова в пространство умчатся, как птицы. В каждую толпу только те вонзай слова, которых она ждет, которые поймет, которые единственны,

незаменимы. Других не надо. Другие — для другого времени и места, для другой толпы.

А вот тебе пятый совет, вовсе неожиданный:

— Польсти: *здесь* это надо!

Не забывай того, что волнуется перед тобой не рабочая толпа, которой можно и надо прямо в глаза сказать серьезную, суровую правду,— там ее поймут. И пусть будет от того стократ тяжелей, но им враз нельзя не сказать эту горькую правду. Крепостная толпа — не такая. Эту *сразу* правдой суровой не возьмешь.

Ты скажешь эту правду, скажешь всю, но не сразу — потом. Скажешь тогда, когда их мысли и сердца будут обмаслены медом лести, когда гладко сможет войти к ним правда — жесткая, сухая, колючая. Они ее смогут принять только незаметно для себя, как больной — лекарство в пилюле. Для *такого* конца, для своей цели — примени и это средство: нужную дозу лести. И оно пойдет на пользу, искупится, окупится. Само по себе ни одно средство ни хорошо, ни плохо, оно оценивается только по достигнутым результатам. Не слюнявься, иди к цели. Ты скажи мятежникам такое, *что* они любят слушать, от чего тают их сердца, от чего спадает их гнев, расползается-ширится доверчивость, пропадает подозрительность, настороженность, недоверие к тебе и твоему делу. А тогда — бери голыми руками. Знаешь — как следователь: он сначала вопросами пятого порядка отвлечет и усыпит твою бдительность и недоверчивость, а потом, когда распояшешься и обмякнешь — сам скажешь начистоту, если сам ты не кремневый. А какая же толпа — кремневая? Буйство — это не сила, буйство только разгул страстей.

Вот тебе все советы. В последних, так сказать, на разлуку только два слова: когда не помогают никакие меры и средства, все испытано, все отведано и все — безуспешно,— сойди с трибуны, с бочки, с ящика, все равно с чего, сойди так же смело, как вошел сюда. Если быть концу — значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно! Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза.

Умереть по-собачьи, с визгом, трепетом и мольбами — вредно.

Умирай хорошо. Наберись сил, все выверни из нутра своего, все мобилизуй у себя — и в мозгах и в сердце, не жалей, что много растратишь энергии,— это ведь твоя последняя мобилизация! Умри хорошо...

Больше нечего сказать. Все.

Мы с Мамелюком в мятежном потоке. Окружили нас тесной, ревущей, зычно гудущей толпой. Вот они, рядом... И с какой беспредельной злобой, исподлобья взглядывает на нас угрюмый Букин, как лукаво, ненадежно ухмыляется Чеусов под пышными усами, как хитро сверкают перламутровые караваевские глазки... Куда ни глянь — насмешка злая, негодующая. Куда ни глянь — угроза.

Мы в пучине разгневанной стихии... Вот подхватит сейчас и помчит нас, как легкие щепки на гребнях бушующих волн.

— Товарищи! Нам командующий фронтом приказал идти сюда и говорить с вами. Ваши и наши представители вчера на заседании договорились по всем вопросам, которые волновали крепость. Эти решения мы сообщили центру и имеем оттуда ответ. О результатах вчерашнего совещания и об ответе центра и будет теперь наша речь. Не станем выхватывать отдельные мелочи и спорить по ним. Я прошу сделать так: один за другим, последовательно, я переберу все вопросы вчерашнего заседания, расскажу, как и что мы по каждому из них решили, как на каждый вопрос отозвался Ташкент и что теперь приказывает вам и нам делать... Первый вопрос заключается в следующем...

И я рассказал им, в чем дело. За первым вопросом — второй, за вторым — третий...

Сначала, первые минуты, особенно трудно: галдели, не слушали, перебегали с места на место, вызывающе бряцали оружием, смеялись громко промеж себя, харкали, крякали, вскрикивали резко, всвистывали, ухали дико, презрительно, не слушая речь...

Но мчался, врезался в толпу поток таких волнующих заманчиво-притягательных слов:

— Продразверстка... Особотдел... Расстрелы... Переброска...

Просвистывать эти слова не было никому охоты — наоборот, захотелось всем слышать и знать, во все вступиться.

«Надо слухнуть, чего там брехает»,— видимо, каждый решил про себя.

И всего через пять или шесть минут такая восстановилась тишина, будто тут и не тысячи стояли, а кучка в десять человек, и будто это вовсе не мятежная, гневная толпа, а внимательные, близкие приятели... И уже легко было говорить: крепко бодрило это чуткое внимание притихшей толпы...

— Кто сказал, что вы против советской власти? Как можете против советской власти идти вы, красные бойцы, чьими трупами усеяны и чьею политы кровью Копальско-Лепсинские горы и равнины?!. Это подлая ложь, что вы враги советской власти. Вы ее истинные друзья, потому что создана она на костях ваших братьев, красных героев, жизнь отдавших за нее!

Это, разумеется, было верно. Два года изнурительной борьбы тому были порукой. Но это же теперь, во дни мятежа, наполовину оказалось и неверно. Надо было отбросить, забыть пока вторую половину вопроса и говорить только о первой, говорить только о заслугах бойцов-семиреков, надо было взволновать одних, осрамить других, заставить раздуматься третьих над тем, что они теперь вольно или невольно делают.

Тихо, недвижно, в глубоком молчании застыла толпа, жадно ловила слова, ее пронимавшие до сердца...

Я говорил уж второй час...

Вдруг на телегу вскочил Вуйчич:

— Товарищи... Срочно прекратить митинг... Роют окопы... Показались киргизские роты, вооруженные пулеметами... И еще идут на крепость броневики!!!

Ахнула толпа. Вмиг, как сон, разлетелось молчание, и зазвенела она, загудела, заухала тысячами криков, приказаний, команд...

За секунды перед тем спокойно стоявшая, она вдруг забесилась, как сумасшедшая, заметалась в разные стороны...

— Пройдемте в боесовет,— сказал Чеусов.

Мы переглянулись с Мамелюком и, ничего не поняв, пошли сквозь мечущуюся в панике массу красноармейцев...

Только вошли в помещение, как за нами вошел и Вуйчич.

— Ошибка оказалась,— заявил он, не глядя на нас.— Тревога-то ложная вышла... Никого нет... Только зря напужали...

И криво, нехорошо ухмыльнулся.

Тут мы сразу поняли все.

Вожаки-мятежники сами устроили эту ложную тревогу. Им надо было сорвать митинг. Они полагали, что в самом начале сорвет его сама толпа, которую перед тем они ловко нашпиговали. Но толпа не сорвала — наоборот, она слушала сосредоточенно, внимательно, серьезно.

И была опасность, что мы, представители военного совета, заговорим, «околдуем» эту толпу, овладеем сначала ее вниманием, а потом, может быть, и расположеньем, сочувствием...

Может быть, в *таком* состоянии мы сумеем навязать ей, внимающей чутко толпе, свои мысли, свою волю...

— Э, да тут грозная опасность, не зевай!

И главари порешили расшибить то впечатление, которое мы уже успели произвести, они ловко оборвали митинг. Вспугнутая крепость похваталась за оружие, кинулась к пулеметам, приготовилась встретить неведомого врага.

А когда узналось, что тревога ложная, до того ли тут было, чтобы снова созывать митинг и снова беседовать? Кому была охота... Так и сорвали. А мы сидим в боесовете и скучно, тошнотворно обсуждаем какие-то вовсе второстепенные вопросы. Мы недоумеваем, зачем теперь и кому мы сами тут нужны? Скоро и это все объяснилось.

За столом и вокруг стола народу сидело, стояло — множество. Заседанье боесовета было летучее, наспех

сколоченное — проще сказать, подстроенное. Особенно суетливо и нервно вел себя Вуйчич: он то и дело выскакивал и куда-то убегал. Потом, минут через пятнадцать, пришел вместе с Тегнерядновым, и оба быстро протискались прямо к нам.

— А знаете,— обратился Вуйчич,— знаете про то, что красноармейцы требуют разнести все советские учреждения. Они... они приказали нам вас арестовать... От имени всех красноармейцев... да... арестовать...

Было совершенно очевидно, что «все красноармейцы» вовсе тут ни при чем — нас арестовывала кучка негодяев. Но что ж поделать?

Я обратился к Чеусову:

— Это что ж, товарищ Чеусов, значит и боесовет согласен на наш арест? Это с вашего разрешенья?

— Нет...

Он смутился, явно растерялся.

— Мы ничего не знали... Это... это ничего неизвестно...

— Так вы спросите их,— указали мы Чеусову на Вуйчича и других.

Но Тегнеряднов крикнул:

— Ладно, довольно болтать, иди без разговоров!

И, зайдя сзади, нас кулаками и прикладами стали выталкивать в дверь. Чеусов и другие ни слова. Вся эта комедия разыграна была с ведома боесовета, и скрыть этого он вовсе не сумел.

Вышли... Шли двором. Недоуменно смотрели на нас встречавшиеся красноармейцы — видно было, что об аресте нашем большинство ничего не знает. Но не станешь же к ним теперь обращаться за помощью. Пришли в казематку, протолкнули нас всех в узкую полумрачную каморку. Там сидело уже ранее арестованных человек пятнадцать, все больше политические работники дивизии и партшкольцы. В уголку, в самом конце каморки, встретились пять дружков: Бочаров, Кравчук, Пацынко, Мамелюк и я.

— Плохо дело, ребята...

— Ни к черту не годится...

— Теперь возьмут еще человек пяток — десяток: в штадиве никого не останется...

— И что только будет тогда...

— Да уж, без удержу...

— А удрать тут некуда?

Такой вели меж собой мы разговор.

Приподнимались по стене, ползли по грязному полу, обшаривали каморку...

— Можно всего ожидать...

— Конечно... от такой шпаны...

— Тш-ш-ш... тут у них, может, шпики сидят...

— Да, потише, ребята,— вишь, кто-то заглядывает в окно...

К решетчатому окну подошли несколько человек красноармейцев и заглянули, но вряд ли что им было видно в казематном полумраке. И с этих пор, как заглянули двое, уже все время подходили новые и тоже заглядывали — один другому, слышно, сообщал:

— Попались главари-то... сидят...

И, позванивая оружием, снаружи, приникали к решетке, силились нас рассмотреть, перешучивались, отмачивали словечки, иные слали проклятья, угрожали, обещая недоброе.

Сидим мы, вполголоса поговариваем. О чем тут говорить, в такие минуты? Положенье наше яснее ясного: в лапах у мятежников, в казематке, тронуться некуда, говорить не с кем, просить нечего и не у кого — мы тут совершенно беспомощны. И самое большое, что сможем сделать,— это умереть как следует, если уж к тому идет дело.

Признаться, мы все ждали худого конца. И как его было не ждать? Если уж так легко сорвали митинг и не возобновили его, если уж так легко взяли нас и посадили,— отчего ж и не кончить нас столь же легко. Мы всецело у них в руках. Мы — да еще десяток в штадиве — единственное им препятствие на пути к установлению *своей* власти... В чем же дело? Отчего не предположить, что нас выведут и расстреляют. Разве сами мы, подняв восстание, где-нибудь в белогвардейском стане и захватив белую головку, не можем вгорячах «послать ее в штаб Духонина»? Конечно, можем. А тут еще такая необузданно дикая толпа. И никаких принципов. Никакого, по существу,

руководства. Отчего не предположить? И мы ждали. Сам собою угас, прекратился разговор. Наши соседи тоже притихли — верно, думали о том же, что и мы, того же ждали... В каморке мертвая тишь. Чернел, сгущался полумрак. Я придвинулся к окошку, снял сапоги, протянулся, примостился и, по привычке, вытащил клочок бумаги, вкривь и вкось начал записывать свои мысли в столь необычном состоянии. Я не видел строк, писал наугад. Но хотелось записать именно *теперь,* в самый этот редкостный момент жизни...

Так прошло часа два... Вдруг за дверью, в коридоре какая-то возня. Слышно, как быстро подошли к нашей каморке несколько человек и о чем-то заговорили со стражей,— нас оберегало двое с винтовками, стоявшие за дверью. Не то спрашивали, не то уговаривали, не то бранились,— не разберешь. И тут же завизжала, растворилась тяжелая дверь. Чужой голос зычно рявкнул во тьму каморки:

— Здесь Фурманов?

Мы замерли. Насторожили уши. Сразу у меня словно оторвалось сердце и упало. Во рту будто полили холодными мятными каплями, дрогнула и задергалась нижняя губа, судорогой, как электрическим током, дернуло ноги и руки, взгляд застыл и впился в дверь, откуда рявкнул голос,— все тело напряглось, застыло, окаменело.

Мы промолчали. А зычный голос снова:

— Фурманов здесь?

— Здесь,— отвечаю ему из темного угла и голосу стараюсь придать здоровую, крепкую бодрость.

— Выходи...

— Куда?

— Выходи.

— Я босой...

— Все равно — выходи босой...

И вдруг нам все стало ясно:

«Уводят расстреливать!»

Я на прощанье друзьям:

— Ведут кончать... Прощайте, ребята.

— Ну, што ты... это, верно, на допрос...— успокоил было Мамелюк. И Бочаров и Кравчук тоже что-то

шепнули утешительное, а слабонервный Пацынко дрожал в смертельном ужасе и ни слова не мог выговорить, только прижался к стене и как-то странно, страшно глядел оттуда прямо мне в лицо, будто говорил: «Кончено... А за тобой и меня поведут...»

Но что же делать, что делать?

Я сжал руку первому Мамелюку:

— Прощай...

А в голове молнией мысль:

«Умереть надо хорошо... Надо умереть не трусом... Но как не хочется, о, как не хочется умирать...»

— Я не пойду,— вдруг заявил я им неожиданно для себя самого.— Приведите кого-нибудь из членов боеревкома — с ним пойду, а с вами без него не пойду...

Но в эту минуту произошло что-то странное. Мы видим, как эти пришедшие, что столпились в просвете дверей, занервничали, заторопились, не стоят на месте... И вдруг они опрометью кинулись из каземата... Мы ничего не понимали... А к дверям уж кто-то торопился, мы слышим чьи-то новые шаги...

— Ба, Муратов...

Он мигом сорвал с носа пенсне, быстро проговорил:

— Товарищи, мы вас сейчас освободим.

— Как?.. Муратов... Как освободим?

— Так вот, сейчас выпустим...

Мы слушаем и не верим тому, что слышим.

— Каким образом, Муратов? Скажи!

— Потом, потом...

И он заторопился, ушел за дверь, а через минуту вернулся снова. Под стражей нас вывели из каморки и повели в помещение боесовета. Боесовет заседал в полном составе.

— Пожалуйте с нами на заседанье,— нагло улыбаясь, заявил Чеусов.

Мы все еще путем ничего не понимали. Но решили держаться с достоинством:

— Какое заседанье? О чем нам совещаться?

— А, видите ли, это просто недоразумение... Вы извините, что так с вами вышло... Боесовет совершенно

этого не знал и сразу не мог приостановить, но вот... видите... как только он обсудил — он тотчас же вас и выпустил... Вы извините, это просто недоразумение...

Мы ему ни слова в ответ. Мы еще в те минуты ничего не знали толком, как и почему нас освободили, мы это узнали только позже, у себя, в штадиве.

— Посовещаться надо относительно того, какой в области оставаться теперь власти...

— Отлично...

И мы уселись все за широкий стол. Они всю левую заняли часть, мы — правую, а посередине — «представители комитета партии».

Открылось заседание.

Уж кстати надо сказать и о том, почему нас так скоро освободили. Не все члены боесовета были настроены так буйственно, как Вуйчич, Букин, Караваев, Петров, не все желали и добивались нашего расстрела. Между ними, главарями, не было полного ладу, не существовало единого мнения. И вот, чтобы решить нашу судьбу, они решили созвать представителей от всех тридцати с лишком крепостных рот, опросить их, и что скажут эти представители, то и делать. И, как потом мы узнали, масса красноармейская значительно поколеблена и разволнована была нашим выступлением на митинге, на некоторое время была сагитирована и перестала видеть в нас «злейших врагов», а увидела людей, с которыми может говорить и даже... договориться! Словом, когда собрались эти тридцать — тридцать пять представителей от рот, они все голосовали за немедленное наше освобождение («против» или «воздержалось» что-то двое или трое всего), за освобождение и возобновление переговоров... «Активисты» боесовета,— так называли себя те, что были настроены к нам непримиримо и добивались расстрела,— активисты были озадачены, обозлены и раздавлены этим постановлением собравшихся. Так мы и решили, что это именно они, активисты, в ту критическую минуту ворвались в каземат и хотели нас вгорячах расстрелять, пока не успели освободить — а там разбирайся, когда дело будет сделано! И как мы ни стремились узнать, кто же именно

ворвался в каморку,— узнать не могли. Поспешность, с которой они подбежали к двери, торопливость, с которой требовали меня выходить и следовать куда-то за ними, даже... босого, затем их неожиданное, внезапное бегство, когда заслышали шаги Муратова и других с ним, шедших нас освобождать,— все это говорит за правильность общего мнения о предполагавшейся расправе с заключенными.

Но так или иначе — беда пока миновала.

Мы очутились на заседании боесовета.

Вновь и вновь стоит этот роковой вопрос — о власти.

Крепостники говорят:

— Мы вам предлагаем влиться... Теперь только *мы* настоящая власть... и даже мы приказ об этом издали... Мы вам предлагаем... влить в наш боевой совет ваш военсовет...

— Вы предлагаете нелепость,— заявляем мы им.— Подумайте только, что̀ из этого выйдет: высшей властью считается власть крепости. Затем...

— Нет, не крепости одной,— отражают они удар,— тут и вы будете... Военсовет...

— От этого дело не меняется; вы же предлагаете нам «влиться», а это значит вот что: существует *главная* власть — это власть крепостная, и есть власть *второстепенная* — это та самая, что до сих пор была... И эта вторая растворилась в первой... Но ведь эта вторая, старая-то власть,— вы понимаете ли и помните ли это, товарищи,— она ведь и есть утвержденная центром...

— А что нам до того? — огрызаются крепостники.

— Как что? Да вы же республику семиреченскую создавать не будете? Так создавать, чтобы она вовсе не связана была с Ташкентом, то есть с центром вообще?

— Конечно, нет...

— Так неужели вы думаете, что центр так-таки совершенно спокойно и отнесется к тому, что здесь свергнута старая, им утвержденная власть, а образовалась новая, ему незнакомая...

— Да мы же будем вместе...

— Э... нет, это не совсем вместе, когда вы предлагаете влиться... И он, Ташкент, знаете, что может нам всем вместе пищик тогда поприжать — пошлет к черту, да и все тут... не признает... а подчиняться не будем — и пристукнет, да...

Этакая логика, видимо, озадачила мятежников. Они не находили, что нам возразить. А мы ловили момент — ловили, но помнили, что зарываться сразу не надо, и пока что были готовы ограничиться на малом.

— Давайте вот как,— предложили мы им.— Военсовет — власть государственная, не так ли? С военсоветом и Ташкент станет говорить, как со *своей* организацией,— так давайте не его вольем, а в него вольем ваш боесовет: тогда с нами и считаться в центре станут, и в то же время ваш орган фактически будет у власти...

— Зачем же нам вливаться, коли сила за нами... Пусть наоборот...

Но мы скоро их уломали, сбили азарт. И все уж было слажено, договорено, кончались споры, хотели решать так, как мы им предложили.

В эту ответственную минуту посредине стола поднялась, подобно греческой пифии, сухопарая Штекер; партийная представительница.

— Не влиться, а *слиться* надо на равных правах, по равному числу членов,— вдруг брякнула она неожиданно.

Мятежники уцепились за это спасительное предложение. В самом деле: и у власти они, и центром будут, верно, признаны, и престиж не уронят своего боесовета...

Снова жарко вспыхнули прения. Теперь уже никак уговорить было невозможно. Было надо мириться на том, что будем не «вливать», а «сливать».

С горькой досадой пришлось нам идти на уступку. Столковались. Определили число. Не помню, там же или после наметились выборные лица. Вопрос был исчерпан. Постановили теперь же, ночью,— а была уж глубокая ночь, совещались несколько часов,— ехать нам в штадив к прямому проводу и поставить

в известность обо всем центральную власть, требовать у нее утверждения этого нашего решенья.

Оставили душную комнатку боесовета. Вышли на свежий прохладный воздух ночи. Заскочили на поседланных тут же коней. Поскакали в штадив. С нами было трое-четверо из членов боесовета.

А штадив за эти часы,— часы нашего отсутствия,— пережил драму. Когда мы уехали в крепость, там, в штадиве, оставался всего десяток работников. Было у нас условлено, что они установят с крепостью связь и все время будут следить за ходом и результатами нашей там работы. Они наметили несколько человек из верных ребят, связались с Агидуллиным, который в этих делах показал себя большим мастером и решил не выпускать нас из виду.

Первый разведчик сообщил неопределенное:

— Пришли в крепость и чего-то там ждут...

Второй — точнее. И нечто утешительное:

— Открылся митинг... Наши говорят, а крепость вся молчит и слушает...

Было около шести вечера. Связь вдруг оборвалась, никто не приходил из крепости, ничего не сообщал... В чем дело?

— Алло, алло,— звонят по телефону.

— Это что, из крепости?

— Да, что еще?

— Скажите, как идет митинг?

— Как надо...

— Ну, а где Фурманов, Мамелюк и другие,— нельзя ли кого позвать к телефону?

Молчание.

— Алло, алло... Вы слушаете?

Молчание. Трубка брошена, крепость не хочет отвечать.

И раз, и два, и три, и пять звонили в крепость. Там кто-то берет трубку, начинает разговор, но лишь попросят позвать кого к телефону — в ответ гробовое молчание.

Наконец примчался из крепости вестник:

— Наших арестовали, посадили в тюрьму...

— Как, за что?

— Ничего не знаю, только собрание спешно оборвали... сказали, что киргизы на крепость идут... а их всех посадили зараз...

В штадиве вверх ногами полетела жизнь. Сейчас же все — под ружье. А всех — ничтожная горстка. Уставили пулемет, приготовились встретить. В первые же минуты ждали, что налетят.

— Раз арестовали наших,— решили они,— раз посадили в тюрьму — значит, сейчас ударят на штаб!

Тут были: Позднышев, Белов, Ная, жена Кравчука, Масарский, Альтшуллер, Колосов Алеша, Лидочка, Аксман, Горячев, Рубанчик, Никитченко,— кто-то еще, несколько человек. Они решили умереть, но не даваться живыми в руки.

— Товарищ Белов,— крикнул на бегу Масарский,— все равно не удержимся... У меня тут секретные бумаги особоотдела... Сожгу?

— Жги! — согласился машинально Панфилыч.

Через минуту на дворе заполыхали языки пламени,— Масарский запалил ящики и корзины, доверху набитые «секретами».

В ранних сумерках ненастного дня только искры заметались по двору, и над крышами домов только дым повалил густой и черный, а зарева не было. В отблесках жаркого костра шмыгали здесь и там человеческие фигуры, кто-то зарывал в землю лишний «кольт» — чтоб не достался врагу, кто-то под навесом надворного сарая прятал связки казенных денег. Мелькали хаковые гимнастерки, под гулкий шепот и треск бумажного костра в диком танце метались люди — мимо окон штадива, по двору, по крыше, с крыши долой и мимо изгороди — в штаб. Пугливо, недоуменно озираются кони, фыркают на костер, вертят нервно сытыми крупами, дергают уздечками шаткую изгородь. Бомбы наготове, револьвер за поясом, другой в кармане про запас, винтовка рядом в углу заряженная, а там высунулась гладкая, злая шейка пулемета: ждет...

Штаб переживал агонию...

Позднышев у провода. Он сообщает Ташкенту, что представители военсовета арестованы в крепости, что каждую минуту можно ожидать налета мятежников. Ташкент просит к проводу Белова. Подбежал Панфилыч; оттуда говорили:

— Я — Новицкий. Комфронта приказал спросить вас, как дела... У аппарата Куйбышев и товарищ Фрунзе (они, видимо, внезапно подошли.— *Д. Ф.*).

— Здравствуйте. Я — Белов. Положение таково: с вашим приказом в крепостной гарнизон пошел в полном составе военный совет дивизии, за исключением меня и Позднышева. Сведений от них официально никаких не имели. Получили первое сведение, что конфликт улаживается, потом — что все наши делегаты арестованы, и третье — что крепость, то есть крепостной гарнизон, идет,— сейчас слышно по улицам пение воинских частей. Посланная разведка сейчас донесла, что происходит движение по городу. Со всеми мерами охранения стараемся выяснить: послан специальный человек. Но вообще все в панике и стараются не исполнять официальных указаний. Если через час мы не сумеем подойти к аппарату, то наверняка будем все в западне. Особым отделом сожжены все дела. На всякий случай принимайте меры, какие угодно. Если конфликт не уладится, то впредь... исполнения своего приказа... (тут что-то пропущено.— *Д. Ф.*). Пока больше сообщить не могу. Нам верными осталось человек двадцать ответственных работников... Предатели рассыпались по городу. Город оцеплен, из него выбраться трудно. Я постараюсь пробраться навстречу к полку. Белов.

— Говорит Фрунзе. Как только выяснится положение в сторону окончательного неповиновения гарнизона, вы должны выбраться из города и направиться в сторону Джаркентско-Копальского тракта, с задачей удержать в наших руках все части, расположенные там. Туда же вы должны дать приказ направиться и вашим ответственным сотрудникам. Захватите с собой телеграфный аппарат и связывайтесь с Семипалатинском с первого возможного пункта. Блажевичу мною отдан приказ спешно двигаться на

Верный. Думаю, что выбраться из него вполне возможно и что это сделать необходимо. Помните, что если сумеете выбраться, то этим, может быть, удастся удержать от выступления остальные части. Пишпекский район беру на себя. Отдайте приказ по всем частям области о неподчинении их распоряжениям самозванного крепостного совета. Прикажите всем частям севера от Верного перейти в подчинение комгруппы семипалатинской Блажевича, от коего и получать приказания. Частям Пржевальского и Пишпекского уездов перейти непосредственно в мое подчинение. Эти приказания, особенно на север, должны быть отданы во что бы то ни стало. Как только выяснится положение... (Видимо, пропуск.— *Д. Ф.*) Имейте в виду, что детальные директивы мы давать вам не можем. Обязательным остается приказание выбраться из Верного и создать военно-гражданский центр в другом пункте области, по вашему выбору. Фрунзе... Пардон, там ли Белов?

— Да, здесь. Сделаем все, что сумеем. Постараюсь во что бы то ни стало выбраться из Верного. С вашего разрешения, нельзя ли сделать следующее: пока выясняем — окружат, и выбраться будет безусловно нелегко. В данный момент больше имеется шансов на то, что я выйду из города. Не найдете ли возможным передать командование дивизией, например, облвоенкому Шегабутдинову, а самому выехать из Верного на Копальский тракт?

— Вообще ваш выезд непосредственно к частям дивизии я считаю очень желательным. Передачу командования Шегабутдинову теперь же, пока положение неясно, считаю недопустимой. Можете в крайнем случае передать командование наштадиву, а сами выезжайте, согласно моим прежним приказаниям. Наштадив должен выполнить все ваши распоряжения, вообще же решение вопроса предоставляю вам, сообразуясь с обстановкой. Кто у вас наштадив? Фрунзе.

— Наштадив у меня Янушев. Передавать командование ему нежелательно в том отношении, что — при каком угодно исходе — снова будут провоцировать, что командовать будет неизвестный для них

человек, да (к тому же.— *Д. Ф.*) офицер. В крайнем случае полагаю сделать так: войска Джаркентского и Пишпекского районов передам вам, непосредственно в ваше распоряжение...

— Пардон, войска каких районов? Войска Джаркентского — не может быть?

— Извиняюсь, забита голова: Пржевальского и Пишпекского районов. Остальные части передам в подчинение комбригу девять. Это будет лучший выход.

— Хорошо, но комбриг должен быть подчинен Блажевичу. Кстати, как фамилия комбрига и где его штаб? Фрунзе.

— Фамилия комбрига девять — Скачков, штабриг находится в селении Гавриловке. Все же постараюсь как-нибудь уяснить положение, чтобы своим отъездом не испортить дело. Обо всех изменениях положения, если не будем захвачены, будем извещать регулярно и через короткий промежуток времени. Срок между донесениями полагаю установить час. Больше у меня ничего.

— Если даже положение улучшится, все равно выезжайте на север, сдав командование лицу по вашему выбору. Еще вопрос: какова роль Шегабутдинова? Фрунзе.

— Об этом донесем дополнительно; думаю, что он попал туда по несчастью, и он, по нашему мнению, оказал там большое влияние, сдерживая красноармейцев, как надо, от пьянства и тому подобное. Белов. Больше у меня ничего нет, разрешите уйти от аппарата и приступить к выяснению положения. Белов.

— Хорошо, секретное слово вставляйте незаметно, в первых двух фразах один раз, мы будем делать то же самое...

Затем, по-видимому, был обмен примерными секретными фразами. Говорил из Ташкента не то Куйбышев, не то наштаб Благовещенский. И та, и другая сторона поняли условность разговора, взаимно расшифровались. Условились еще раз, что ровно через час Белов уведомит о положении, если только вообще это будет возможно, если их всех не арестуют здесь же, на месте...

Затем сохранился обрывок одного совершенно панического разговора по проводу, но кто вел и когда именно — установить нельзя, нет никаких следов. Кто-то из Верного:

— Позовите к аппарату Новицкого, Куйбышева, Фрунзе, всеобщую власть Ташкента...

— У аппарата остальных нет. Я — Новицкий. Начинайте.

По-видимому, штадив повторил свое требование о «всеобщей власти Ташкента». Новицкий отвечал:

— Отлично. Я понимаю, что нужно к аппарату всю высшую власть. Пока никого нет, вызвали в штаб, а потому ответьте: не желаете ли вы начать предварительный разговор со мной и, кроме того, нужно ли присутствие председателя Турцика... крайкома...

— Да, вообще я прошу: позовите к аппарату всю высшую власть...

Тут какая-то заминка. А дальше:

— Какую высшую власть,— спрашивает Новицкий,— военную или гражданскую?

— Ну да, конечно, военную — зачем нам гражданская. Вот, например, Куйбышева, Новицкого (? — *Д. Ф.*). Председателя Турцика, всех сюда надо позвать поскорей — поняли или нет теперь-то?

— Председатель Турцика — гражданская власть, а не военная,— урезонил Новицкий,— вы сами себе противоречите...

Из Верного огрызнулись, и, видимо, еще крепче повторено было требование «позвать всех».

— Так вы понимаете,— тщетно, хотя и разумно, убеждал паникера Новицкий,— что в скором времени все прибыть не могут, а потому предлагаю вам начать разговор...

Неизвестно, состоялся ли этот разговор. На этом ленты оборваны. Кто себя вел так панически — черт его знает! И даже точно неизвестно, в какой момент мятежа велся самый этот разговор. Наиболее подходящим, по критичности для штадива, является как будто именно этот — когда ждали с минуты на минуту налета, когда жгли бумаги особотдела.

А впрочем, неизвестно.

Белов обдумывал положение в связи с тем, что ему вот-вот придется исчезнуть из Верного. Советовался с Янушевым, начальником штадива. Советовался с Поздনышевым. А в открытые окна штаба доносился с улиц тревожный гуд скакавших отрядов. И вдруг прибежал из крепости Медведич — он там все время был около тюрьмы, пока сидели мы — арестованные:

— Освободили всех, повели куда-то на заседание... Надо быть, в ихний совет...

В штадиве радостно все встрепенулись. Блеснула надежда, что минует благополучно. Кинулись снова к телефонной трубке:

— Это крепость?

— Да. Что надо?

— Позовите освобожденного из тюрьмы Фурманова...

Я был в это время уже в помещении боеревкома. Окликнули меня, передали трубку.

— Это ты?

— Я.

— Освобожден?

— Да.

— Сюда пустят, в штадив?

— Не знаю. Верно, пустят. Подробности потом. Сейчас начинается заседание...

Обстановка в штадиве переменилась. Не ослабляя зоркости, не выпуская оружия, все, однако ж, стали спокойней. Ждали нас. А мы заседали. И только глубокой ночью прискакали в штадив — измученные, усталые, с лицами серыми от пыли, от нервности, от бессонных ночей...

Обрадованные друзья встречали у входа, до боли сжимали руки:

— Живы... Живы... А мы уж думали...

Так гурьбой прошли в комнату, там открыли экстренное заседанье.

Всего два вопроса:

Первый — успокоить дивизию и область.

Второй — переговоры с Ташкентом.

Тут разговоров было немного: набросали приказ, озаботились, чтоб он срочно и всюду мог попасть.

ПРИКАЗ

Военного Совета 3-й Туркестанской дивизии.

Гарнизоном гор. Верного было предположено создать орган власти, которому подчинились бы все военные и гражданские областные организации. После того как гарнизоном занята была крепость, там организовался Боевой революционный совет. В результате переговоров Военсовета дивизии, Боевого ревкома крепости и других организаций выяснилось, что причиной всего происшедшего был целый ряд недоразумений, окончательно ныне выясненных и ликвидированных. Военный совет дивизии, Боеревком крепости и Об. ревком пришли к полному и дружному соглашению на следующих основаниях: во главе дивизии, как прежде, стоит Военсовет дивизии, объединившийся с Боеревкомом крепости, а в Об. ревком добавлено от гарнизона 5 представителей.

Все провокационные слухи о бесчинствах, грабежах, кровопролитии и пр. являются подлой выдумкой наших врагов, и всем честным гражданам предлагается всемерно с ними бороться, а виновные [будут] немедленно предаваться суду по законам военного времени.

Предвоенсовета *Фурманов.*

Тов. председателя *Чеусов.*

За секретаря *Щукин.*

Надо было торопиться бросить этот приказ в массу, только больше волнующуюся от неведенья, надо было известить, что «договорились», что «все благополучно», и т. д. и т. д., ибо уже издалека прилетели слухи, будто в Верном разгром, резня, непрерывные бои... Эти слухи подогревали, подталкивали нерешительных, накаляли атмосферу — и без того горячо накаленную.

— Дальше — переговоры с Ташкентом. Крепостники заявили, что «новая власть» должна быть сейчас же, немедленно, тут же — по проводу утверждена

центром, иначе... иначе она не может и не будет работать.

— Нам надо,— заявил Чеусов,— чтобы не бумажки одни подписывать, а действительно... власть — так власть... чтобы все слушали. Что скажем, то и делать... И пока утвержденья не будет — работать нельзя...

Нам приходилось дорожить только что наладившимся замирением. Оно удлиняло передышку, давало возможность подтягивать горами 4-й полк, поджидать помощь из Ташкента, разлагать тем временем восставших... Малейшая неловкость, неуступчивость, заносчивость наша могли все перевернуть вверх ногами — и тогда... что тогда?

Тогда можно *всего* сгоряча ждать.

Поэтому и крепостникам теперь мы не возражали, только предупредили, что «тут же — у провода» могут-де власть нашу и не утвердить, что Ташкенту надо же подумать, посоветоваться промеж себя — словом, с ответом они, видимо, там повременят...

— Немного можно, отчего же,— снисходительно согласились крепостники.

Мы говорили по проводу:

— У аппарата Фурманов и другие. Говорю я, Фурманов. По получении от вас приказа мы устроили совещание, рассмотрели вами поставленные вопросы. После этого направились в крепость на общее собрание, и мне предоставлено было слово разъяснить все. Но этого не удалось: пущена ложная тревога, митинг сорван... После этого было совещание, на котором мы были арестованы и посажены в заключение, через два часа мы были освобождены и на новом совещании (с боеревкомом.— *Д. Ф.*) согласились на принятии следующего:

«Объединить оба совета: боесовет и военсовет дивизии в полном составе всех членов. В обревком (избрать от гарнизона.— *Д. Ф.*) пять товарищей. Немедленно приступить к работе и объявить приказом по войскам и населению о составе и донести центру». Это постановление считать окончательным, и весь инцидент считать ликвидированным. Я ходатайствую об

утверждении этого соглашения, потому что это успокоит окончательно. По дивизии издали приказ об организации власти, где вкратце объясняем все происшедшее. Я кончил. Фурманов.

— Где были арестованы вы и ваши товарищи? И по чьему приказанию?

— Трудно сказать — *по чьему,* но в присутствии членов боевого ревкома.

— Сообщите новый состав военсовета.

Перечисляю им фамилии двенадцати человек: семь в военсовет, пять в обревком, указываю партийность некоторых крепостников, занимаемую должность. А в заключенье:

— Члены боеревкома гарантируют нам полную неприкосновенность личности. Завтра с утра приступим к работе.

Ташкент чего-то не понял. Спрашивает:

— Откуда взяли двенадцать, когда перечислили пять?

Наш ему ответ:

— Это следует вам разобраться. Во всяком случае не задерживать из-за этого утверждения, так как всех их выдвинул гарнизон. Содержание приказа перепечатывается и будет вам сообщено...

— Сейчас доложу. Ждите.

Говоривший по проводу представитель реввоенсовета фронта отошел. Мы ждали. Стояли и не разговаривали. Молча стояли. Так намучились, что язык во рту не ворочался. Это уж третья бессонная ночь. Ишь разжижается она, белеют сумерки рассвета. А мы все на ногах — и так вчерашняя, так позавчерашняя ночь, так уж трое суток в нервной ежесекундной горячке, на ногах, без минуты сна. Кто-то сел на окно и захрапел тою же минутой, другой прислонился к стене и дремлет-качается, будто пьяный. Тихо в штабе. Даже холодно в ночи... Ташкент отвечал:

— Реввоенсовет сообщает, что ответ на все ваши вопросы будет завтра...

Делегаты крепостные кривят губы, недовольно мычат: они ждали другого.

А нам надо, чтобы слово Ташкента было сохра-

нено во всем авторитете. Крепостники пытаются снова затеять разговор и «поставить на вид» Ташкенту, что «так долго» ждать они не намерены, что не ручаются за массу и т. д. и т. д. Мы с трудом их отговариваем и уговариваем. Прощаемся с Ташкентом. Уходим все от провода.

Крепостники уезжают к себе. А мы в штадиве кучкой — Позднышев, Мамелюк, Панфилыч, я, Бочаров и другие — обсуждаем обстановку. И видим, что вся эта «договоренность» с крепостью — фальшь одна, оттяжка. И больше ничего.

Дело этим во всяком случае не кончится. Развязка должна быть иная. «Утверждением» власти, разумеется, крепость будет отчасти успокоена, будут на время предотвращены эксцессы, но окончательный выход из положения все-таки в другом, не в этом...

Не выдержали усталости, на заре поддались, к столам и окнам притулилились, растянулись, спали крепко на них — холодных и грязных...

Тих город. Крепость тиха. В штадиве — беспорядочно валялись человеческие тела, словно на поле брани: полегли все мертвым сном.

Белов сообщил нам свой разговор с Фрунзе. Крепко задумались, взвешивали: бежать ему или не бежать? Что выгоднее в данной обстановке? И решили, что Панфилычу следует остаться на месте.

Во-первых, создав военно-гражданский центр где-то за пределами Верного, он тем самым вовсе похерит верненскую власть, хоть и призрачную, хоть и бессильную, но ведь она и *такая* для крепости кой-что значит,— во всяком случае сдерживает вот уже четвертые сутки крепостников. Тогда же, как убежит, будут крепости развязаны руки, будет как бы подан сигнал к еще более решительному выступлению. Верный будет объявлен как бы вне закона — словом, тогда сами собой откроются военные действия. А наша задача — их не допустить, на них решиться лишь тогда, когда *ни одной*, ни малейшей возможности не будет обойтись без фронта. Это естественно, что

Ташкент *так* сказал, а не иначе — для него тот момент и был *последним*, за которым должен неизбежно развернуться фронт. Мы тогда сидели частью в тюрьме. Штадив ждал разгрома. Все висело на волоске. А теперь снова вернулась какая-то надежда и возможность не допустить столкновения. Это во-первых.

Во-вторых, близится ташкентская подмога, приближается к Верному 4-й кавполк. Когда нависнут над мятежниками эти силы — вряд ли примут они бой, мы тогда возьмем их голыми руками.

В-третьих, в лице Белова мы потеряем ценнейшего умного советчика, к голосу которого прислушивается и крепость.

И, наконец, поползет провокация, что начдив убежал с деньгами или от трусости, или что-нибудь в этом роде; как материал — крепостникам и это на руку. Зачем давать? Оставшихся, безусловно, поторопятся перехватать, чтобы и они не сбежали, а там — расправа за расправой. И когда нас не станет — крепость начнет осуществлять свою «программу». А эта программа: разгром советской власти.

Так мы Белова и не пустили.

Он известил Ташкент, что остается с нами. Протеста оттуда не было: промолчали.

В эту ночь скрылись в горы Масарский и Горячев. Им нельзя было дальше оставаться на виду: все чаще и чаще грозили растерзать. Им коней приготовил Медведич. Где-то спрятал в ущелье. И ночью сам их туда проводил. Ускакали. А жен с подложными документами — айда на Ташкент!

Немало пережили они, пока добрались к своим. Их за Верным встретил неприятельский разъезд, потребовал документы, а документы были заготовлены фальшивые. Сошло. Посмотрели, повертели, поверить не поверили, но и подозрений больших не высказали: двое взялись сопровождать. И вот остановились на ночевку где-то на перепутье, у харчевни. Выпрягли наши друзья лошадей, заправились, улеглись. А сами все подумывали — как бы это ночью тягу дать от своих конвоиров? Антонина Кондурушкина, как только захрапели кругом, уговорила своего возницу

запрягать — готовиться к побегу. Тот было поартачился сначала, однако ж тихо запряг, выбрался неприметно на дорогу. Уселись беглянки, покатили дальше, на Курдай. У харчевни, видимо, поздно их хватились — крепко, долго спали конвоиры, прозевали своих спутников. Перепуганные, каждую секунду ожидавшие погони, ехали быстро два-три часа. Вот миновали какой-то полустанок,— не тронули, никто не остановил. Подъезжали к другому — глядь, там целая груда народу. Они было мимо проехать хотели, благо дорога тут саженей на двести от постройки, но в толпе загалдели, замахали руками, приказывали подъезжать. Что тут делать — надо ехать. Не удирать же на крестьянской таратайке, когда там заскакивают на поседланных коней. Повернули оглобли, подъехали:

— Кто такие?

— В Пишпек едем.

— Из Верного?

— Из Верного.

— А пропуск есть на руках?

В это время Ия — дочка — шепнула Антонине:

— Мама, глянь-ка: это ведь Козлов.

Антонина глянула — и впрямь Козлов стоит — комендант трибунала.

«Эх, подлец, подлец, и ты с ними»,— подумалось скорбно.

Но и виду не показала, что узнала его.

А Козлов сам к ней:

— Вы это каким образом? То-то хорошо — сейчас ему телеграмму дадим.

— Кому телеграмму?

— Да Ивану Семенычу (то есть Кондурушкину) — он же в Пишпеке, он как раз и не знает, все беспокоится — живы вы али нет.

— Так вы-то тут?..— взволнованно глянула она на Козлова.

— А мы самая застава и есть,— пояснил Козлов,— мы из Пишпека...

Радости не было границ: своя своих признаша. Беглянок накормили, дали свежих почтовых лошадей, проводили на Пишпек.

Рано утром прибежал из крепости киргиз-красноармеец из караульного батальона:

— Где Шигабудин, Шигабудин нада скарея.

— В чем дело?

— Шигабудин нада — очинь скора, очинь нада.

Оказалось тревожное: по приказу Петрова, всех мусульман-красноармейцев в крепости разоружили.

Когда они спрашивали — зачем это делается, им лишь одно отвечали:

— Петров приказал!

А Петрова нигде не могут найти.

Обстоятельство чрезвычайно подозрительное — попусту разоружать не станут. Мы насторожились строже, хотели поехать, узнать все на месте, а тут как раз из крепости прискакали: Караваев, Дублицкий, человек десяток с ними конных:

— Получен ли ответ из Ташкента?

— Нет, не получен...

— Значит, что же это за власть такая — то ее выбирали, а то и утверждать не хотят. Кто же так согласится, а? Вы что думаете — мы терпеть, ждать, што ли, станем?.. Да там, в крепости, хоть сейчас... Ежели ответа нет, мы... мы и знать тогда ничего не хотим... Мы ждать больше не станем... Хватит! Д-да!!.

Пока мы убеждали Караваева, что надо повременить, что в центр мы уж послали телеграмму, чтобы там поторопились с ответом, что ждем этого ответа с минуты на минуту, пока мы об этом обо всем толковали — Дублицкий во дворе терся около ящиков и корзин с тлевшими бумагами особого отдела. И койчто, по-видимому, оттуда выхватил — такое, что не успело вовсе сгореть.

Кроме того, выяснилось позже, он где-то раздобыл шифрованные телеграммы штадива. Эти бумажки в его руках чуть не сыграли потом для нас роковую игру.

Крепостники уехали. Ни от них, ни от кого вообще нам так и не удалось ничего разузнать о разоруженье красноармейцев-мусульман. За первой делегацией — вторая, за второй — третья: через каждые полчаса справляются про ответ из центра, заявляют, что

крепость волнуется, терпеть больше не хочет, готова выступить, потому что с ней-де не считаются, ей не дают работать и т. д. и т. д.

Стало известно, что Александр Щукин особо рьяно будоражит крепость:

— Мое слово — сейчас же выступать! Мое слово — не ждать никаких ответов: ну, к черту эти ответы. Власть наша, и наступать надо немедля, а то — какая мы есть сила?!

Крепость гулко откликается ему активным сочувствием. Охота выступать нарастает минутами. Скоро она назреет до предела — и тогда...

Мы торопим центр с ответом. Мы сообщаем о том, как взволнована мятежная масса, как ее провоцируют на этом долго не присылаемом ответе, мы настойчиво просим торопиться...

Здесь обнаружилась разница масштабов, которыми Ташкент и мы измеряли события: если там измеряли их часами, то мы считали каждую минуту,— нам вовсе не безразлично было, в одиннадцать или в двенадцать получим мы ответ. Дорога̀ была буквально каждая минута. Из-за этого «ответа» у нас с Ташкентом даже произошла небольшая перепалка. Когда терпенье истощилось, а крепость участила справки про «ответ», дав нам всего один час сроку, когда совершенно стало очевидным, что «промедление краху подобно»,— я дал центру ультимативную телеграмму:

Реввоенсовет Туркфронта. Вне очереди.

Сообщите, будет ли получен от вас через час приказ, утверждающий власть Семиречья. Если не будет получен положительный ответ — мы вынуждены будем до вашего утверждения создать временную власть, ибо влияние гарнизона и общая нервность могут разрешиться нежелательным образом.

Предвоенсовета *Фурманов.*

На эту телеграмму получил я подзатыльник:

Верный. Предвоенсовета дивизии — Фурманову.

Ваш запрос с постановкой срока для ответов Реввоенсовет считает возмутительным. Ответ Реввоенсовета последует в срок по усмотрению и в течение сегодняшнего дня.

Секретарь Реввоенсовета *Савин.*

Заострять отношения в такой момент — беда. Надо вывести все на чистую воду, все сделать понятным. Я дал ответ, правда, суровый и соленый, зато откровенный до конца [1].

Вот он, ответ Ташкенту:

Реввоенсовет Туркфронта, Ташкент.

Вне всякой очереди. Военная.

Реввоенсоветом фронта совершенно неправильно понято предложение о сроке, в который должен быть дан ответ о конструировании власти в Семиречье. Я, Фурманов, этого вопроса не ставил и не мог ставить в силу дисциплинированности. Вопрос поставлен большинством членов объединенного заседания членов Военсовета и Боеревкома крепости. Следует уяснить конкретную обстановку, в которой выносятся всякие постановления: все войска под ружьем; по городу разъезжают вооруженные группы; обстановка до крайности наэлектризована и может разрядиться тяжким образом из-за чьей бы то ни было медлительности. Заключение центра и его возмущение считаю ошибочным, поспешным и основанным на недоразумении. Все будет позже освещено, объяснено подробно, если это вообще когда-либо придется сделать. Рекомендую не упускать из виду того, что в данное время пятнадцать центральных работников отчаянно борются за предотвращение висящего в

---

[1] Этот ответ дан был несколько позже, когда мы с крепостниками устроили «заседание». Об этом заседании — речь впереди.

воздухе кровопролития, за оставление, хотя бы в несовершенном виде, государственного аппарата, и эта борьба идет против вооруженной многотысячной красноармейской массы во имя революции. Отвечайте впредь более осторожно и не дискредитируйте нас своими ответами, ибо вы можете окончательно подорвать своей неосторожностью налаживающееся соглашение и потопить Верный, а может быть, и все Семиречье в огне безумного, кровавого столкновения. Об осторожности и фактическом понимании наших сообщений вас предупреждали неоднократно, и я полагаю, что ваша ошибка с поспешным заключением ясна теперь и вам самим. Положение начало значительно проясняться после того, как (мы.— *Д. Ф.*) были выпущены из крепости, из-под ареста. Требуется максимальная вдумчивость и осторожность даже в мельчайших вопросах, что усвоить следует как нам, так и вам.

Фурманов.

На это послание дипломатичный Ташкент ответил коротко:

Предвоенсовета Фурманову.

По поручению Реввоенсовета, сообщаю, что замечание его о недопустимости назначать срок ответа не относилось лично к вам.

Секретарь *Савин.*

Этот ответ был получен на следующий день. Мы дружно посмеялись над ловкостью, с которой он был составлен.

Теперь о деле: дав телеграмму в Ташкент с просьбой торопиться с ответом, мы, разумеется, не могли сидеть сложа руки и пробавляться ожиданьем. Так, пожалуй, дождались бы до чего-либо существенного.

Надо было что-то делать — но что же?

Идти в крепость и уговаривать ее? Пустое, не выйдет ничего, не станут слушать, только больше обозлятся.

И у нас блеснула верная мысль: известить вождей крепостных, что немедленно надо в штадиве открыть срочное, важное, неотложное — какое хотите — заседанье для разрешения крупнейших вопросов: созвать и на нем точить балясы, сколько хватит сил. Да, иного выхода нет. Надо взять их «на пушку»: водить на этом заседанье несколько часов, задержать около себя, не отпускать до тех пор, пока не получим ташкентского ответа. Повестка дня нас ничуть не смущала. Мы уверены были заранее, что только затей разговор про власть, про особый отдел или трибунал, про оружие — они, как волки на падаль, кинутся на эту приманку, клещами не оторвешь. Пойдут ли только, вот сомненье?

Настрочили бумагу. Отослали в крепость. Часть крепостников была здесь же, в штадиве. И вместе с ними, не дожидаясь остальных, подошедших позже, мы открыли свое никчемное заседанье.

Набросали повестку дня — вот те же все самые вопросы про власть, про разверстку, трибунал и прочее, прочее.

Расселись чинно вокруг стола. Мне поручили председательствовать; секретарем сидел Муратов.

Что мы теряем? Ровно ничего.

С руки на руку будем, как мячики, перекидывать разные соображенья, которые уже сотню раз повторяли раньше; поспорим и погорячимся, внесем кучу предложений, наплодим груду бумажных, пустяковых решений — не один черт? Разумеется, главное дело не в этих глупейших заседаньях и обещаньях,— наше дело было в ташкентских броневиках и в 4-м кавполку, которые шли на помощь. Но делать нечего — стали совещаться. Уж водили мы их, водили, уж путали, путали. Час прошел, два прошло — из Ташкента ответа все нет. В крепость послали одного из присутствовавших крепостников, чтобы известил о происходящем «секретном и важном» заседанье в штадиве, чтоб попросил не волноваться и ждать его результатов.

Крепость ответила неожиданно и дружно:

— Коли так, подождем и до утра, некуда торопиться... свои просят, крепостные.

Мы заседали — целых четыре часа заседали! Не стоит вновь повторять страстные споры о трибунале, особотделе, расстрелах, «грабителях продагентах» и т. д. и т. д. Средь заседанья ворвалась в комнату хмельная ватага — впереди Караваев и Дублицкий. Караваев что-то кричит, будто командует торопливо, боится в чем-то опоздать... Но он на втором плане.

Все внимание на Дублицком.

— Вот они... шифрованные...— кричит он с ребяческим вызывающим задором и потрясает в воздухе небольшою пачкою бумаг.— Все ваши шифровочки тут...— он причмокнул, хлопнул по пачке и посмотрел на нас торжествующим победным взглядом:

«Ага, дескать, попались, голубчики. Теперь вы все у меня в руках: хочу — помилую, хочу — прикончу!»

— Как шифровки, какие? — изумляемся мы.

— А такие — все они вот тут у меня, которые с пути взяты, которые здесь...

— Ну, о чем же?

— О чем? — гаркнул Караваев.— А мы затем и приехали... Потребовать от вас немедленного ответа, о чем они...

— Немедленно расшифровать! — выкрикнул и Дублицкий.

— А то поди клевета разная?

— У... у... тогда мы...— рявкнул в тон Караваев и неистово свистнул плеткой по голенищу сапога.

Наше дело — дрянь. Да и что же могло быть в шифрованных телеграммах наших Ташкенту? Одно:

«Давайте подмогу... Бандитов-мятежников надо прикончить... План наших действий следующий»... И т. д. и т. д.

Словом, раскрыть шифровки — это все равно, что подписать себе смертный приговор. Там обнаружатся все наши планы, все затеи, все тайные наши надежды. И там — ни одного «приятного» слова о мятежниках, а за «бандитов» нам, пожалуй, не поздоровится. Как выйти из положенья?

Главное и первое, конечно,— глазом не моргнуть. И отдаленным намеком не дать понять, что ты опешил, растерялся, что тебя прижали к стене, что нечем

тебе оправдаться, опровергнуть, доказать. Надо делать так, как бы ничего и не случилось особенного, как будто все их подозренья и предположенья — одна ошибка, чуточное заблужденье, которое мы им сейчас же, пòходя, легко раскроем и докажем.

Спокойствие — вот лозунг, который первым сверкнул в уме, под которым надо сражаться.

— Эге, да покажите-ка,— тянемся мы за пачкой бумаг к Дублицкому,— так и есть: одни оперативные... одни оперативные...

— Нет, вы нам... вы нам,— задыхающимся голосом заявляет Дублицкий,— шифр... и сейчас же все открыть... Где шифр?

— Да! Чтобы сейчас раскрыть! — бухнул Караваев,— а то мы в крепость... И оттуда потребуем как следует... Шутить не будем...

— Мы не потерпим, чтобы дальше обманывали,— подкрепил Караваева Дублицкий.— Это что же такое: вчера в ночь и неведомо зачем из Илийска вызывали к проводу Белова... Ну, да я, положим, не разрешил. Я приказал, чтобы не звали... Знаем мы, зачем зовут...

— Предлагаю выйти,— басисто, осанисто вдруг заявил Караваев, — выйти всем представителям крепости... Надобно совещанье... Свое. Тут что-то не так...

И, отбрасывая стулья, верезжа скамейками, они повскакали из-за стола, повыбежали в другую комнату. Говорили кратко, вернулись — и сразу вопрос:

— Будете отвечать али нет?

— Что отвечать, товарищи?

— Шифровки, спрашиваем, будут аль нет раскрыты?

— Вот что,— утешаем мы буянов,— сядьте. Прежде всего — сядьте на пять минут и давайте обсудим спокойно... Дело очень серьезное,— его надо решать не сплеча, вдумчиво. А дело это в следующем...

В эту минуту тайком выбрался Мамелюк из зала заседаний к проводу и сообщил Ташкенту:

— В данное время в штабе происходит объединенное заседание с боевым советом... Совещание

протекает очень скверно... Есть основания определенно думать, что нас за совещанием же и арестуют...

А мы говорили крепостникам:

— Товарищи, установим сначала главное: дорогá ли и вам и нам советская власть?

— Нечего об этом... Дело надо... о шифровках.

— Это и будет о шифровках... Но сначала скажите: все или не все мы за советскую власть?

— Конечно, все! — сердито крикнул Караваев.

— А власть советскую оберегает Красная Армия...

— Ладно рацеи разводить — дело говори...

— Красная Армия...— повторяем мы последние свои слова.— Здесь, в Семиречье, мы кончаем последние остатки белых...

Крепостники бурно, недовольно заерзали на местах.

И мы торопимся — сразу к делу.

— Эти шифровки — о том и есть: как добить остатки белых... Товарищи, объяснять вам нечего, вы сами люди военные, сами с боем шли по всему Семиречью целых два года... Ну, скажите откровенно... Положим, вот ты, Караваев, сам,— ну был бы ты командиром бригады... Мог ведь быть, не так ли? (Караваев неопределенно самодовольно искривил губы.) И перед тобой враг. Ты отдаешь боевой приказ: что ты его — с площади, в открытую станешь отдавать? Нет, не с площади. Тайком. Вот такими же шифровками, не так ли? Ну, так что тут и удивляться, товарищи, когда начальник дивизии отдает секретно свои боевые приказы. Разве это неправильно? И разве...

Вдруг распахнулись двери, быстро вошли несколько человек.

— Представители партии,— отрекомендовались они собранию.— Нас контролерами прислали на телеграф...

Вся обстановка заседания перевернулась. Надо было не упустить момента.

— Вот видите, товарищи,— подхватываем мы,— в дальнейшем даже ни одного слова не пройдет мимо вашего общего контроля. Чего еще?

И таким образом повернули мы разговор, что при-

сутствующие согласились на необходимости в тайне держать оперативные приказы, на том, что знать их надо только начальнику и комиссару дивизии. Этих телеграмм не должен будет касаться даже и сам новоявленный контроль:

Оперативные!

Шифровки Дублицкого, как «оперативные», тоже были забракованы, и на них больше не задерживались.

Внимание сосредоточили на выработке инструкции для контролеров и на проверке того состава, что прислала партия. Затеял эту проверку Караваев и сразу двоим сделал «отвод».

— Почему,— спрашиваем,— они же от партии?

— Хоть и от партии,— заявил он,— а мусульманы, киргизя оба, лучше уж дать «своих»...

Тут мы открыли дебаты по национальному вопросу... Метали громы-молнии. Жарко протестовали. Поколебали. Настояли на своем. Обоих согласились оставить в контроле.

В этот момент с телеграфа прибежали с желанной вестью:

— Ревсовет телеграмму дает!

Эх, куда тут полетели все наши споры-разговоры. Карьером помчались все к проводу. Ташкент сообщал:

> *Секретно. Город Верный. Военному Совету 3-й Туркдивизии 14/VI.*
>
> Реввоенсовет фронта постановил:
>
> *Первое.* В интересах скорейшего осуществления всех законных практических пожеланий, высказанных конференцией частей и общим собранием Верненского гарнизона, допустить включение в состав Военного совета дивизии двух представителей от гарнизона, фамилии коих представить Реввоенсовету на утверждение.
>
> *Второе.* В этих же видах, допустить в Обревком трех представителей, фамилии которых представить на утверждение.
>
> *Третье.* Реорганизованному Военсовету и Об-

ревкому приступить к исполнению обязанностей, призвав к тому же все части и учреждения.

Четвертое. Все приказы фронта, в том числе и касающиеся переброски войск, подлежат неуклонному исполнению.

Пятое. Ответственность за исполнение данного постановления возлагается персонально на Военный совет дивизии и также гарнизонный совет крепости.

Шестое. Те части и лица, которые уклоняются от исполнения приказов, являются изменниками и предателями делу революции и трудового народа, и с ними должно быть поступлено по революционному закону.

Седьмое. Реввоенсовет фронта уверен, что Военсовет дивизии и совет крепости обладают достаточным авторитетом для проведения настоящего приказа.

Восьмое. Никаких перерешений по данному вопросу возбуждено быть не может.

Девятое. О времени получения настоящего приказа и мерах, принятых в исполнение его, донести.

Командующий *М. Фрунзе-Михайлов.*
Реввоенсовет фронта *Куйбышев.*

Кончено. Это нам последняя грамота из Ташкента:

«Никаких перерешений по данному вопросу возбуждено быть не может».

И он прав, ревсовет: что тут без конца мусолиться?

Его ответ и должен быть таким лаконическим и категоричным:

«Уступаю, дескать, но... твердо приказываю!»

И мы понимаем, что вместе с этой бумажкой настал —

«Наш последний, решительный бой».

На этой телеграмме кончаются словесные разговоры Ташкента. Дальше он станет действовать оружием... И мы его ждем, оружия... Ждем, но ведь — где ж оно?!

А пока дожидаемся — нас, верно, прикончат: долго ли и крепость сама будет нянчиться?

— Товарищи,— ласково говорим крепостникам.— Это *последняя* депеша — сами видите. Ежели вы воистину не хотите кровопролития — помогайте нам. Без вашей помощи — что мы сделаем? Давайте вместе. Сядем сейчас снова за стол и обсудим тщательнейшим образом все, что говорит Ташкент. А потом — доложим в крепости. И как там решат — так и быть. Другого выхода нет, все равно...

И снова мы сидели в той же комнате и за тем же столом, разбирали, прощупывали каждое слово ответа. А в разговоре, чуть заметно, мы им напоминали:

Броневики ташкентские недалеко...

4-й кавполк подходит...

Резолюция 26-го полка и Кара-Булакского гарнизона — против крепости...

Эти наши сообщенья хоть и были вовсе не новы, однако ж заметно смиряли заносчивый тон крепостников.

Затем еще дали знать, что в Пишпеке работает наш штаб, и он успел уж подчинить себе войска пишпекские, токмакские, нарынские, пржевальские,— словом, вы, дескать, крепостники, остались чуть ли не сами только с собой. Кто еще с вами?

Разговоры кончились. Назавтра в десять утра мне поручено было делать в крепости основной доклад.

Вожаки крепостные обещали подмогу, уверяли, что все минует тихо... Обещали... А какая цена этим обещаньям? И затем — не было тут ни Петрова, ни Букина, Вуйчича, Тегнеряднова, Чернова, Щукина Александра. А эти — первостепенные ведь бунтари и есть. Они нейдут, они чураются, они что-то думают и готовят про себя. С нами сидели: Чеусов, Караваев, Дублицкий, Вилецкий, Невротов, Фоменко, Петренко, кто-то еще...

Ну, пока по местам! Что будет, то завтра увидим, а уж мы постараемся напоследок, чтоб было оно по-нашему!

Мы тут, в штадиве, заседали, а Петров, крепостной главком, отдавал одно распоряженье за другим, чувствовал себя хозяином положения: назначал на разные должности, приказал «командиру 1-го полка» занять белые казармы, отрядил в исправительный дом своего молодца, Мамонтова, дав ему полномочия «освобождать товарищей красноармейцев, кроме белогвардейцев». В исправдоме на ту пору уголовщиков находилось человек полтораста. Мамонтов под своим председательством снарядил особую комиссию и «исследовал заключенных». В результате — оставил на месте человек пяток, а всех остальных освободил — из них большая часть немедленно вооружилась. Уголовщина вышла на волю! В этот же день Лепинский (чуть ли не комиссар сводного госпиталя) представил Петрову в крепость список человек в восемьдесят — служащих и красноармейцев этого госпиталя. Под списком красовалось обращение, отчеканенное собственной рукой Лепинского:

«Прошу, если только найдете возможным, удовлетворить желание служащих верненского госпиталя, изъявивших горячее желание встать с винтовкой в руках на защиту мирного труда и справедливости...»

Все поднялись на нас: и дома инвалидов, и госпиталя, и уголовщики.

В полдень Чернов с небольшим отрядом налетел на особый отдел. И учинил мастерской разгром. Двух-трех часовых, что до сих пор сторожили помещение, выгнали во двор. Метались очумело из комнаты в комнату, штыками и шашками протыкали на пробу диваны, мягкие стулья, рассекали обои,— искали там секретного. В момент взломаны были столы, из ящиков выброшено все вон, ящики с визгом били о крепкий пол. Носились с гиканьем по комнатам, отыскивая секретные бумаги и «драгоценности». Но найти ничего не могли,— все важное Масарский увез в штадив. В пустых комнатах особого орал Чернов:

— С... с... волл... чи. Все украли. Все увезли... На-

ше будет. Все будет наше. Айда, ребята, взламывай полы, где тут расстрелянные?!

Часть кинулась на двор — громила там жилые помещенья, сараи. Другая часть раздобыла топоры и взламывала полы в отделе. Но и в подполье, конечно, не нашли ничего — только разыскали где-то пять пар погон, отнятых у пленных офицеров, отрыли компас да несколько царских серебряных монет: это добро припрятал Чернов на нужный момент. Через два часа не узнать было особотдела: переломала, перебила, весь опустошила его черновская ватага. Хозяйничала позже она и в военном трибунале. Спецом по разгрому и здесь был Федька Чернов.

Когда Чернов громил особый — мы как раз обсуждали ответ, полученный от Фрунзе.

О разгроме узнали позже, когда к нам в штадив прибежал арестованный особист — часовой.

Так разом действовала крепость: с нами говорила милые слова и в то же время выворачивала полы в особом отделе. Нельзя было верить ни единому слову, ни на одно решенье нельзя было полагаться: в один миг в такой обстановке все летело вверх дном.

Когда договаривавшиеся с нами в штадиве крепостники возвратились в крепость — «активисты» встретили их насмешками и бранью.

— Кого защищаете, сукины дети? Мерзота! Аблакаты, мать вашу мать! Стервяги!!

Поздно вечером экстренно был переизбран боесовет: во главе его встал Букин.

Когда на этом боевом «перевыборном» заседанье разыгрались страсти, когда схватились между собой в буйном галдеже «активисты» и «пассивисты» — Вуйчич вопрос разрешил простым, верным способом: ввел на заседанье дюжину архаровцев, арестовал «пассивистов», посадил их в каталажку. Оставшиеся продолжали заседать. Решили:

— Арестовать и расстрелять всех, кто сидит в штадиве!

Дело было к полночи. «Пассивистов» постановили, впрочем, вскоре освободить. Одумались. Боялись

внутреннего взрыва. Фоменко, член боесовета, бывший где-то в городе, узнал от верного человека о решении в ночь арестовать штадив. Он помчал на заседание боеревкома, кончик застал, поднял бучу, грозил тяжкими карами, упирая с особою силой на ташкентские броневики. Он сумел поколебать боеревкомщиков: они в эту ночь не привели в исполнение своего решенья.

Присутствовавшие на заседании в штадиве «партийцы» верненские с особенным вниманием прислушивались к сообщениям нашим о близкой подмоге. Читали они и категорический ответ Ташкента. И смекнули, что дело неладно, что время поворачивать оглобли в другую сторону. Вечером созвали экстренное заседание городской организации. И было даже стыдно слушать, как они там рьяно клялись в верности советской власти, как восторженно отзывались о «принципе централизации», как звали всех идти за собою и беспрекословно подчиняться приказам центра — что бы в них ни говорилось. Это было жалкое и позорное отступление.

Они заранее били отбой — струсили, почуяли близкую опасность, поняли фальшивость своего положения. Пытался было Чеусов сыграть на шифровках, поразжечь стухающий огонь, но и это не удалось. Собрание приняло единогласно нескладную, зато громкую резолюцию:

> Заслушав доклад по текущему моменту и происходящих в Верном событиях, а также о некоторых требованиях со стороны гарнизона, нарушающих существующие положения структуры рабоче-крестьянского правительства, постановили: предложить вновь утвержденной областной власти строго придерживаться законоположений Советской власти и не отступать от полной централизации. Все поступающие приказы и распоряжения центра немедленно приводить в исполнение. Красноармейцам сделать разъяснение о недопустимости изменения структуры власти, ибо это пагубно

отражается на общем деле революции и на руку контрреволюции, указав на то, что подобное выступление равносильно тому, что революционному рабочему и крестьянину, декхану и казаку, геройски защищавшему интересы бедноты,— вонзить нож в спину. Для такого разъяснения поручается партийным товарищам немедленно приступить к делу в среде красноармейцев. При этом верненская организация предупреждает все органы Советской власти, а также отдельных товарищей, что каждое малейшее неисполнение (распоряжений. — *Д. Ф.*) центра... будет рассматриваться как противодействие Советскому правительству, и этих лиц будут рассматривать как врагов трудового народа. Ответственность за могущие (возникнуть.— *Д. Ф.*) какие-либо выступления возлагается на партийных товарищей. Товарищам предлагают стоять в самой тесной связи с партией, чтобы не было той оторванности, которая наблюдалась до сих пор...

Эва, когда за ум взялись. Трое суток бунтовали с крепостью заодно, помогали ей против нас, а тут — на-ко!

До того разошлись, что после собрания,— видимо, во искупление грехов своих,— постановили даже идти агитировать в крепость. Но этот рыцарский жест пропал даром: недосмотрели того, что скоро уж полночь, на воле черная темь, и крепость спит наполовину,— какая там ночью агитация! Да к тому же, заслышав о партийном решении, крепостники выслали навстречу идущим своих ходоков, которые заявили, что партию в крепость не пустят:

— Утром приходите.

Ничего не поделаешь — отложили до утра. Это был час, когда в крепости готовились переизбрать боесовет. В этот час Петров отдал приказ своему молодцу, Скокову, разоружить штадив. Скоков прискакал, предъявил «мандат»:

Штабу 3-й дивизии.

Немедленно сдать все оружие, находящееся как в штабе, так и в Особом отделе и Ревтрибунале, для получки какового командируются от крепости помощник коменданта *Скоков* и член Вр. В.-Б. Р. совета *Шкутин.*

Комвойска *Петров.*

Комендант крепости *Щукин.*

Верно: Начальник штаба *Бороздин.*

А какое уж там у нас оружие? Взяли несколько винтовок, взяли поломанный пулемет. Что было поценнее — мы спрятали раньше. Этого не нашли. Револьверов с рук у нас не отобрали. Дело швах — совсем ни к черту. Близится развязка. Ну, что покажет завтрашний митинг?

Поздно вечером Шегабутдинов сообщил:

— Многое может завтра случиться... У меня шестьдесят киргизов наготове: вооружены как надо... И бомбы на руках. Бомбами, коли пойдет на то, сразу закидают толпу, а в суматохе, не бойся, выхватят всех вас, и к воротам... У ворот тоже свои,— эти вовремя «снимут» часовых, а там — на коней: кони будут готовы...

План не плох, только чуть романтичен.

Эту ночь никто из нас дома не ночевал,— кто по глухим чужим квартирам, кто в поле, кто в огороде. Мы с Наей около полуночи воротились из штаба в Белоусовские номера. Тьма на улице — в трех шагах ничего не видать. Живо прибрали все, что при налете-обыске могло бы скомпрометировать, заткнул я за пояс второй револьвер, и ощупью, тихо прокрались во двор, надеясь незаметно шмыгнуть через калитку. Номерами заведовал Куркин — предатель и шпион. Мы пробрались к калитке. Калитка заперта. Заперта, а ключи у Куркина,— что ж поделать? Пошли главным ходом, через крыльцо. Только спустились — в кого-то ткнулись в темноте. Незнакомец вслух произнес мою фамилию. Показались еще двое на углу, маячи-

ли силуэтами. А тьма — тьма темная кругом. Идти парком: там в условленном месте будет ждать Мамелюк, он и отведет на тайную квартиру. Чего эти люди стоят: шпионят? А в черном парке такая жуть: из-за каждого куста, того и гляди, выступит кто-то подстораживающий. Револьвер крепко зажат в руке, взведен курок. То и дело оглядываемся назад — нет ли кого по пятам. И идем не тропкой,— вертим то в одну, то в другую сторону, слежку сбиваем с пути: трудно ли спутать в этакой тьме! На перекрестке встретили Мамелюка; он провел из парка в улицу, улицей — к незнакомому дому, остановил нас у ворот, постучал тихо в дверь крыльца. Оттуда глухо кто-то окликнул; Мамелюк назвался, и дверь неприятно и ржаво заскрипела в тишине. Мамелюк вошел один, а мы, притаившись, следили, как проскакал мимо всадник и остановился где-то неподалеку: лязг копыт оборвался враз. Чего ему? И кто этот всадник? На нервах, взвинченных бессонными ночами и бурными тревогами этих дней, сказывалась чутко каждая мелочь. Всадник озадачил всерьез. Теперь мы были уверены, что он нас заметил и лишь затем тут вблизи остановился, чтоб следить. Распластавшись по забору, стояли недвижимо. В дверь шепнули, чтоб прекратили разговор. Так прошло две-три минуты. Вдруг зацокали вновь копыта,— шагом всадник уезжал за угол улицы, и тише, все тише, спокойней стальные поцелуи кованых копыт коня. Мамелюк дохнул в приотворенную дверь:

— Входите, только тише — скрипит, окаянная...

Мы протискались в дверную узкую щель, небольшим коридорчиком прошли в комнаты. Окна снаружи крепко захлопнуты были ставнями, однако ж огня сразу не зажигали,— только минут через десять водрузили на полу, в углу, чахлый огарок восковой свечи. Человек, к которому привели, мне не был знаком: тип провинциального конторщика. Мы осмотрелись: просторная чистая квартира — тишь, запах ладана и целебных трав, мирный обывательский уют. Все были уверены, что всадник выслеживал нас, что местопребывание наше открыто. Потолковали, как быть, и решили, что хозяину лучше не спать целую ночь (на

себя не надеялись: задремлем, уснем, измученные!), целую ночь ему ходить по комнатам и прислушиваться возле окон, возле дверей. Чуть что — он даст нам знать. Во дворе, у ворот станет дежурить верный человек: хозяин сходит, сейчас его там поставит. В случае тревоги — бежать черным ходом во двор, а там — к дальнему забору. Мы во тьме прошлись двором, возле забора приставили скамейку, чтоб разом с нее перемахнуть. Потихоньку, крадучись, пробрались обратно в комнаты. Спать бы теперь, только и спать бы в этаком душистом тепле да в тишине. А сна нет: нервными глотками, словно воздух пьет, дергается тело, а мысли скачут — и не поймешь, не помнишь, о чем думал минуту назад. В тревожной, вздрагивающей дреме провели всю ночь. Ничего не случилось: вся «слежка», верно, была плодом болезненной нервности, прижитой в эти исключительные дни. А может, кто и следил, да с толку был сбит?

Поднялись чуть свет. Напились чаю. Выходить не торопились; куда же тут идти — спозаранок, а до митинга — эге, еще как далеко!

Было около девяти утра, когда пришли мы в пустынные, охолоделые комнаты штаба дивизии. Всегда такие строгие и деловитые, эти комнаты были теперь проплеваны, унавожены грязными сапожищами, закиданы бумажками, окурками, разным мусором — некому, некогда убирать.

Пришел Позднышев.

— Вместе идем, Никитич? — спрашиваю его.

— Вместе. А скоро?

— Да, чего долго путаться; подождем минут десяток и айда: чем скорее все выясним, тем лучше,— сегодня ведь ставим последнюю карту!

Никитич угрюмо, серьезно промолчал. Через короткий срок подошли остальные военсоветчики. Условились, что в крепость идем мы вдвоем с Позднышевым, а оставшиеся устанавливают с нами связь, следят за развитием переговоров и в случае печального исхода принимают необходимые меры: дают знать

Ташкенту, прячут и сжигают, что необходимо, вовремя скрываются сами...

Снова друзья жали руки на прощанье, снова серьезно и значительно глядели нам в глаза, будто спрашивали:

«Неужто в последний раз?»

Мы с Никитичем шли в крепость. Дорогой обсуждали характер выступлений, кой-что старались предвидеть, предугадать, прикидывали — как лучше поступить в одном, другом, третьем затруднительном положении... По всем данным — нас встретят враждебно. Вчерашний ответ центра — нам это известно — таскался вечером и до ночи по ротам читался там, охаивался, подвергался глумлению, вызывал остервенелую злобу: боеревкомщики, даже те, что нам в штадиве обещали свою помощь, и думать не подумали разъяснить крепостникам сущность этого приказа, и пальцем не ударили о палец, чтоб выступить в его защиту. Наоборот — подогревали своим едким хихиканьем враждебное, недоверчивое, презрительное к нему отношение. За ночь только выросла, углубилась, стала острей и ядовитей у крепостников ненависть к центру, а с этой ненавистью и другая: к нам. Теперь попадали мы на горячее темя вулкана, назревшего ко взрыву. И думали мы с Никитичем: ежели нисколько, ни чуточки симпатии,— ну, хоть не симпатии, а внимания мы не завоюем,— тогда нечего в эдакой атмосфере и касаться вопросов о трибунале, расстрелах, подчинении приказам центра: неуспех обеспечен. И притом неуспех, быть может, с драматической развязкой. Значит, надо дело так обернуть, чтобы первыми освещались вопросы второстепенные, менее жгучие, такие, на которых легко можно выступить с успехом, безгневно, удачно и развить даже крутую критику... Из таких, например, подойдут: об устранении волокиты, бюрократизма, о пропусках, излишествах и т. д. Если нет иного исхода — самую лютую спустить с цепи демагогию. Да мы на демагогию согласились заранее — вряд ли без нее обойтись в таком исключительном положении! Тут все средства хороши, только вели бы нас к намеченной цели: бескровной ликвидации мятежа.

Шли и думали, думали и говорили с Никитичем о разных возможных деталях предстоящего сражения. Пришли на место. Вот она — снова крепость. Два дня назад мы тут сидели в заключении. Тогда обошлось. Ну, а как сегодня — обойдется ли?

Ишь как гудят кругом толпы вооруженных мятежников. И шинели, и гимнастерки, и пиджаки, и рубахи рваные, и зипуны, и армяки крестьянские — шныряют кругом. У каждого винтовка. Каждый готов в дело. В бесконечном море голов лиц не видать, не узнать, перемешались люди в суетливой толчее. Отовсюду гул глухой гудит, словно в тревогу десятки зычных фабричных гудков. Там перекличка мечется над головами; здесь густая, угрюмая, зловещая брань; тупыми ножами режет по сердцу скрипучий визг пересохшего грузовика; звенит и лязгает, сталью присвистывает грозно бряцающее оружие... Крепость буйно взволнована, крепость охвачена суматошной тревогой. В каждом лице, в каждом выкрике — угроза, набухшая жажда расправ и бесчинств, страстная охота дать простор растревоженным, на волю прорвавшимся страстям... Наэлектризованные толпы вооруженных людей, заранее не доверяющих всему, что им станут говорить, ненавидящие тех, кто станет это говорить, и жаждущие и готовые к расправе,— вот обстановка, в которой должны были разрешаться вопросы о государственной власти Семиречья. Обстановка, вежливо выражаясь, неподходящая. Обстановка не предвещала ничего доброго. Но дело надо делать. Незаметные, всем чужие — мы пробрались к боеревкому. Там находились в сборе почти все его члены. Блеснула мысль: а не лучше ли вопросы разобрать здесь, на заседанье? Уломать тридцать — сорок — пятьдесят человек куда легче, чем пятитысячную хмельную массу. Созвать сюда представителей рот, будем мы, будет боеревком. Все выясним, обо всем дотолкуемся, а там — каждый представитель на собрании своей роты доложит результаты, разъяснит все, разовьет должным образом; так вернее, ближе к цели. Так вся крепость будет ублажена. А в те роты, где не все понято, пойдут члены боеревкома вместе с нами, и совместно мы

поможем выяснить непонятное. Словом, нам хотелось иметь дело с *ротами*, а не со всей крепостью разом. И так настойчиво убеждали мы присутствующих, что они уже начали было с нами соглашаться... Но «активисты» не дремали,— они один за другим во время этих разговоров исчезали из-за стола, скрывались во двор, делали там свое закулисное дело... Когда уже все у нас было договорено, в дверь вломились три красноармейца и зычно, громко объявили:

— Што за собранье тут за стеной? Мы не позволим, чтобы теперь за стеной — все в крепости надо делать, открыто, передо всем народом... Никаких чтобы секретов... Так требует крепость...

Заявили, повернулись, пропали в толпу, а за ними еще двое, затем и по одному, и по два, по три — вламывались непрерывно, словно кто-то по очереди, как из-за кулис на сцену, проталкивал их сюда из-за дверей. Боеревком примолк,— против «голоса народа» выступать он не решился. Поднялся во всем своем составе и, направляясь к двери, позвал нас:

— Айда на телегу!

Через бурно взволнованную массу, плотно пригрудившую теперь помещение боеревкома, мы протискались на средину крепости, к знаменитой, памятной нам телеге, откуда держались речи. В толпе мелькали здесь и там узкоглазые бронзовые лица киргизов. И как увидели — легче. А в памяти промчалось:

«Не из той ли и ты таинственной нашей охраны, про которую вчера говорил Шегабутдинов?»

Алеша Колосов привел партийную школу и кольцом построил ее вокруг телеги. Таким образом, ближние ряды были из своих. Мелькали и отдельные знакомые лица городских «партийцев»: городская организация сегодня утром пришла сюда целиком; она тоже протискивалась вперед, к телеге, из открытого врага превратившись в нашего попутчика... Толпа со всех сторон притиснулась тесно к телеге, а мы на ней стоим, как пойманные, как приговоренные, и озираемся кругом и видим со всех сторон только злобой и ненавистью сверкающие взоры...

— Надо выбрать председателя...

— Ерискин... Ерискин... Ерискин...— загалдели дружно кругом. Было ясно, что кандидатура задумана была раньше.

Кого-то выбрали секретарем — кажется, Дублицкого. Выбрали Ерискина, а того и не знали, что удивительным образом он привязан к Белову, что слово беловское для него — закон: так любил, уважал Панфилыча Ерискин еще за давнюю работу на красных фронтах.

И того не знали, что Ерискин вчера вечером был у нас — мне и Белову рассказывал секреты крепостные и на сегодня обещал «честным словом» свою помощь.

Недели две назад Ерискин за что-то был посажен трибуналом и всего за несколько дней до восстания убежал из заключения и скрывался где-то в горах под Талгаром. Авантюрист по натуре, хитрый и смышленый парень, храбрый боец — он, разумеется, вовсе не был сознательным нашим сторонником. Им руководила единственно привязанность к Белову да надежда, что положительной своей работой теперь, во дни мятежа, он искупит свою прежнюю вину и получит прощенье от советской власти.

Итак — Ерискину председательствовать! Черноволосый, черноглазый, с лукавой ухмылкой смуглого красивого лица — он ловким, гибким дьяволом заскочил на телегу. Рядом с ним очутился Павел Береснев. Этот угрюмо молчит: что·он думает, Павел Береснев, этот лихой партизанский командир восемнадцатого года? В нем еще много силы, к нему еще много любви у бойцов, и если захочет — многое может сделать человек. Но ничего нельзя разобрать по его хмурому, насупленному лицу: опустил голову вниз, сидит и молчит, будто вовсе не здесь сидит, на бурном митинге, а где-нибудь в селе, на завалинке, мирно беседуя с соседями, шелуша праздничные подсолнухи...

— Какая повестка? — крикнул Ерискин.— Да тише, товарищи! Что за черт — чего орете! Тише надо — у меня глотка не луженая... Какая повестка?

Ерискин держался как командир, он не просил толпу — приказывал ей. Это свидетельствовало о силе,

о влиянье: всякому встречному *так* здесь говорить не позволят.

— Какие там повестки? — загалдели с разных сторон.— Нет никаких повесток... Давай приказы читай. Наши приказы, айда. И что там из Ташкенту есть...

Тысячи глоток ответно взывали:

— Приказы... Приказы...

Наконец договорились: прежде всего зачитать крепостной приказ за № 1... Там говорилось о «новой власти», о том, что других властей отныне нет и вся власть захвачена боеревкомом... Этот приказ щекотал приятно нервы бунтовщиков,— и пока читали — кричали они:

— Правильно... Вся власть наша... Чего там...

Обсуждать тут, разумеется, было вовсе нечего, и, пошумев-погалдев вволю, условились, по предложению Ерискина, принять приказ этот «к сведению». Что это означало — надо думать, не понимал никто, в том числе и сам Ерискин.

— Дальше... дальше «слово дается представителю военного совета (он назвал мою фамилию) для освещения двенадцати пунктов наших требований и для разъяснения ответа из центра...»

Передернулась толпа. Может, и крепко нас она ненавидела, однако ж послушать была охотница. И потому с первых же слов притихла, замерла, словно припала к земле, и вслушивалась чутко, опасаясь недослышать какую-нибудь нужную, важную весть. От десяти до четырех, целых шесть часов крутили мы ее, эту буйную толпу, словно водили-маяли под водой попавшую на крюк огромную рыбу, прежде чем выхватить оттуда внезапным ловким движеньем. Всю силу сообразительности, все уменье, весь свой опыт — все, что было в мозгах и в сердце, и во всем организме — и голос и движенья — все приноровили и все напрягли мы до последней степени, до отказа.

Бывает: после такого напряженья заболевают белой горячкой.

Словно острый нож, когда он входит в живое, чуткое тело и крадется к сердцу, чтоб пронзить,— впивались в сердце толпы (мы это чувствовали) наши

слова — то спокойные и деланно-веселые, все замиряющие, то угрожающие, говорящие о наказанье, о неминуемой расправе за восстанье.

Так брали в плен толпу. Нам отдельными одобрительными откликами со всех сторон отзывались неприметно разбросанные в массе «попутчики» или партшкольцы: вся толпа сбивалась с толку. Эти возгласы одобрения она принимала за свои, недоумевала, не понимала, как это могло случиться, что столь быстро разрядилось общее гневное настроение. Мы от мелких вопросов подступали к крупным, к самым боевым, опасным, решающим вопросам. По мелочам выступали бузотеры-ораторы: из кожи лезли, сипли и хрипли в криках, но на этих вопросах все же не удалось им взорвать гнев толпы.

Попутно с двенадцатью вопросами касались мы и ташкентского ответа, увязывали сразу и вместе и то, что можно было увязать. Пункт докладывался, разъяснялся, по нему вносилось наше предложение. Затем горячились в прениях, кричали, петушились-хорохорились, исступленно угрожали, а в конце концов, разве только с малыми изменениями, принимали то, что говорили мы.

Уж отмахали добрую половину вопросов. Вот они, снова подступают ближе и ближе к нам, эти роковые ступени, на которые жутко ступить, на которых буйно бьется мятежная толпа:

Трибунал, особый, разверстка, расстрелы, уход из Семиречья... На котором же тут тяжелей и где тут главная опасность?

Близимся чутко, нервно, сторожко к решающим вопросам, словно в бурю в открытом море на легком челне,— мчимся на рифы, к подводным камням и не знаем, как обойти их, остаться живу, не разбиться вдребезги о страшную преграду.

— Товарищи, будем откровенны, перед собою прямо и смело поставим этот вопрос: надо или не надо бороться с врагами советской власти? Надо ли бороться с теми, кто вас вот здесь, по голодному и разоренному Копало-Лепсинскому району терзал и мучил эти годы? Если враг подкрался, если враг наточил свой нож и

вот-вот кинется, всадит тебе по рукоять,— неужели станешь стоять и ждать, когда прикончат тебя, как беспомощного барана? Ой, нет! Ты примешь какие-то меры, ты постараешься себя оберечь. И не только скрыться, убежать — этого мало, ты постараешься обезоружить, обессилить своего врага, чтоб он больше никогда не угрожал... А если и этого мало, если он не поддался тебе — скрутишь его, обессилишь; если же вреден смертельно — прикончишь, потому что из двух выбирай: или ты, или он, кому-то жить одному. Так уж лучше ты сам захочешь жить, а врага кончишь. На то нам нужны, товарищи, и эти карательные революционные органы — особый отдел и трибунал...

Легким ветерком прошелестел в толпе глухой далекий гул.

— Их назначенье,— продолжаем мы чуть громче,— бороться с врагами революции. Кто же станет бороться, как не они? Кто станет выискивать шпионов тут, где-нибудь в тылу или в бригаде, в полку — на фронте? Кто станет выслеживать и раскрывать разные заговоры? А эти заговоры враги наши организовать мастера, и только отвернись — сейчас же смастачат. Особотдел и трибунал словно уши наши и глаза: они все должны слышать и видеть, вовремя должны все узнать, предупредить, забить тревогу, спасти нас от близкой грозной опасности. Товарищи, если вашей бригаде, положим, грозит измена, предательство... Если особотдел накрывает предателей, спасает бригаду, спасает сотни и тысячи жизней... Если он, положим, расстрелял этих предателей,— кто из вас станет плакать по негодяям? Никто...

— А нашего брата...— донеслось угрожающе откуда-то издалека.

Это был первый сигнальный крик. Мы понимаем: ответить — значит, завязать спор, перебить речь, а это вредно.

И потому как ни в чем не бывало продолжаем:

— Надо понимать, товарищи, для какой цели существуют эти органы и с кем они борются, кого наказывают... Это же...

— Знаем, кого! — крикнул сердито голос в передних рядах.

— Нашего брата стреляют,— отозвался другой.

— А офицеров здесь не трогают... Им — работать пожалуйте... На жалованье...

— Позвольте, позвольте слово! — кричал на ходу красноармеец, ловко работая локтями, быстро подступая к телеге. Перед ним расступались, охотно пропускали вперед.

— Нет слова,— объявил громко Ерискин,— надо сначала кончить доклад оратору...

— А мне нада,— заявил тот еще громче.

— Дать, дать слово...— загалдели кругом.

— Что такое — одному можно, другому нельзя?

— Всем можно. Вали, говори...

И выскочивший на телегу красноармеец задыхающимся, прерывистым криком рассекал пронзительно воздух:

— Я, может, все и не скажу... я только знаю одно: нашего брата везде стреляют... А кто им дал право, кто они такие, что понаехали с разных концов? Мы без трибунала вашего проживем... Наехала с... сволочь разная... р... р... расстр... реливать...

Толпа дрожала в лихорадке — высвистами, выкриками, улюлюканьем, шумным волненьем обнажала свою резкую нервность... Выступавший больше ничего не сказал; выпалил гневное, разжег страсти, соскочил с телеги — пропал в толпу.

Выступали и что-то кричали: Чернов, Тегнеряднов, Караваев. Но их не слушали, громко галдели. Тогда во весь свой могучий рост со дна телеги поднялся Букин.

— А я вот што,— прорычал он осанисто и быстро затряс по воздуху какими-то предметами.— Это все вчера нашли: деньги царские да кресты поповские... Да вон какую...— и он поболтал на цепочке компас, не зная, как его назвать...

Толпа заревела пуще прежнего. Вряд ли кто рассмотрел бумажки и крестики — выли просто на букинский вой. Просто знали: раз Букин выступил,

значит, что-нибудь громит. Тут бесенком под Букина вынырнул Вуйчич:

— А это што?.. Ага... га... га...

И он отчаянно затряс над головой две пары офицерских погон, утащенных при разгроме особого отдела...

— С офицерами вместе — вот они какие. Продались за наши денежки. Погоны прячут, сами их наденут...

И кто-то крикнул ему в подмогу:

— Всех офицеров на суд подавай... Сами разберем — кого куда. Аль кончить, аль в Сибирь кого. В Сибирь пошлем, в Семипалатинск,— нам они здесь не нужны... Пускай околевают там... свол... лочь...

Толпа прорвалась:

— Чего глядеть — арестовать...

— Арестовать их всех, из центру... Ага-га-га... Ге-ге...

— Расстрелять тут же... Го-го-го...

— Нечего ждать, вали...

И вдруг встрепенулись, метнулись ближние ряды, резнул пронзительный звон оружия, щелкнули четко, зловеще курки... Глянул я быстро Никитичу в лицо — оно было бледно.

«Так неужели кончено?» — сверкнула мысль...

А тело нервно вдруг напряглось, словно готов я был прыгнуть с телеги — через головы, через стены, за крепость...

— Товарищи! — крикнул чужим, зычным голосом.— Ревсовет приказал...

Вдруг сомкнулась кольцом вокруг телеги партийная школа и твердо уперлась, сдерживая бурный натиск толпы. Все исчислялось мгновеньями, все совершилось почти одновременно.

Видим, как взметнулся к телеге Ерискин, и в тот же миг слух пронзили резкие слова:

— Да это что? Ах вы, сукины дети!!

Неожиданный окрик застудил на мгновенье толпу, она будто окаменела в своем страстном порыве. Момент исключительной силы!

— На што выбирали меня?! — крикнул Ерискин.— Раз председатель — я никому не позволю... никому не дам... Што за разбой... Ишь раскричались... Если только кто-нибудь их тронет,— указал он в нашу сторону,— тогда выбирайте другого, а я не стану... И черт с вами, из крепости уйду!!

Слова произвели большое впечатление. А тут еще Павел Береснев.

— Товарищи,— говорит,— так нельзя: к вам люди пришли говорить по-хорошему, а вы что? Разве так обращаются? Я тоже уйду из крепости, если што...

— Слово, слово мне! — крикнул Букин.

— Лишаю слова,— твердо объявил ему Ерискин и повторил еще раз во всеуслышание,— Букину слова не даю: лишаю!

Никто не протестовал. Это была очевидная, бесспорная победа...

— Для продолженья речи слово даю говорившему оратору.

И он рукой дал мне знать, чтоб продолжал.

Надо было выдержать марку, надо было не объявлять своей радости по поводу счастливого исхода. Хоть видимое, но сохранить спокойствие,— как ни в чем не бывало, ровным тоном объяснять приказ центра: приказ, а не просьбу!

— Мы остановились, товарищи, на том...

А толпу не узнать. Она стихла, будто виноватая. Только соскакивали отдельные жалкие выкрики одиночек. Но это же пустяки: буйный гнев вошел в берега. Быстро, походным маршем проходили последние вопросы. Толпа словно зубы потеряла,— нечем было грызть, чавкала, как старуха, опустошенным, беззубым ртом. Покорили нас было за то, что:

— Киргизам вот, беженцам, неделю помощи устроили, а нам что — кукиш?

Но и этот вопрос миновали: договорились, что широко организуем помощь общественную копалолепсинцам в добавление ко всему, что для них и без того делается ускореннейшим темпом. Последний вопрос о власти:

— Крепость выбирает двоих в военсовет дивизии и трех в обревком...

Заупрямились было опять на том, что и во что вливать: боеревком в военсовет или наоборот. Уломали, убедили, доказали, что *одна* крепость центром признана не будет и в ход пустят против нее броневики... А вот вместе с нами — другое дело...

— Мало двоих... Мало троих,— галдели кругом.— Всех давай, соединяй...

Пока они перекликались, мы с Никитичем устроили в телеге мгновенное совещание:

— А не один черт, что два, что десять? Давай еще разрешим во все двенадцать отделов ревкома по одному — накинем дюжинку на свой риск!

И объявили:

— Хорошо. Кроме тех пяти, пусть будет еще двенадцать представителей в отделы обревкома.

Успокоили количеством.

Проголосовали и приняли безусловное подчинение приказам центра. Хотели было тут же и выбирать, чтоб отделаться зараз. Но крепостники решили поиному:

— Сегодня же вечером каждая рота пришлет в городской театр по пять человек,— там из них изберут представителей.

— Что же, и это неплохо.

— Теперь вот что, товарищи,— заявили мы.— Все ясно: и вам ясно и нам. Теперь договорились по всем вопросам, и власть у нас будет одна. Завтра с утра — работать. Кончены все недоразумения. Так и скажем сегодня же Ташкенту: с гарнизоном договорились, работаем отныне мирно и дружно... Вы сегодня же, вот после этого собрания, расходитесь из крепости по казармам,— дальше незачем здесь оставаться, раз договорились по всем вопросам...

Это нами было сказано будто вскользь, будто разумелось само собой, что из крепости надо сегодня же уходить, а мы, дескать, им только вот об этом напоминаем: не забудьте, мол, товарищи!

Митинг окончен. Толпа медленно расползается в разные стороны. Мы беспрепятственно выходим с

Позднышевым за ворота крепости, легко и весело поминаем отдельные моменты бурного собранья. А в штадиве — на телеграф и делаем Ташкенту короткое сообщение:

...Полученный приказ из центра о конструкции власти было постановлено объяснить на общем собрании гарнизона, так как красноармейцы и слышать не хотели, что его разберут какие-то выборные делегаты... Можете себе представить, что значит заставить пятитысячную массу крепости (не только гарнизон, но и полевые части),— массу, страшно взволнованную и требующую оставления своей крепостной власти,— убедить в необходимости подчинения приказу центра! Сегодня, 15/VI, в 10 ч. утра мы открыли в крепости общее собрание, длившееся целых шесть часов. Налицо имелось двенадцать волнующих массу вопросов: о расстрелах, об Особом отделе, о Трибунале, о суде над белыми офицерами на месте, об отправке их из Верного в Семипалатинск, в Сибирь, о немедленном аресте всех назначенных (Ташкентом.— *Д. Ф.*) работников и о неподчинении центру.

Докладчиком по всем вопросам пришлось выступать мне. Одно время раздавались настойчивые требования о нашем аресте и расправе. В конце концов принято голосованием подчинение центру и согласие от каждой роты выбрать по пять человек представителей, которые сегодня в шесть часов собираются в Советском театре,— из них будут выбраны добавочные члены в Военсовет и Обревком. Как пройдут выборы и состоятся ли они (трудно сказать.— *Д. Ф.*), так как настроение крепости весьма изменчиво. Предложение выбрать делегатов непосредственно гарнизонным собранием принято не было. Город оцеплен патрулями. Тов. Фрунзе, это следует иметь в виду при поездке в Верный...[1]

---

[1] Фрунзе дал знать, что сам скоро собирается выехать в Семиречье.

Делегаты собрались вовремя. Советский театр до отказа набит был всякой публикой. У делегатов на руках имелись особые мандаты. Мы, военсоветчики, тесной кучкой пригрудили к председательскому столу. Председателем избран был крепостник Прасолов — тот самый, что 11-го, на заре мятежа, на митинге в казармах кричал громче всех. Потом он в дни мятежа словно сгинул, редко где показывался, вовсе не выступал. Мы о нем и забыли. А теперь — почему-то в роли председателя. Он сидел за столом, а мы ему подшептывали и подсказывали свои советы и предложения. Заседание было отменно спокойным. Избрали представителей: в военсовет — Петрова и Чеусова, а в обревком — полтора десятка.

Ночью я сообщил центру:

— Сейчас закончилось собрание делегатов частей, которое было уполномочено общим собранием гарнизона — выбрать представителей в военсовет дивизии и в обревком. Завтра приступим к работе. У меня нет точных сведений о выбранных,— это я сообщу завтра. По-видимому, все закончится без кровопролития. Принципы государственной власти и централизации восторжествовали над самочинством и разнузданностью. *Твердо за положение не ручаюсь* (курсив мой.— *Д. Ф.*), но (некоторых.— *Д. Ф.*) результатов как будто достигли,— во всяком случае, добились определенного перелома в настроении гарнизона. Теперь придется доканчивать те скверные остатки, которые неизбежно сопутствуют всякому (подобному.— *Д. Ф.*) неорганизованному движению... Скажите, выехал ли кто из вас на легковом автомобиле в Верный?

— Я этого не знаю,— говорил Ташкент,— а потому не могу ответить...

— Хорошо, до свиданья.

— Всего наилучшего...

Мы собрались в штадиве, обсуждали сложившуюся обстановку. Она, бесспорно, была куда благоприятней, чем вчера, чем два дня назад. Но... быть начеку! Вон оно, по вечерней тишине слышно в открытые окна топанье тысяч ног,— это части уходят из крепости в казармы. Прекрасно. Мы этого ждали. Мы

на этом настаивали. Мы этого добились. Но... быть начеку!

За тревогами минувшего дня мы не успели снестись с Пишпеком, не знали, что там творится.

А в Пишпеке совершилось кой-что новое.

Заведующий пунктом особого отдела, Окотов, несколько нервно сообщал в центр:

Военная. Вне очереди. Срочно.

> В Верном восстание. Я получил распоряжение тов. Фурманова принять меры. Все возможное сделал, создан оперативный штаб. Пишпеку подчинены Пржевальск, Токмак, Нарын. Все на боевом положении. Во всех районах спокойно. В Верный высланы разведчики,— жду результатов...
>
> Масарский [и] Горячев бежали в горы, там окружены враждебными бандами, выставленными в горных проходах...

Материал, как видно, чуть-чуть запоздалый: в это время центру были известны уже и более поздние сведения.

В тот же день в Пишпек получено было из Ташкента распоряжение, а по этому распоряжению там отдан был новый приказ. Вот его содержание:

ПРИКАЗ № 2

15 июня 1920 года, гор. Пишпек.

> Согласно телеграфному распоряжению Реввоенсовета Туркфронта от 15 июня за № 2458, я назначен временно командующим всеми силами Пишпекского, Пржевальского, Токмакского и Нарынского районов.
>
> С этого момента Оперативный штаб Пишпека считается упраздненным.
>
> Подтверждая приказ № 1 штаба гор. Пишпека, предлагаю всем частям уездных районов оставаться на своих местах.
>
> Все военные распоряжения по области будут исходить только от меня.

Призывая граждан к полному спокойствию, предупреждаю, что всякая попытка к неповиновению или неисполнению моего распоряжения, а также всякая провокация будут наказываться немедленным расстрелом.

Все учреждения уездных районов прекращают, впредь до распоряжения, сношения с Верным.

Командующий силами области *Шеповалов.*

Начальник штаба *Кондурушкин.*

Но об этом приказе мы узнали лишь значительно позже, как и вообще с большим опозданьем узнавали о том, что творится по области: мы поглощены были Верным и поглощены едва ли не на 80—90%: и работа, и время, и техника связи не позволяли нам целую неделю быть воистину областным центром...

Итак, расчищалась крепость, оттуда уходило большинство частей. Как будто жизнь входила в нормальное русло. Закрывалась целая полоса, события переваливали за четвертые сутки.

Как бы там ни было, а мятеж оконченным мы не считали. Мы не могли поверить, что движение, имеющее под собою столь глубокие социально-экономические корни, сможет закончиться на таких, в сущности... пустяках. В самом деле, разве это не пустяки для восставших? Дали им возможность послать своих представителей в военсовет и обревком. А дальше что? А дальше — остается у кормила та же центральная власть, та же пролетарская диктатура. Словом, «все по-старому». Наиболее из них сообразительные, разумеется, понимали, что в военсовете, например, не Чеусов с Петровым будут руководить делом, а все мы же, которые им руководили и раньше. Так будет в военсовете, так будет и в обревкоме. Так будет всегда и повсюду, где мы у власти. Следовательно, и требования все останутся прежние:

Из Семиречья войскам идти на Фергану, помогать там против басмачей.

Продразверстку выполнять так, как это указывает центр.

Киргизов больше не эксплуатировать.

Бригаду киргизскую продолжать формировать.

Трибунал и особотдел восстановить...

И так далее и так далее...

Так зачем же было и огород городить, на что было подымать восстание? Весь мятежный сыр-бор из-за того лишь и загорелся, что эти *коренные,* глубокие требования семирекам показались осуществимыми: все долой и все по-своему! А теперь — ишь чем подменили: вместо отмены продразверстки и прочего и прочего — выбирайте своих представителей. Нет, брат, шалишь, на мякине воробья не проведешь!

Так думали те, что стояли во главе дела. Они теперь, после вчерашнего боя на крепостном митинге, чувствовали себя побежденными и будто в чаду каком, на похмелье: как это в самом деле могло получиться, что мятежная крепость уплыла у них из рук? И как это вдруг красноармейцы, кричавшие: «арестовать... уничтожить... расстрелять»...— как они вдруг стали покорными, будто овцы, согласились очистить крепость, разошлись по казармам? Вожди крепостные недоумевали. Стекались снова в крепость, там секретно совещались, шушукались по коридорам военсовета и обревкома, держались, как одичалые, укрывались, устраивали тайные заседания, обсуждали: «Как теперь быть?»

И порешили, что хотя центровики и «втерли очки крепости», но еще не поздно, еще не все проиграно, надо торопиться все вернуть, наверстать потерянное, снова разжечь страсти гарнизона. А потом вот-вот должен прийти 26-й полк... О, тогда мы им покажем!

И мы и они хорошо понимали, что дело не кончилось, что доброй волей красноармейцы-семиреки из Семиречья не пойдут, что впереди — кто еще знает, на чьей стороне окажется перевес? Иные из них, попроще, искренно верили, что «дело кончено», и горячо взялись с утра же за практическую работу в обревкоме.

Военсовет заседал с утра в новом составе. Было непривычно — и нам и им — уже не спорить и опро-

вергать друг друга, как это было доселе, а так вот мирно и покойно заняться повседневной работой. Удивительно. Даже стыдились чего-то, неловкость испытывали обе стороны. Сидеть мы с ними сидели, говорить — говорили, а важнейшие вопросы все-таки предподчитали разрешать одни, уединившись ли куда в штадиве, или собравшись на частную квартиру,— во многое посвящать мы их, конечно, не хотели и не могли.

На первом же заседании военсовета разрешили все нужные вопросы, правда, «разрешив» их предварительно на своем секретном совещании. Крепостники в иных местах трепыхались, сопротивлялись, но мы им рекомендовали теперь равняться не столько на гарнизон, сколько на Ташкент, потому что они-де «законная власть». И они примолкали. Даже жалко было смотреть, в какое положение они себя посадили: ни взад ни вперед. А нам как раз это на руку. На заседании военсовета решили прежде всего созвать весь командный состав и разъяснить ему, как держаться и что делать в новой обстановке. Комсостав потом созвали и так его проняли, что иные уж ни разу больше не показывались в крепость.

Затем на заседании постановили расформировать крепостные объединения и оставить те названия частей, что были раньше.

Тут поднялся было на дыбы Петров:

— Как расформировать! А зачем мы четыре дня формировали их?

Не вдаваясь в пространные прения, мы ему дали понять, что и сами не знаем, зачем их «четыре дня формировали», что так «удобнее», что ихняя крепостная система имела в виду один только Верненский гарнизон, а наша рассчитана на всю Семиреченскую армию. Убедили ли эти доводы — неизвестно, но больше он не протестовал.

Третий вопрос — о переброске из Семиречья воинских частей в положенный заранее срок. Вопрос большущий, вопрос скандальный, а «разрешили» его в момент, но, конечно, понимали, что фактическое «разрешение» еще впереди, а это лишь так себе, бумажная одна наметка.

Затем решено было созвать экстренное общегарнизонное партийное собрание. Хоть Петров был и непартийный, зато Чеусов настоящий «партиец»: им обоим очень польстило, что в их присутствии решаются и *такие* дела. На этом собрании потом без пощады громили мы своих «партийных товарищей» и многим из них отшибли окончательно охоту шататься в крепость. На этом же собрании намечались кандидатуры новых временных работников в особый отдел и в трибунал, ввиду того что старый состав весь был разогнан — и скрылся.

Дальше, пятым вопросом, стояло избрание комиссии по учету пропавшего оружия и его собиранию. Комиссию создали под председательством Позднышева...

Шестой вопрос — об исчезнувших, разбежавшихся из-под ареста особотдела, трибунала или работного дома. Это дело постановили передать для разрешения вновь формировавшимся особотделу и ревтрибуналу.

Седьмой вопрос: Щукина Александра оставили и утвердили комендантом крепости. Так, мы считали, будет тактичнее. То-то получилось «тактично»: в тот же день, 16-го, он, Александр Щукин, затеял переписку с Авдеевым, председателем областной ЧК (или его заместителем). Щукин писал ему распоряжение: непременно разыскать и доставить в крепость укрывшихся работников особотдела — Масарского и Аксмана. Авдеев ему ответил:

Коменданту крепости т. Щукину.

Областная ЧК просит сделать распоряжение о высылке в распоряжение ЧК пяти человек конного конвоя для производства ареста граждан Аксмана и Масарского, так как дневным обыском никаких результатов не добыто. Конвой выслать часам к 10 вечера, и если возможно, то пропуск на право хождения по городу.

16 июня 1920 г. Врид предобчека *Авдеев.*

Вот какая шпана сидела в Верном даже на таком посту, как... предобчека!

Этого молодца, разумеется, потом расстреляли. Но теперь он очень рьяно помогал крепости.

Это лишь к слову. Седьмым и последним вопросом на заседании было утверждение проекта приказа — первого приказа нового военсовета. Проект утвердили полностью. Вот содержание:

ПРИКАЗ № 4

Военного Совета 3-й Туркестанской стрелковой дивизии. 16 июня 1920 г., гор. Верный.

На общем собрании гарнизона гор. Верного, состоявшемся 15 июня в крепости, было постановлено, во исполнение приказа Реввоенсовета Туркфронта, выбрать двух представителей в военный совет дивизии и трех представителей в Обревком. Каждая рота выбрала по 5 делегатов на общее гарнизонное делегатское собрание, и там были выбраны следующие представители:

1) в военсовет дивизии *Петров* и *Чеусов*.

2) в Обревком *Белецкий* Алексей, *Петренко* Александр и *Щукин* Александр.

Кроме того, во все отделы Обревкома было выбрано для работ еще двенадцать человек.

В данное время достигнуто полное объединение. Военсовет дивизии и Обревком приступили к выполнению своих функций. В области объявляется военная диктатура военного совета дивизии.

Всем органам военным и гражданским приказывается немедленно приступить к работе.

Объявляется самая беспощадная и суровая борьба с провокацией.

Подлинный подписали:

Председатель военсовета дивизии *Фурманов*.
Тов. председателя *Петров*.
Секретарь *Чеусов*.

С подлинным верно:
Исп. об. начальника штаба дивизии *Бровкин*.

С этого же дня мы отобрали из гарнизонных «партийцев» хоть сколько-нибудь понадежнее и наладили их вести среди частей настойчивую агитацию в нашу пользу. Во главе этого дела встала группа наших товарищей: Альтшуллер, Верменичев, Алеша Колосов, Кравчук, Шегабутдинов. Дело шло — и неплохо шло. Иных они уговаривали, убеждали, иных застращивали, припугивали «ответом», который надо будет нести перед Ташкентом; гарнизон понемногу «разлагался», часть публики перетягивалась к нам. Непокорны только по-прежнему были части 25-го и 27-го полков. Эти держались крепко и ни в какие «миролюбивые» разговоры с нами не вступали.

В полдень была по проводу беседа с центром:

— У аппарата замчленреввоенсовета Малиновский; там ли Фурманов?

— Да, здесь, здравствуйте, товарищ Малиновский. Членами военсовета от гарнизона выбраны: Петров Алексей, командир 1-го Семиреченского полка, беспартийный. Чеусов Георгий, начальник милиции города Верного, председатель городской партийной ячейки. Членами обревкома: Вилецкий, коммунист тысяча девятьсот шестого года; Петренко Александр и Щукин Александр, беспартийный; кроме того, избраны в отделы обревкома двенадцать человек на практическую работу. От вас ожидаем утверждения пяти членов. Сегодня состоялось заседание военного совета в составе председателя Фурманова, как назначенного центром, товарищем — Петров, секретарем — Чеусов. В области объявлена военная диктатура, органом которой является военсовет дивизии. Принимаем срочные меры к проведению в жизнь приказа центра о переброске частей. За последние четыре дня части, собравшиеся в крепости (объединились.— *Д. Ф.*) в новые полки и команды. Нами объявлено, чтобы эти части расформировать и оставить в прежнем виде. Ввиду того что ответственные работники особого отдела и ревтрибунала скрылись в горы, оставшимся продолжать свою работу при данном отношении гарнизона (невозможно.— *Д. Ф.*). Постановлено сегодня на экстренном заседании гарнизонной партийной организации

выделить работников в оба (эти.— *Д. Ф.*) органа, пока центр не пришлет новых. Ввиду того что во время событий расхищалось и утаивалось оружие и имущество, поручено товарищу Позднышеву через спецкомиссию все выяснить и собрать. Начальником гарнизона назначается обвоенком, а комендантом — Сараев. Комендантом крепости назначается товарищ Щукин Александр; вопрос об арестованных, выпущенных и разбежавшихся, поручено разобрать в экстренном порядке вновь организованным особому отделу и ревтрибуналу, притом вчера на собрании было постановлено всех офицеров задержать в Семиречье для сбора против них материала, но полагаю, что военсовет теперь сможет приказ центра выполнить. Было принято ходатайствовать перед центром об отмене смертной казни для Семиречья. Там же было принято (решение) об организации добровольного пожертвования в пользу разоренных Копальского и Лепсинского уездов. Пока сообщить (больше) ничего не имею. Фурманов.

— Прежде чем поставить на обсуждение реввоенсовета ваши вопросы и сообщения, дополните, что все передается от имени военного совета дивизии, в присутствии президиума.

— Хорошо.

— Сообщите, какими сведениями располагает военсовет относительно выполнения приказа о переброске частей других городов области, и затем, каково отношение мусульманства к происшедшему? Малиновский.

— Все части, за исключением первого полка, от которого сведения не получены, согласны выполнить приказ центра. Отношение мусульманства выжидательное и напряженное. Первый провокационный выстрел повлечет крупные (осложнения). Нам это удалось предотвратить совместно с лучшим элементом крепости. Фурманов.

— Хорошо. Весь разговор сейчас же сообщу реввоенсовету.

— Между прочим, сообщаю о благородном поступке Береснева и Ерискина: в то время, когда гарнизон готов был поднять нас на штыки, (они) остано-

вили возмущенную массу, заявили, что солидарны с нами, и своим авторитетом удержали массу от неизбежного кровопролития. За какие-то дела в прошлом они привлекаются реввоентрибуналом к суду — за какие дела, я не знаю, но если (они) не очень важные, то я порекомендовал бы всякие дела прекратить за их благородный поступок. Равным образом товарищ Стрельцов проявил большую сознательность, удерживая красноармейцев от распития ими десяти (?) [1] бочек спирта, которые каким-то образом попали в крепость. Фурманов.

— До свидания. Малиновский.

Ташкент — лишь только получил от нас окончательное извещение о новой конструкции областной и дивизионной власти — дал знать об этом Пишпеку следующей телеграммой:

Текона. Секретно. № 0650/196.
16-го. 15 час. 15 мин.

Спешно, только Пишпек, для передачи по всем адресам: Пишпек, Пржевальск, Токмак, Нарын, начальнику гарнизона, копия комитету коммунистической партии, копия Турцик, Крайком. Судя по последним данным, Верненский гарнизон с пути мятежа возвратился на путь революционного порядка. Впредь до фактического ознакомления с истинной подкладкой и характером верненских событий Реввоенсовет Туркфронта, в видах прекращения возможных эксцессов и кровопролития, счел возможным временно допустить реорганизацию местной власти путем введения двух лиц в состав военного совета дивизии и трех лиц — в Обревком. Во внимание к этому вы должны формально считаться с возникшей временной новой властью в области и восстановить деловую связь с Верным. Фактическое же исполнение всех распоряжений области (должно) согласоваться с нашими указаниями. О дальнейших отношениях

[1] О количестве бочек спирта в крепости сведения были самые несхожие.

Реввоенсовета фронта к верненской власти и верненским событиям вы своевременно будете ставиться в известность. Принципиальное отношение ваше к верненским событиям Реввоенсовет фронта считает вполне правильным.

Командтуркфронтом *Фрунзе.*
За члена Реввоенсовета *Малиновский.*

Так и ревсовет фронта считал новую власть маргариновой — такою же ее считали и мы. Во всех телеграммах центру, во всех с ним переговорах мы неизменно подчеркивали мысль о том, что власть-то — властью, а все же мы не верим в ее «прочность» и можем с часу на час ожидать новых осложнений. Правда, наиболее острый момент был уже позади, и нашего непосредственного вооруженного вмешательства пока не требовалось. О продвижении ташкентских сил мы ровно ничего не знали и даже не были уверены, что они в пути, а потому при разговоре с центром за этот же день мы говорили не о *случайной* вооруженной помощи Ташкента, а считали совершенно необходимой присылку сюда *постоянной* силы, которая уберегла бы область и на будущее время от подобных восстаний.

Мы писали:

Из Текона 216. Военная. Вне всякой очереди. Ташкент. Командтуркфронтом Фрунзе.

На ваш № 1/1396 от присылки из Ташкента сил можно было бы воздержаться, так как дело разрешается в нашу пользу. Но это предложение относится к ликвидации острого момента восстания, который, по-видимому, миновал. Надежных сил, базы у нас нет, и это вынуждает ходатайствовать о присылке стойкой части *постоянного* (курсив мой.— *Д. Ф.*) назначения, которая могла бы оказать помощь в будущем повторном восстании,

возможность которого отнюдь не исключена [1]. Пытаемся приступать к переброске частей, согласно вашего приказа. Если первый опыт окажется неудачным — разрешите нам распустить некоторые части во временный отпуск, мотивируя это их исключительными боевыми заслугами, а тем временем дать возможность подтянуть 105-ю бригаду и совершить переброску принудительно. Примите к сведению, что на телеграфе установлен контроль городской компартии, игравшей во всей этой истории довольно гнусную роль и работавшей солидарно с крепостью. Передавайте шифром.

16 июня 1920 года. *Фурманов.*

И в тот же день еще телеграмму:

Вне всякой очереди. Ташкент. Реввоенсовету Туркфронта.

Положение считать спокойным не следует. Мы добились главного: вывести части из крепости и разрядить атмосферу, но волнение не улеглось, и оно будет прогрессивно нарастать по мере приближения (срока) переброски войск в центр. Семиреки определенно не хотят уходить из Семиречья и подыскивают всякие поводы, чтобы остаться или задержаться здесь. Они затягивают время в надежде на подход других частей, чтобы совместно с ними поднять еще более жестокую бурю. Во главе движения стоят уголовные и политические преступники, пострадавшие от карательных органов. Этим в значительной степени и объясняется та ненависть к ОО и Трибуналу, которою захвачена вся эта масса, что (и) вылилось в фактический разгром этих двух организаций. Я еще считаю неправильной для Семиречья и общую линию, которую усвоили в своей тактике эти организации: для Семиречья, где мы окружены социально чуждым, политически враждебным населением, где мы не имеем достаточной реальной силы,— нельзя

---

[1] Действительно, через короткий срок вспыхнуло восстание в Нарынском районе Семиречья.

применять политику крутой расправы, как в центре, ибо эта политика приведет к возмущению и восстанию, что и подтверждается на факте данного бунта. Полагаю, что этот вопрос следует принципиально разрешить в краткий срок. В данное время положение таково: нам удалось привлечь на свою сторону комсостав, который сегодня на своем заседании высказал полную солидарность со всеми нашими взглядами. Завтра утром, то есть 17 июня, идем вместе с комсоставом в батальон 27-го полка, который должен выступить первый и до сих пор упирается. Ставим вопрос ребром: кто подчиняется приказу — направо, кто нет — налево, и такой будет считаться дезертиром. Я тактически возбудил перед вами ходатайство об амнистии Бересневу и Ерискину, передав это широкой гласности,— результат колоссальный. Затем поручили командирам выполнить беспрекословно приказ о переброске. Когда этих согласных наберется большинство, тогда они убедят меньшинство. Я веду линию раскола частей, дабы они воздействовали одна на другую. Такую же линию пытаюсь вести в деле ареста подлых элементов. У нас нет реальной силы для этих арестов, и я добиваюсь того, чтобы сознательные сами арестовывали подстрекателей. Общее направление наше сводится к тому, чтобы не было крови, так как это может повести здесь, с одной стороны, к открытию фронта и — с другой — к мусульманской резне.

Фурманов. № 1411/3.

Обе стороны стихли, будто устав, перемучившись от страстной борьбы: борцы отдыхали.

Но только отдыхали — не больше. А как отдохнут, снова в борьбу, и тогда уж — кто кого? Второй раз отдыхать не придется. Друг дружку в борьбе точно узнал, испытал и в слабых и в крепких точках. Дважды провести никого никому не удастся — это надо себе запомнить, зарубить.

Эй, не дремли, борец: моментальной, внезапной, крепкой хваткой уцепит тебя затаившийся враг и мигом ловко подомнет под себя. Подомнет и грузно осядет. Тогда уж выхода нет, конец.

В такой среде, в такой обстановке решали мы дела.

Две стороны. Чуть замирившиеся враги.

Может ли это держаться долго?

Семнадцатого мало что переменилось. Только стало известно, что «активисты» повели среди красноармейцев агитацию за возврат в крепость:

— В крепости мы — сила, а здесь што? Из крепости мы любое можем штабу приказание послать, а отсюда? Вали, ребята, айда-айда. Снова в поход и снова в крепость!!

Но уходили пока только кучками и одиночки,— главные силы оставались по казармам, их удерживала та часть комсостава, которую удалось нам кой в чем убедить, кой-чем припугнуть. Самое ядро бунтовщическое из крепости не уходило, все главари там дневали и ночевали, отрываясь в казармы лишь на агитацию. Как-то двусмысленно стал держаться и Павел Береснев, якшаясь охотно и много с главарями крепости, уединяясь с ними, шушукаясь по углам. Это заставило нас против него серьезно насторожиться. Положение было чрезвычайно неопределенное. Окончательного разрешения вопроса *таким путем* нельзя было ждать. Обе стороны будто раскачивались — медленно и вяло, набирали ходу, энергии, решимости.

Разрешать вопрос готовились *по-иному*

Сегодня Чернов явился в караульный батальон, созвал собрание, начал «бузить» против военсовета, против советских «комиссаров». Но в карбатальоне [1] было уже немало наших ребят, они там вели явную и тайную агитацию и так обернули дело, что оскан-

---

[1] Караульном батальоне. *(Прим. ред.)*

далили Чернова, взбудоражили массу, подняли ее на протест: Чернова с митинга прогнали. Трудней было здесь ослабить влияние Букина и Вуйчича,— эти считались чуть ли не героями, имели авторитет. Но старательные наши политические кроты и под них копали яму: настойчиво, небезуспешно.

Уж всего в нескольких десятках верст находился 4-й кавполк; сегодня к нему навстречу выедет комиссар дивизии Бочаров. Дальше он свяжется с 26-м стрелковым. Надо стягивать силы, надо действовать. 26-й, правда, вовсе не надежен, но и с ним надо в чем-то уговориться, его надо пока задержать в пути, не давать подходить к Верному. Бочаров уехал. Мы еще не знали в тот час, что и сами скоро помчимся ему вдогонку.

Не предпринимая против нас никаких активных действий, крепость в то же время у нас на глазах наливалась живыми соками, набиралась свежих сил. Она по-прежнему держала себя как победительница и власть имеющая. По-прежнему к ней стекались на подводах жители сел и деревень, а она им «разъясняла» по-своему события и «приказывала» сноситься только с собою; по-прежнему она запружена была беженцами — полуголодными, нищими, протестующими с отчаяния против всего и против всех. Крепость и не думала свертываться. Она распустила по казармам части, но еще много осталось и на месте горючего элемента. Потом, что такое — «распустила»: казармы вот они, под рукой; из казарм обратно в крепость перебраться — долго ли?

Помнится случай за этот день. Он обошелся благополучно, а дело пахло драматической развязкой: пара наших товарищей, трибуналец и особист, чуть-чуть не угодили в лапы врагу.

Мы ни одного особиста, ни одного трибунальца не пускали на заседанья с крепостниками или в самую крепость: против них так непосредственна и горяча была обозленность, что вряд ли утерпела бы толпа, вряд ли сдержала бы слепой свой гнев. Потому и проводили так спешно в горы Масарского с Горячевым. Куда они скрылись — того мы и сами не знали:

может, на Джаркент, а может, и на Пишпек. Некогда было о том толковать: вмиг собрались, в момент ускакали. Был полдень 17-го. Мы в Белоусовских номерах. Вдруг — по камням конский скок, ближе, ближе, и вот три всадника остановились перед крыльцом. Глянули в окна мы, ахнули: Масарский с Горячевым! А с ними какой-то третий, и у этого третьего в правой — наган, а в левой — запечатанный большой пакет, только что выхватил он его из-за пазухи.

— Что-то неладно,— видно, поймали.

Я выскочил на крыльцо; все трое, гляжу, на конях, слезать и не думают.

— Тут, што ли, крепостное управление? — спросил меня незнакомец, мужик годов сорока, видимо крестьянин.

— А што? — говорю, а сам стараюсь на ребят не смотреть, будто их вовсе не знаю.

— Да вот, двоих поймали... в горах шатались... К нам в деревню наехали... Надо быть, из трибуналу будут, мужики-то опознали... Мне их наказали непременно в крепость...

— Ага, вот и прекрасно,— говорю конвоиру.— Как раз я начальник штаба и есть этой самой крепости. Дай-ка пакет-то... так... Можешь их здесь оставить мне, а я уж сам под конвоем провожу куда следует.

Надо было сохранить невозмутимый тон, надо было сразу сбить с толку незадачливого мужичонку, к тому же, видимо, полагавшего, что крепость господствует по всему городу и другой власти вообще нет никакой... Надобно было врать, не моргнув ни единым глазом. Мужичонка, на наше счастье, попался глуповатый, да ему, видимо, и надоело уж возиться со своими пленниками.

Авторитетный тон и непринужденная громкая речь сбили окончательно мужичка с панталыку,— он передал пакет, я ему на конверте расписался, подмахнув какую-то невероятную фамилию, моргнул ребятам, они соскочили с коней — и на крыльцо, поводья кинули мужичонке. Горячев быстро понял, в чем дело,

и молча прошмыгнул в коридор, став сзади меня, а экспансивный, чудаковатый Масарский чуть не затеял спор со своим конвоиром, вроде того, что:

— Не говорил ли я тебе, черт паршивый?!

Но мы с Горячевым его незаметно втолкнули в коридор. Мужичонка ускакал. На радостях тут же мы все и расхохотались. Но медлить нельзя было ни минуты: а вдруг, по горячим следам, наскочат крепостники? Несдобровать ребятам: кончат их непременно. Мужичонка напоследок сообщил, что сам проедет еще повидаться со «своими»,— видимо с односельчанами-крепостниками.

Наш неизменный друг, Медведич, обоих провел задами на соседнюю улицу и спрятал в огромном сенном сарае. Там они пробыли вплоть до ликвидации мятежа. Медведич их и кормил, сам носил пищу в сарай.

Из значительных событий за 17-е надо отметить телеграмму Фрунзе, попавшую и в Пишпек, где находился в это время Быховский, командовавший вооруженной подмогой, торопившейся к нам на помощь. Подмога шла — из броневиков, кавалерии, пехоты. Телеграмма Фрунзе была прочтена и по этим частям. Вот что писал командующий:

> 2 июня мною был отдан приказ об отправлении некоторых частей Н-ской дивизии, расположенных в Семиречье, в Ташкент и далее в Фергану. В связи с этим в гор. Верном разыгрались события совершенно недопустимого свойства. Уже до издания приказа из Семиречья поступали сведения, указывавшие на то, что в некоторых полках дивизии, укомплектованных из местных уроженцев, положение в смысле воинской дисциплины, выполнения боевых приказов и прочее было далеко не благополучно; указывалось, что эти полки не желают уходить куда бы то ни было от своих родных мест и что на этой почве возможен даже открытый мятеж. Командование фронта с подобным положением дел мириться, конечно, не могло,

не могло допустить, чтобы в составе фронта имелись части, относительно которых нет уверенности в том, что они будут выполнять приказы и идти на помощь своим боевым товарищам на других участках фронта, когда это потребуется обстановкой; не могло допускать, чтобы в то время, когда десятки тысяч крестьян и рабочих Европейской России, в сознании необходимости этого, спокойно шли сюда, в далекий Туркестан, на помощь своим братьям, в то время, когда на Западном фронте лилась кровь рабоче-крестьянских полков, спасающих Россию от ограбления польской шляхты,— в это время семиреченские части получили бы привилегию оставаться подле своих деревень. Красноармеец обязан быть там, где этого требуют интересы рабоче-крестьянского дела. Вот почему миллионы крестьян и рабочих России, уже годами оторванные от своих близких, грудью стоят по фронтам, защищая завоевания революции и права труда, среди невероятных лишений, в обстановке самой мучительной, где с доблестью несли и несут красные знамена, сокрушая врагов пролетариата и прокладывая родному народу путь к свету и счастью,— вот истинный путь всех честных сынов рабоче-крестьянской (страны), таков же он должен был быть и для сынов Семиречья; вот почему командование фронта в полном сознании правильности своих действий и в надежде на классовый трудовой инстинкт частей Семиречья отдало вышеупомянутый приказ, когда этого потребовала необходимость оказать помощь другим участкам Туркестанского фронта. К сожалению, эта надежда не оправдалась. На почве выполнения приказа в некоторых частях Семиречья, предназначенных к переброске, повелась самая шкурническая агитация; шкурные интересы давили в сторону отказа от выполнения боевого приказа, но это делать прямо — было странно даже закоренелым шкурникам и предателям рабоче-крестьянского дела. И вот на сцену посыпались жалобы на недостачу обмундирования, на недочет в организации совет-

ских органов власти, требование изменения комсостава и прочее и прочее. Враги революции, разумеется, ухватились за удобный случай нанести удар Советской власти и принялись раздувать недовольство, стараясь довести дело до открытого выступления. К сожалению, этого отчасти им удалось достичь. Части Верненского гарнизона вместо выполнения приказа принялись митинговать, предъявлять всевозможные, большею частью невыполнимые требования и допустили даже аресты,— правда, временно,— некоторых лиц командного состава. Подобные безобразия, совершенно нетерпимые в рабоче-крестьянской Красной Армии, производились в очевидном расчете на далекость Семиречья, на отсутствие туда хороших путей сообщения и, стало быть, полную безнаказанность безобразников. Доводя об изложенном до сведения всех товарищей красноармейцев, командование фронта от их имени клеймит позором и негодованием шкурническое, предательское поведение тех частей Н-ской дивизии, которые вместо помощи истекавшим кровью в Фергане братьям пошли по пути подрыва нашей военной мощи в Туркестане. Пусть знают все враги революции и все шкурники и предатели, что рабоче-крестьянская Россия сумеет быстро подавить всякие происки против нее. Изменники Советской власти не укроются нигде, и всюду их настигнет карающая рука революционного правосудия. По-видимому, голос благоразумия и чувство долга одержали верх, и части Верненского гарнизона, без давления извне, вернулись на путь революционного порядка. Как командующий фронтом, отвечающий перед Россией за военное положение всего фронта, приказываю: I. Начдиву 3 потребовать немедленного выполнения всех без исключения отданных мною приказов о боевых передвижениях частей. II. От частей Верненского гарнизона потребовать полного прекращения всякого митингования и выражения готовности загладить свой проступок дальнейшим честным служением Совет-

ской власти. III. Военному совету дивизии расследовать все происшедшее и материал представить в Реввоенсовет фронта.

Командующий войсками Туркестанского фронта
Михаил *Фрунзе-Михайлов.*

Член Реввоенсовета Туркестанского фронта
Ибрагимов.

Замначштаба Туркестанского фронта
Благовещенский.

Батальону 27-го полка выступать из Верного надо было 20-го, через два-три дня. Мы уже 17-го, вчера, нащупывали почву: пойдет или не пойдет? Собрания общего не созывали, решили его отложить еще на денек, чтоб было ближе к сроку выступления. Но настроение в общем и без того было ясное:

— Не пойдет!

На сегодня, 18-го, это свое предположение мы проверяем на общебатальонном собрании. Вот они, те же казармы, те же лица, теперь уж так близко знакомые, та же грязь, и вонь, и брань кругом,— все, все по-старому, как будто и не было недели буйного мятежа.

И даже мы явились чуть ли не в том же составе: Белов, я, Кравчук. Только нет Бочарова.

Настроение... Э, да и настроение нашей аудитории мало чем отличается от того, что было в памятный вечер, накануне восстания: так же нам прямо не глядят в лицо, отмачивают грозную и грязную брань, покрикивают, будто промеж себя, но чтоб и мы слышали:

— Шляются, свол...лч... чего ходют? Все равно не пойдем никуда... Наемная шкура... Свол...ч...

Мы на самодельной трибуне, один за другим, выступаем, убеждая, и видим, что убежденья, уверенья наши ни к чему:

— Все равно не пойдем, што ни говори...

— Товарищи, но мы же договорились...

— Мало ли што. . .

— Как «мало ли што»,— вы же сами заявили в

крепости, что готовы подчиняться приказам центра... И готовы на переброску...

— Ничего никто не говорил... Сам болтал...

— Да вы же согласились... голосовали... и ваши представители теперь работают с нами; они вот то же скажут, что и мы...

Оглядываемся кругом,— под руками ни одного «представителя»: Петров, правда, и вовсе не явился, а Чеусов куда-то дипломатично исчез, чтобы не выступать в роли «защитника власти». Мы отбиваемся снова:

— Что ж получается, товарищ? — сегодня как будто договорились, а назавтра — вверх дном? Да где это видано, чтобы так? И как после этого будет нам верить Ташкент?

— На што нам Ташкент?

— Да кем же власть-то будет поддерживаться? Кто нас утвердит? И что вы, товарищи,— или опять все разговоры начинать сначала?

— Нам Ташкент не нужен! — крикнул с нар знакомый голос, но чей он — никак не вспомнить,— что Ташкент! Может, мы Сибири хотим подчиняться. А может, и никому не хотим...

Видим, дело на худо пошло.

Подпустили было говорить одного из командиров, а ему — крики встречу, словно камни в голову:

— И ты за «них», подлец...

— Продался, сукин сын!

Настроенье против нас. Это несомненно.

Вперебой вскрикивали злые голоса:

— Не надо нам вашего коммунизму... Да здравствует советская власть... не такая, а без жидва, без киргизы... наша, хлеборобная...

— Уходи, наговорил... Пока шапку не сшибли...

— Подождем, когда двадцать шестой придет...

— Чего вам ждать, товарищи,— взываем мы.— Чего ждать, когда отправка назначена побатальонно...

— Не надо в батальоны — всем полком пойдем...

— Это невозможно...

— А вот увидим, возможно ли,— спрашивать не

станем... Полк подойдет, мы и сами с ним договоримся...

У батальона уж готова была на этот счет своя особая резолюция: не выступать!

Стоит ли дальше говорить? Не ясна ли до дна обстановка? Разговор длится уж скоро три часа. Хватит. Переглядываемся молча. Понимаем друг друга. Закрываем собрание. Уезжаем.

И снова верхами, от казарм к штадиву. Обсуждали на ходу положение Разговаривать дальше — бессмысленно. Надо действовать: немедленно и решительно. Тут оттяжка, промедление — прямо против нас. Так что же выбрать? Как поступить?

От Бочарова нет еще никаких значительных донесений. Он, надо быть, из 4-го проехал в 26-й, дальше по пути. А ведь 4-й кавалерийский остановился вовсе не далеко, в Карасуке: что-то 23—25 верст от Верного... Туда и надо держать равнение. Немедля надо вводить полк, громить мятежников. Это единственный выход. Но есть пара сомнений.

Прежде всего, наш налет явится сигналом к вооруженному сопротивлению, к восстанию окрестных сел, деревень, особенно же в случае неудачной для нас схватки, в случае поражения.

Во-вторых, можем ли мы так уж твердо, уверенно полагаться на этот самый полк? Знаем ли мы его достаточно? Не разложится ли и сам он, придя с мятежниками в соприкосновенье, ощутив некоторые «общие» вопросы? Правда, он лучше, надежней других частей. Правда и то, что ввести его непосредственно в действие — почти безопасно. Но разрешить переговоры, сношения полков, совместные обсуждения — это верный путь нашей гибели, этого не надо допускать ни в коем случае: общение с мятежниками, безусловно, погубит нестойкую массу 4-го полка. Затем начали распространяться какие-то бумажонки, — в них речь про трибунал, про особотдел, про советскую власть вообще. Хоть прямо говорить обо многом и остерегаются, зато намекают довольно прозрачно.

Вот одна такая бумага-прокламация. У нее странное название, да и содержание тоже странное.

ЦАРСКИЙ ГОРШОЧЕК

Вот воняет, вот смердит. Но что воняет, что смердит, про то никто не говорит, потому что, значит, все боятся, так как царский. А монархисты самый запах его смакуют...

Царя убрали, царицу убрали, придворную челядь тоже убрали, а царский горшок остался и воняет по всей Советской России. Срам, товарищи. Позор, свободные граждане.

У нас в Верном тоже осталось душистое царское наследство и тоже навоняло, и всемогущей рукой товарищей красноармейцев закрыт. И теперь не воняет.

Бывшая царская охранка, соединенная с политическим отделом канцелярии губернатора, названа в Свободной России «Особый Отдел».

Хорошо бы было их подразделить на Особые Отделы с двумя нулями, а в другом городе с тремя нулями, как, например, это делается на ретирадных, или отхожих местах. Да, горшочек закрыт, но надолго ли? Какой вы состав этому учреждению ни дайте, оно будет вонять, оно будет смердить и душить живую жизнь и свободу граждан царским духом: арестовать, отобрать, расстрелять, а то и зуботычиной попугают...

В областном городе Верном четыре сыскных отделения: при В. Р. Трибунале, при Особом Отделе, при Чека да при милиции. Кроме того, зарегистрировано тайных сыщиков около 1300 человек. Ну, конечно, стало невозможно жить. Даже при Додон-короле такого штата доносчиков не было. А потому гнев товарищей красноармейцев и требования прекратить насилия и освободиться от предателей — вполне законны и справедливы.

Судите сами, товарищи и граждане, нужен ли нам Особый Отдел.

Евгений.

Да, судите сами. А рядом с подобными бумажками находились и колчаковские документы. Какой-то там поп составил воззвание,— это воззвание попало к нам. Вот содержание:

ВОИНАМ, УХОДЯЩИМ НА ПОЗИЦИЮ

Примите, дорогие воины, благословение на предстоящий вам святой подвиг боевого служения дорогой Родине.

Слышите,— я называю ваше служение Родине святым подвигом. Почему? Потому, что ваше воинское служение, вдали от оставленных вами родных мест, милых семей и привычного, есть великое служение *другим,* ближним, а теперь вы готовы выступить и на страдальческий подвиг за други своя, по примеру господа вашего Иисуса Христа, жизнь свою отдавшего за спасение всех людей.

Однако же, взирая на величие и святость вашего подвига, помните, дорогие, что он будет свят только в том случае, когда совершается добровольно, без ропота, в кротости и в простоте сердца. В противоположном же случае служение ваше будет не подвигом, а позорным ярмом.

Не забывайте, куда вы идете. Вы идете на помощь и подкрепление нашим доблестным героям-защитникам, которые успели уже, по возрождении нашей армии, покрыть себя честью и славой. Они ждут вас с нетерпением, но ждут мужественных, сильных, добрых, чтобы с вами решительно ударить на дерзких предателей Родины — большевиков.

Вместе с ними вы заставите большевиков убедиться, что и измена и подлое предательство не убили сыновей ее, готовых с беззаветным геройством, без ропота умереть за честь, свободу и единство горячо любимой родной страны.

Родина снова доверчиво поручает вам охрану своей чести и свободы. Сумейте же, дорогие воины,

сохранить это сокровище, как сумели сохранить его для нас наши деды и отцы.

Помоги вам господь.

Ввечеру поймал меня на улице китаец[1] Масанчи, с заговорщическим видом отозвал в сторону, шепнул на ухо, озираясь пугливо по сторонам раскосыми маслинками возбужденных глаз:

— Ночью в крепости была пастанавленья... восимь человик сиводни ночью будут расстрилять... и тебя расстрилять, и Билов расстрилять. Шигобудин расстрилять, всех расстрилять... Я искал тебя давно... Верный чилавик сказал...

«Верить ли?» — прикинул я. А потом решил: с чего и зачем ему врать? Во всяком случае, нет дыму без огня, что-то крадется неладное... (Такое постановление в крепости действительно состоялось,— это подтвердили потом на суде сами мятежники. Масанчи спас нам жизнь.) Живо собрал друзей, стали совещаться. Решили скакать немедленно к 4-му полку и с ним назавтра ворваться в город. Ехать мне, Белову, Ерискину, Юсупову, Шегабутдинову. Выехать тайком, чтоб никто не знал, никто не хватился. Оставшимся держать ухо остро, на ночь попрятаться, а днем вести настойчивую агитацию в гарнизоне, подготовлять к возможному ночью налету. Сказано — сделано. Шегабутдинов отдал Агидуллину распоряжение приготовить пяток лучших коней, поздним вечером привести их в условленное место, там ждать. В Ташкент сейчас же телеграмму:

Ташкент, Реввоенсовет Туркфронта.

Вне всякой очереди.

Сейчас на собрании батальона определили, что он выступать не хочет из Семиречья, требует, чтобы его оставили до прихода других полков, с ко-

[1] Кто-то сообщил мне потом, что Масанчи не китаец, дунганин.

торыми он хочет о чем-то поговорить. Ясно, что он хочет спровоцировать, поднять бунт, убрать центровиков и остаться в Семиречье. Нас, человек восемь ответственных работников, постановлено сегодня ночью расстрелять и снова занять крепость. Сведения получены секретно. Мы с Беловым немедленно выезжаем к 4-му полку, ибо дальнейшими разговорами ничего не сделаешь. Присылка войск Ташкента необходима срочном порядке, ибо успокоение, как выяснилось теперь, было только поверхностное. Вам, вероятно, была подана резолюция этого батальона по телеграфу.

Фурманов.

Телеграммы давали мы свободно: контроль был «зорок» лишь первые дни, а потом и вовсе оттерся на деле от всякой работы. Впрочем, и в дни его «зоркости» мы успевали сказать центру все, что хотели. Не контроль был, а горе одно для тех, кто ставил.

Темным, поздним вечером нас по Верному вели проводники-киргизы кривыми переулками. Низкие дома, серые, длинные, скучные заборы, выбитая колея дороги — все говорит о том, что мы где-то возле окраины города. Долго шли. Молчали. Перешептывались только по надобности. Остановились у тесовых дряхлых ворот, согнулись, пролезая в низкую калитку: она была не заперта, там кто-то ждал. Ожидавший перешепнулся с Шегабутдиновым и повел по маленькому грязному двору к противоположному забору. Там другая калитка, и в нее влезли мы, пригибаясь. Второй двор был и просторнее и чище, а самое здание новей,— выпирали, как здоровенные груди, свежие, недавно сложенные бревна; как светляки, отсвечивали в темноте глянцевитой, остроганной гладью. По крылечку вошли наверх, на подмостки; с подмостков — в темные сени, из сеней — в полутемную, теплую, тихую комнату. Нас встретили, кланяясь и ласково улыбаясь, два татарина,— видимо отец с сыном. Они что-то приговаривали, хлопотливо и почтительно усаживая всех

к столу. Потом исчезли, а через минуту воротились и быстро стали накрывать. Еще через пяток минут мы уж подкреплялись перед ночным походом: гостеприимные хозяева, видимо, Агидуллиным извещены были заранее и успели приготовиться к встрече. Мы совещались. Не только разговоры разговаривали, а достали еще карту и по ней кружились долго вокруг Карасука. Потом, попрощавшись с заботливыми хозяевами, по тому же крылечку спустились во двор, отвязали коней, заскочили и тихо проезжали через ворота на противоположной стороне. Выехали в пустынный переулок. Впереди Шегабутдинов. Он указывал дорогу. Ехали ровной, тихой рысью. Я вовсе не узнавал путь,— в этих местах не привелось быть ни разу. Миновали какие-то черные столбики: что это, кладбище? Зелень пошла, кустарники, деревца... Потом — гуще, выше, чаще и чаще: въезжали, видимо, в лес. Перед лесом зигзагами кружили в разные стороны по чуть видной узкой тропке,— видно, что Шегабутдинов отлично знал путь. Лишь только пробрались на ровное место, поехали быстрей. Уж было за полночь. Но далеко еще до зари,— самое темное, глухое это время. От города, видимо, отъехали недалеко: кой-где позади приметно мелькают сквозь деревья редкие ночные огни. И вдруг мы услышали в отдалении мерный стук. Остановили коней, стали вслушиваться. Во влажной ночной тишине четко цокали по грунту копыта коней.

— Разъезд,— шепнул Ерискин.

— Впереди это или сзади?

— Впереди... Надо ехать тихо.

Тут, как на беду, у Юсупова стряслось несчастье: он отстал шагов на триста позади, теперь нас догнал и объявил, что потерял стремя.

— Дальше ехать не могу,— всю ж... отбил!

Смеяться бы надо, да не до смеху: дальше ехать не может, назад нельзя, а оставаться на месте,— да тут каждую минуту на новый разъезд напорешься — крепостники охочи до ночных разъездов. Соскочили мы вдвоем-втроем с коней, стали шарить по земле. Огня зажечь нельзя, а где тут разыщешь во тьме? Вдруг находчивый Ерискин сорвал с себя ремень, скрутил

его вдвое, перевязал веревкой и примастерил ловко вместо стремени.

— Поезжай... да не теряй больше,— добавил он с едкой иронией.— Вы постойте-ка тут,— предложил он нам.— Не уезжайте никуда, а я отсюда,— он показал на узкую тропку, что отсвечивала по опушке леса,— проберусь вперед да посмотрю: сколько их.

И быстро пропал в темноту. Минут через пятнадцать воротился, сообщил:

— Пять человек. Едут тихо. На Карасук. Ну, там все равно Лопатину[1] попадут. (Они действительно наткнулись позже на встречный разъезд 4-го полка и были переарестованы.)

Мы ехали тихо, и весь путь слышали, как цокали впереди конские копыта,— перестали их слышать лишь перед самым Карасуком.

Надо сказать, что за час или полтора до выезда нашего из Верного,— с секретными бумагами, с деньгами, с бомбами,— выпроводили тайно из города Елизавету Васильевну, жену Белова. Пользуясь глухой тьмой, она незамеченная выехала на шоссе, а верст за семь свернула в болото, поросшее кустарником, где нас и дожидалась. Она тоже слышала и видела неприятельский разъезд,— он проехал поблизости, по шоссе, не заметив, что в болотине, в кустах прячется повозка. У болотины все мы соединились и дальше ехали вместе.

Мы были в пути что-то слишком долго: больше двух часов. Измученные, подъехали наконец к штабу полка.

Последние месяцы, оторванный другою, военно-политической работой, я отвык от фронтовой, полковой обстановки. А теперь, когда вошел в штаб, вдруг ударило этим особенным, что знал так близко, что недавно заполняло всю жизнь.

Вот она, комнатка штаба полка, густо закуренная черной, вонючей махрой, закиданная окурками, огрызками, засоренная так, что ноги скользят по всякой мерзости. Тут же, вповалку, спят одетые в шинели красно-

---

[1] Лопатин — командир 4-го кавполка.

армейцы,— раздеваются ли они когда? На столах полевые телефоны; от времени до времени они жалобно гудят, словно кого-то о чем-то безнадежно умоляют. По штабу — матерой, отважный храп. За столом придремывает дежурный, в дверях маячит часовой. В небольшую грудку собраны на столе бумаги,— разные отметки, телефонограммы, распоряженья. Пахнуло родным духом Чапаевской дивизии:

Знать, везде она одна, наша Красная Армия!

Пришел комполка Лопатин. Он из тех, которые с первого слова, с первого взгляда приковывают к себе лучшими чувствами: с простыми, нужными словами, спокойный, уверенный подошел он к нам и поздоровался запросто. Чувствовался человек, знающий себе цену. Это было — не гордость, не самомнение,— это органическое, естественное уважение к себе — к себе и к другим. Так же, как с нами, через минуту разговаривал и держался он с дежурным по штабу, а еще через минуту — будил и шутливо выпроваживал красноармейцев-храпунов. И движенья и речь его как-то естественно, тесно слиты были с тем, что он делал,— иначе, верно, делать было бы и нельзя. Радовало то, что с рядовым красноармейцем он держался так же, как и с нами, представителями военной власти. Это к нему располагало чрезвычайно, сразу поднимало его в наших глазах, заставило с сугубой внимательностью и интересом вслушиваться в то, что он говорит. Даже отдаленной тени искательства или подобострастия не было в нем и следа,— увы, эти подхалимские наклонности еще так часто встречаются и у нас в Красной Армии! Лопатин показался мне живым, лучшим типом того нового, подлинного командира, который является лишь старшим товарищем, более знающим и более опытным среди равных, таких же, как он, красноармейцев. Вкруг стола сели беседовать.

— Что у вас, в Верном? расскажите-ка, пожалуйста,— обратился к нам Лопатин.— Мы тут кой-что хоть и знаем, да, видно, мало...

Коротко мы ему перебрали главные факты последних дней, рассказали и про последний тревожный митинг в казармах.

— О... от, подлецы! — усмехнулся он — Надо будет штыком испробовать, слово тут ни к чему.

И эти слова его были простые, обычные, такие слова, за которыми,— чувствуешь это,—немедленно последует у него и действие.

— А как полк у тебя, Лопатин,— надежный? Сам-то ты веришь али нет?

— Да как сказать,— пожал он плечами,— и так и этак может выйти. Главное, то надежно, что с разных мест: мадьяры, немцы, киргизы, французы, татары... это хорошо... А вот которые здешние, семиреченские,— заодно, подлецы, говорят, што и у вас там, в крепости...

— Ну, этих ведь мало?

— Мало. Да вредный они народ,— заключил Лопатин.— Сразу их пускать в дело не надо. Лучше пустим других.

— А ты, значит, думаешь, что «дело» будет? — усмехнулись и мы на его уверенность.

— Так как же,— словно испугался он,— а то разве не будет?

— Давайте все обдумаем...

— Обдумаем,— тихо согласился он.— Только дело мне ясное: идти надо... на Верный.

Стали мы прикидывать разные планы.

Первое: послать в крепость наших делегатов отсюда и, судя по ответу, действовать.

Второе: вызвать сразу ихних представителей сюда для совместных разговоров.

Третье: идти походом на Верный, не завязывая ни с кем никаких переговоров.

Четвертое: попытаться в самом Верном поднять небольшое «восстание» против крепостников, а нам лишь подоспеть на подмогу.

Разное предполагали. Многое предполагали. И все забраковывали,— не годилось. Остановились наконец на таком плане.

Утром проводим общее собрание полка, точно выясняем его настроение, обрисовываем ему создавшуюся обстановку и устанавливаем: можно с *такою* силой идти в поход или нельзя? Если можно — высту-

паем в полдень. До Верного не доходим, останавливаемся за несколько верст и вызываем к себе навстречу всех, кто с нами: часть караульного батальона, одумавшиеся команды особого отдела и РВТ, партшколу,— разумеется, тайком послав заранее в Верный свою связь. Посылаем на Верный разведку. А дальше, если это потребуется обстановкой,— открываем непосредственно действия.

На этом плане сошлись. Часа два-три решили соснуть. Приткнулись тут же, в штабе: на лавках, на окнах, у стола, на полу,— где кому любо. В окна широкой мутной волной вплывали предрассветные сумерки. Было холодно. Мы ежились в куртках и шинелях. Жадно курили, согреваясь махорочным дымом. Усталость брала свое, переборола стужу, и скоро один за другим все позасыпали.

Полк расположился тут же, у Карасука, на зеленой поляне, по берегу старинного, глухого, в тину затянутого пруда. Зеленью-зеленью, сочными травами, садами и густыми аллеями рано поутру пробирались мы к нему из промахоренного, неприютного штаба полка. Бойцы давно на ногах,— они подымаются вместе с солнцем. Одни крутятся вокруг коней: чистят, моют, скребут скребницами, охорашивают любовно, подравнивают бережно хвосты, расчесывают с ухмылкой густоволосые гривы; другие чинят седла, подшивают и заматывают всякие дыры, перетягивают и увязывают расползшиеся концы, продергивают разные ремешки, постукивают, прихлопывают, рвут зубами, сосут и мусолят, причмокивают, смачно и густо сплевывают опачканную каштановую слюну; иные кучками на лужайке — греют воду, махорят, здоровенно хохочут, балагурят безмятежно.

— Товарищи, всем сюда, на эту луговину — айда скликать! Командир полка требует.

Эх, загудело, заревело, заухало по аллеям, по кустарникам! И бегом, вприпрыжку, как беспокойные жеребята, и тихой развалкой, со всех сторон собирались бойцы. А когда собрались, обступили,— Лопатин сказал:

— Товарищи! К нам приехали начальник дивизии и председатель военного совета — они вам расскажут о том, что в Верном. Слово имеет товарищ... (он назвал мою фамилию).

И вот снова на самодельной трибуне — маленьком деревянном ящике. Снова перед лицом красноармейской массы. Снова речь о мятеже.

Но это уж вовсе, вовсе новая, иная обстановка, иная среда: это свои ребята, и к ним мы — за помощью. Нужна ли и здесь, как в крепости, увлекающая, раздражающая, пронзительная демагогия? Надо ли уговаривать, подбивать и взвинчивать на высокую ноту? Нет. Нужды пока в этом нет. Ценнее, надежнее, крепче будет — ежели не к сердцу, не к чувствам у них постучаться, а к разуму, если *убедить* их, что нельзя иначе поступить, как тронуться на Верный и кончить врага. Вот ежели этот способ — убеждением — не поможет, тогда дело иное: тогда, может быть, и демагогию, в интересах дела, будет надо спустить с цепи.

Выслушали бойцы в глубоком молчании, серьезно и сосредоточенно все, что рассказал я им про Верный. Когда заканчивал и говорил о том, что надо спасать советскую власть, что надо с взбунтовавшимися говорить языком огня, штыка и сабель — взвыли ребята:

— На Верный... на Верный...

— Идти немедленно, чего ждать...

— Мы им, сволочам, дадим против советской...

Даже китайцы, киргизы, мадьяры — и те вопили зычно, хотя половину, может, и не поняли из того, что им говорили:

— Саветски... Саветски!..— кричали они, сверкая зловеще угольками раскосых глаз.

Выступили представители полка; они только что из Верного. Туда их полк услал вчера, наказал передать мятежникам, что крепко стоит за советскую власть и не потерпит дальше мятежа.

— А они нам, товарищи, и говорят,— передавали делегаты,— убирайтесь вы, сукины дети, прочь, вас никто поди и не выбирал, сами наехали, коммунисты наслали... Мы с вами и говорить-то не будем да не

хотим, а вот полк придет — со всем с им говорить хотим... Так и уехали...

Пуще прежнего заволновались бойцы.

— Наших делегатов не признавать? Наших делегатов прогонять? Ах ты, стервецы такие... Ну, мы покажем, как с четвертым полком говорить надо...

Здесь много уверять не требовалось. Положение ясное. Настроение полка — как и надо.

Дальше не к чему медлить, надо готовиться в поход. Но все построить с таким расчетом, чтобы под Верным очутиться лишь ввечеру.

Бочаров в это время уже был в 26-м полку. Он дал знать, что настроение среди бойцов хоть и не столь надежное, как в 4-м, но временно переломлено в нашу пользу, и поддерживать мятежников там пока что не собираются. Мы дали распоряженье подтягивать 26-й ближе на Верный, за 4-м по пути.

Полк собирается в поход. По улицам Карасука носятся всадники, гикают, свищут, кричат, ищут своих, находят, вновь теряют и снова ищут, свищут и скачут, скачут и свищут. Тот кому-то забыл сказать, тот забыл что-то взять, у каждого нашлось свое последнее срочное дело,— и до тех пор в последние минуты будут бешено метаться, пока не промчится команда командира.

И вот построились эскадроны. Построился полк. Красным облаком поплыло быстро вперед и словно дохнуло, обвеяло всех полковое красное знамя.

Вперед проскакали командиры.

Мы ехали перед полком.

Постановлено было остановиться верст за пять от города и вызвать туда из города всех, кто не против нас. А потом вызвать и самый батальон,— ведь ему ничего не известно о том, что мы ночью ускакали из Верного и что идем теперь вместе с полком. Мятежный батальон выйдет доверчиво навстречу к 4-му полку,— он же сам так хотел поговорить с бойцами!

И лишь только подойдет — окружить и потребовать сдачи оружия. А там — гуртом арестовать.

Уж вечерело. Медленно, весь путь ровным шагом, колыхались по просторному шоссе эскадроны. То и дело встречались в пути одиночки красноармейцы, прятавшиеся по опушке, садами и огородами — нам навстречу уползшие из города.

Этих налаживали сюда наши товарищи, оставшиеся в Верном. Перебежчики сообщали нам последние новости: мятежники, оказывается, что-то заподозрили и к чему-то, видимо, готовятся. Часть красноармейцев из 25-го полка и часть из батальона 27-го снова ушла в крепость. Дозоры неприятельские усилены, из города никого не выпускают,— приходилось от конных разъездов затаиваться по высокой, густой придорожной траве, как червякам, уползать на животах.

Пробрались к нам навстречу представители команд особотдела и трибунала, заявили, что команды теперь снова будут с нами и против советской власти больше не подымутся. Пробрался и ходок от партийной школы: ежели что, они тоже готовы все помочь. Сообщили, что в караульном батальоне удалось на свою сторону привлечь человек двести, а шестьсот все еще тянутся к мятежникам. Но уж плохо ли и это известие? — значит, раскол пошел вглубь.

За шесть верст от города остановились. Плотно налегали густые июньские сумерки,— скоро будет вовсе темно. За дорогу, наговорившись с перебежчиками из Верного, узнав, как быстро идет там разложение в среде мятежников, мы переменили план действий: с крепостниками не разговаривать, а взять их живьем, внезапным налетом. Хоть они и насторожены, но планов наших не знают.

Выехали вперед полсотни текинцев. Во главе — Ерискин. Дали задачу снимать по пути посты, заставы, караулы. Освобождать полку дорогу. Умчались текинцы. Полк тихо тронулся вслед.

Ерискин выполнил задачу с блеском и треском: не только очистил он путь полку и снял разъезды мятежников, но ворвался и в город, заскочил даже в одну казарму и там у обалдевших от неожиданности мятежников отнял пулеметы и винтовки, а их, обезору-

женных, выгнал вон, как баранье, и гнал перед собою за город. Крепость была застигнута врасплох,— ничего подобного уж никак не ожидала,— а потому и вела себя самонадеянно. Правда, кой-где она усилила дозоры и бдительность, зато по городу веселилась беспечно.

Красноармейцы празднично, иные под хмельком, болтались по бульварам, болтались по улицам, ротозеяли в цирке, по казармам беспечно шелушили подсолнухи, наигрывали в гармошки.

Вот почему одну казарму за другой бескровно, без свалок захватывали мы внезапным налетом. Захватывали — и тотчас вон выгоняли мятежников.

По городу паника. Никто не понимает, в чем дело, откуда этот стремительный налет. Кто-то куда-то скачет, слышны крики, гиканье всадников. А стрельбы — нет.

— Белые захватили город! — помчалась среди перепуганных жителей шальная весть.

— Налетели казаки...

— Пленные восстали...

Никто, никто ничего не знал. А мы скакали от казармы к казарме и захватывали там ошалевших, растерявшихся мятежников.

В полуночной горячке,— верно, уголовщики, что выпущены были недавно и сгрудились в крепости,— подожгли город в разных местах.

Заполыхали первыми базарные постройки. Темное небо ярко зарделось в зареве. Сквозь обычный галдеж тушили пожар. А кругом, как привидения, скакали стаи всадников, ныряя внезапно из глухой полуночной тьмы на озаренные пожаром улицы. Феерическая, жуткая, решающая ночь!

И вот мы снова в штабе.

Центру вне очереди депеша:

Ташкент. Реввоенсовет Туркфронта.

Военная. Вне очереди.

Вчера, 18-го, определив окончательно гнусное настроение батальона 27-го полка, категорически отказавшегося выступать в Ташкент, и узнав, что

сегодня ночью постановлено расстрелять ответственных работников, мы с Беловым и Шегабутдиновым выехали ночью к 4-му полку, стоявшему в 25 верстах от Верного, чтобы принять немедленные и решительные меры, так как было ясно, что никакие уговоры и переговоры не помогут. Оставшимся в Верном работникам было приказано вести усиленную работу по разложению гарнизона, разъяснить ему положение и вытекающие из этого последствия. Приехав ночью в 4-й полк, мы выяснили с комполка тов. Лопатиным, что настроение полка спокойное и надежное. Рано утром полк был собран целиком, ему было объяснено положение, требования Верненского гарнизона и наши дальнейшие намерения бросить пустые и бесплодные разговоры и приступить к решительным действиям по отношению к бунтовщикам. Дружное согласие полка утвердило нас в мысли действовать немедленно. В три часа дня мы выехали из Карасука в Верный и в то же время отдали приказ 26-му полку передвигаться немедленно из Николаевки, отстоящей от Верного на 46 верст. К этому времени определилось, что часть гарнизона примыкает к нам. Навстречу 4-му полку пришла партийная школа, команда ОО, рота интернационалистов и мусульмане гарнизона. Не доходя до Верного 4 верст, кавполк остановился. Был выслан эскадрон, который, проникнув в город, налетом окружил 27-й батальон, разоружил свыше 100 человек, отняв 5 пулеметов, одно орудие и до 300 винтовок. Ближайшее участие во всей этой операции принимал тов. Ерискин, которому снова ходатайствую дать амнистию, покончив дело, которое было за ним. Теперь ходатайствую совершенно искренно, не из тактических соображений, ибо заслуги его неоценимы; кроме того, он человек чапаевского склада и благодаря экспансивности способен на ошибки. Об амнистии Бересневу — снимаю, так как дальнейшее его поведение после митинга было не в его пользу. Сейчас в городе пожар: возможно, что он не случай-

ного характера. Авантюра, видимо, ликвидируется, но отнюдь не отпадает необходимость присылки из Ташкента вооруженной силы, так как при переброске других частей может получиться такая же или подобная история. 4-й кавполк занял город.

Фурманов.

Как только Ерискин ворвался в город и обезоружил казарму — проскакал в штаб, телефонил оттуда Щукину, коменданту крепости:

— Сколько у тебя осталось человек на месте?

А тот, все еще ничего не зная и не понимая:

— Восемьдесят со мной, остальные — по казармам.

— Город и крепость окружены четвертым и двадцать шестым полками,— брякнул ему сразу Ерискин.

Тот переспросил недоуменно:

— В чем дело, о каком толкуешь окруженье?

Ерискин повторил. Пояснил. Сказал:

— Сопротивляться тебе, Щукин, бесполезно. И не затевай. Лучше сдайся. По совести сдайся!

И оборвался вдруг телефонный разговор.

Когда с десятью всадниками подскакал Ерискин к крепости,— там было пусто, никого не осталось, лишь по кустам припряталось человек шесть оробевших, растерявшихся мятежников. Поставили живо в крепость нового коменданта. Свою поставили всюду охрану. Штадив занимали текинцы. По городу конница ловила беглецов, представляла к нам в штаб. Была новая бессонная ночь, но уж это последняя бессонная ночь мятежа.

Выбрались из заточения особисты и трибунальцы, рьяно взялись за розыск-поимку мятежников: ловили по садам, огородам, вынюхивали в подвалах, погребах, навозных кучах, на чердаках, в траве, на деревьях, под перинами, в сундуках с бельем, ловили в горах, по дорогам, по селам, деревням. Скоро почти все главари были у нас в руках. Первое время скрылся было Караваев, а с ним и Петров. От них доставили нам «привет» — безграмотную, но сочную прокламацию:

Привет от первых дней революции защитников Совецкой власти и защитников пролетариата бедного народа П. Караваева и А. Петрова, привет, привет, привет! Партия большевиков и коммунистов, как стоящая высшим органом власти, защитник пролетариата и защитник всех ошибающих на почве советских работ. Товарищи, партия коммунистов, вы как партия, вы как коммунисты, так вы не должны дать пролетарию ту, которая хотела вырвать с тесков сатоны весь народ. Народ тот, который сейчас обратно думает свергнуть все насилия, все казни, все расстрелы, все грабежи, которые обратно творятся в Семиречье, и приказы те, которые пролетария на них не обращает внимания, давит их и рвет, а сами все делаются злей и злей. Ведь нужно учитывать, что народ, если разозлится, то город Верный будет пожаром охвачен, и окрестность идет всегда на помощь. Так, товарищи, партия и коммунисты. От имени восьмисот человек, хорошо вооруженных, говорим вам, что если вы допустите, что указано, то зделаем мы удар врагам Белову, и Фурманову, и Позднышеву с ихней армией пух и прах. Нам все равно гибнуть в скалах, снежных горах, где орлы, там и мы. Так подумайте и сделайте, тогда я приведу вам помощь горных орлов, дикарей в защитников Совецкой Власти. Да здравствует Совецкая власть и право народа!

И вместе — второй документ, по грамотности не уступающий первому, а по характеру — нечто вроде воззвания:

ПРИВЕТ ОТ ГОРНЫХ ОРЛОВ

Товарищи.

Партия Коммунистов и Большевиков, вы как контроль за ходом революции, но с виду упустили восстания всего гарнизона и всего народа. Совместно с вами была занята пока лишь одна

крепость, где находилось до десятка тысяч народу и что они требовали, вы знаете. Теперь что же: падает вина на некоторых лиц, которые сделали так хорошо, что лучше и не нужно. А главное ни одного комиссара не убили, ни одного не ограбили, никово не сожгли. А вот вам пример, что пришедшие полки и сделали ущерб народного достояния: взяли сожгли базар. Так вот, товарищи коммунисты, т-щи большевики, вы на это смотрите или нет, да и ваша святая обязанность смотреть за этим недоразумением или просто злоумышлением, как повели себя полки, например, взяли, обезоружили товарищей, тех, кто и шол всегда за народ, и теперь полили на них такое пятно, которое невыносимо не только для тех, кого обезоружили, но и на всю Семиречью. Да разве было 12-го, 13, 14, а наверно жертвами не десятками, а сотнями. Вы что думаете, что это забудитца? Ох, нет, оно никогда не забудитца, теперь каждому гражданину понятно и каждому киргизу понятно, что обезоружить, как стали производить грабежи, реквизиции насилия женщинам. Вот вам пример они первый показали, стали отбирать оружие и шинели, хорошие вещи, как то: часы, кольца и прочие вещи. Народ весь как вареный стал, жаловатца не ходил: угрожают расстрелами. Да разве сделали это Караваев, Петров, Щукин, Бороздин, Чеусов, Шегабутдинов и прочия, которыя руководили крепостью. Нет, они этого не сделали, даже и предлога не было от них таково-го. Правда, может, тока личность оскорбили чью-нибудь,— так без этого не бывает. Так одумайся, партия, и делай так, как народ просит, а если вы не в силах, то мы как орлы горные налетим и разобьем все свору Белова, Фурманова, Позднышева и Особый отдел, Трибунал. Так сделаем там, где они засиживают: один пепел. Это будет последний наш удар. Мы никогда этим гадам не простим, и им из Семиречья теперь не уйти. Так разберись, верная партия, досвиданья.

Разумеется, эти бумажки никакого значения, никакого действия не имели. Скоро, впрочем, и сами авторы угодили в тюрьму.

Остался от тех дней еще один документ,— этот составлялся каким-то «истинно русским», горячим патриотом. Документ озаглавлен так:

МЫ БОРЕМСЯ ЗА ИСТИННО СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

Вот что в нем:

Прежде всего мы хотим вырвать то средство, посредством которого власть ушла от народа, перестала быть народною и ответственной перед народом. Это значит то, что советская власть должна быть властью — выборною, а не назначаемою. Только потому она и советская власть, что выбирается народом и ответственна перед ним. А власть назначаемая — есть не советская, а диктаторская, та самая, которая угнетала нас сотни лет. Та самая, которая делает не то, что нужно, что полезно народу, а то, что выгодно ей.

Та самая власть, которая творит насилия над народом, потому что ей чужд этот народ.

И вот это-то назначение власти и привело к такому печальному концу. Мы живем в Советской России, а у власти стоит кто? Фрунзе, Радзутак, Рыскуловы, Блоки, Аксман, Фурманы и т. д.

Выходит, товарищи: мы одного врага победили, а другого себе на плечи посадили.

Берегитесь, иностранцы. Если вы не враги русского свободного народа, то не будьте палачами его. Не мешайте ему устраивать свою жизнь. А если вы враги, если вы сеятели раздора в русской семье,— горе вам, сеятели лжи. Если вы истинные социалисты, коммунисты-интернационалисты, то вы видите, что русский народ уже три года борется один, что русский народ изнемогает в этой неравной борьбе, обнищал. Идите в Австрию, Германию и Польшу. Ведите агитацию за коммунизм III Интернационала, за всенародное братство, ра-

венство, свободу. Зовите на помощь ваших и наших братьев Западной Европы. Устраивайте то, что творится у нас. Поляки, идите, остановите Польшу, которая стремится отрезать половину России, которая стремится разрушить русскую свободу, закабалить русский народ. А русский народ сам устроит свою жизнь.

Мы, русские, сказали: отныне все народы, живущие в России, свободны, равны. Мы не сделаем никакого насилия над народностями, но не позволим делать насилие над русским многострадальным народом, над русским крестьянином, рабочим, трудящимся. Мы это насилие видим со стороны шовинистской, не истинно советской власти. Мы видим, что власть заботится о беженцах-киргизах, устраивает недели сбора, собирает миллионы. А о русских страдальцах, плетущихся обнищалыми с фронта? Мы слышим стоны русских красных разоруженных солдат, наконец мы видим планомерное разоружение русских, вооружение киргизов и иностранцев. Да, тонкие, обдуманные планы проводились, одним словом — хитрая механика. Но все-таки они ничтожны перед народом. Народ очнулся и во время затягивания петли разрушил и разорвал эти планы.

Кто составлял — неизвестно.

Во всяком случае — кой-какие попытки новой бутады мятежники проделывали и после своего разгрома. Но это уже было явно беспомощное трепыханье: главные силы у них были разгромлены в ночь налета.

Мы оповещали область. Издали приказ:

ПРИКАЗ № 6

Военного совета 3-й Туркестанской стрелковой дивизии. 20 июня 1920 г., гор. Верный.

Гарнизон города Верного сознал свою ошибку в деле выступления 12 июня сего года, поняв, что никакая власть не может быть создана на местах самочинным порядком и что каждая власть является незаконной, случайной и преступной,

если она не утверждена центральными властями и предполагает свои действия проводить вне законов, утвержденных центром.

Ныне город Верный занят полками Красной Армии, твердо стоящими на защите Советской власти. Взбунтовавшаяся часть гарнизона обезоружена, и лица, введшие часть красноармейцев в заблуждение, предаются суду военного времени.

С провокаторами, хулиганами и контрреволюционерами будет поступлено самым беспощадным образом, а обманутой части гарнизона разъясняется их тяжелое заблуждение.

Высшей военной властью в области является утвержденный центром Военный совет дивизии, а высшей гражданской властью является Областной военно-революционный комитет, которые и приступают немедленно к восстановлению занятий, нарушенных и расстроенных ликвидированным ныне событием.

Военный совет дивизии объявляет всем о своей беспощадной борьбе с провокацией и хулиганством и еще раз подтверждает свою военную диктатуру.

Председатель Военного совета *Дм. Фурманов.*

Член Военного совета *А. Позднышев.*

Этот приказ дали знать во все стороны. Долетел этот приказ и до Пишпека. Там находился в это время Быховский, командовавший вооруженной силой, что шла нам в подмогу из Ташкента: эта подмога подоспела дня через три после ликвидации мятежа силами 4-го кавполка. Получив наш приказ, Быховский отдал и свой. Такой:

ПРИКАЗ № 14

По войскам Пишпекского и Пржевальского районов от 20 июня 1920 года

§ 1

Ввиду того что восставший в гор. Верном батальон 27-го полка отказался выполнить приказ РВС Туркфронта и продолжал митинговать, Воен-

ным советом 3-й дивизии 19 сего июня было решено обезоружить шкурников, настоящая подкладка которых наконец обнаружилась.

19 июня, в 10 час. вечера, 4-й кавалерийский полк, войдя в город, без единого выстрела обезоружил взбунтовавшийся батальон и занял крепость.

Город оцеплен, происходят облавы по выемке оружия у кулачества. Секретарь Боевого совета, Щукин, арестован, прочие главари скрылись, но будут, конечно, пойманы. Так кончилась авантюра контрреволюционеров, которые якобы революционным требованием — «удаление из армии белых офицеров», наряду с другими требованиями, определенно контрреволюционными, например: вооружить кулаческое население, уничтожить расстрелы (контрреволюционеров),— увлекли за собой темную, бессознательную массу.

Советская власть в целом, назначенная ранее центром, вновь утвердилась в Верном.

Приказываю всем советским, партийным и военным учреждениям городов и уездов Пишпекско-Пржевальского района возобновить прежнюю связь с областной властью и войти к ней в полное подчинение.

Все чрезвычайные меры и *осадное положение* в районе *отменяются,* остается прежнее военное положение с хождением по городу до 12 часов ночи.

Разрешаются собрания, митинги, спектакли и прочие зрелища.

Все дополнительные посты по внутренней охране отменяются.

Всем учреждениям, также Особому отделу и Реввоентрибуналу возобновить свои работы с наибольшей энергией.

Всем товарищам, принявшим на себя в связи с обстоятельствами новые дополнительные обязанности, возвратиться к своим прежним обязанностям. Всем партийным уездным комитетам немедленно и самым энергичным образом приняться за подготовку к съезду советов.

Выезд и въезд из города объявляется свободным и на прежних основаниях, по пропускам Особого отдела.

Напоминаю всем партийным товарищам и сознательным гражданам, что верненские события должны быть для нас уроком. Эти события — результат нашей расхлябанности, распущенности, лени, недисциплинированности.

От имени РВС Туркфронта требую от каждого работника полного напряжения его сил в работе на пользу Советской власти и партии коммунистов.

Подлинный подписал командующий силами *Быховский.*

Заместитель военкома *Скалов.*

Начальник штаба *Кондурушкин.*

За время мятежа из крепостных складов растащили все оружие; растащили его и из особого, трибунала, штадива,— отовсюду, где только можно было взять. Его развезли по селам, по деревням, им вооружились инвалиды, часть городских жителей, выпущенные из заключения уголовщики, копало-лепсинские беженцы. Надо было принять спешные меры к возврату. Мы в первый же день организовали массовые облавы,— эти облавы помогали нам проводить партшкольцы, интернационалисты, команды трибунала и особого, часть красноармейцев из карбатальона. Несколько сот винтовок, бомбы, патроны приволокли в штадив. В первый же день на эту тему ахнули и приказ:

ПРИКАЗ № 7.

Военного совета 3-й Туркестанской Стрелковой дивизии. 20 июня 1920 г., гор. Верный.

Во время волнения части Верненского гарнизона на почве провокации темных личностей пропала некоторая часть оружия из артиллерийского склада.

Приказывается немедленно все расхищенное оружие сдать в вещевой склад 3-й Туркестанской

Стрелковой дивизии (угол Торговой и Копальской улиц, дом Пугасова, во дворе).

Все, не сдавшие оружие, будут расстреливаться без суда.

Председатель Военного Совета 3-й Туркестанской Стрелковой дивизии *Дм. Фурманов.*
Член Военного Совета *Белов.*

Мягче было нельзя — именно так требовалось: «будут расстреливаться без суда».

Только эта угроза и помогла,— опасаясь внезапного расстрела, быстро стали оружие возвращать. Двор штадива скоро вовсе заполнили. До того стали вдруг все «исправными», что тащили не только винтовки, но и допотопные револьверы, какие-то старенькие, архивные дробовики.

Быстро собрали массу оружия.

Переписали, рассортировали, убрали.

В первый же день, 20-го, составили воззвание к туземцам области, опубликовали его в газете, отпечатали в огромном количестве листовками и распространили по кишлакам.

Первый день, 20-го, горячка была исключительная: надо было успеть во всем, торопиться за всем по горячим следам. Все члены Военсовета получили разные задачи: кто руководил поимкой мятежников; кто руководил облавами и отбиранием оружия; кто собирал оставшийся документальный материал; кто писал приказы, воззвания и прочее,— всяк руководил определенной областью работы. В штадиве собирались и друг другу сообщали главное,— таким путем все знали обо всем разом.

Поздно вечером пришлось по проводу говорить с Ташкентом, с Куйбышевым. Когда все перетолковали, он заключил мне свой разговор:

— Пользуюсь случаем заявить, что ваша и Белова работа встречена реввоенсоветом одобрением, и за все время событий мы с удовольствием наблюдали вашу энергию и такт.

Он, конечно, тут, по проводу, не мог же перебирать всех. Но следует отметить, что «наша с Бело-

вым работа» только больше была на виду, а по существу дела — руководящую работу делали вместе: Позднышев, Мамелюк, Шегабутдинов, Бочаров, Кравчук, Альтшуллер, мы с Беловым и все другие ребята,— словом, та самая горстка, которая и труд и опасности вынесла на своем горбу.

На этом можно кончить историю мятежа.

Дальше — долавливали непойманных. Петров и с ним еще два-три убежали. Петрова потом пристрелили где-то в деревне, когда кинулся двором к тыну от накрывших его агентов.

Приезжала во главе с Фонштейном сессия фронтового трибунала. Судила. Городскую организацию партии распустили — судили и ее. Человек двенадцать главарей расстреляли. Остальных — разбросали в заключенье или по другим губерниям и городам. Полки, которые было надо перебросить из Семиречья, перебросили. Кулачье семиреченское притихло, убедившись, как трудно бороться с советской властью, как дорого обходятся попытки свалить ее с ног.

Москва, 4 ноября 1924 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

В дневнике Д. А. Фурманова за сентябрь 1923 года есть такая запись:

«Я уж совсем надумал приступать писать большую работу «Таманцы».

И вдруг... Прихожу как-то в Истпарт.

— Материал прибыл из Туркестана...

Смотрю — и в самом деле крепко-накрепко завернутые в синюю бумагу десять объемистых томов: это «Дело о верненском мятеже в июне 1920 года». Целый тюк — фунтов на двадцать весом» [1].

Писатель оставляет прежние замыслы. Присланный материал воскрешает его собственные впечатления о событиях в Семиречье.

Известно, что в августе 1919 года Фурманов был отозван из Чапаевской дивизии и назначен начальником Политического управления Туркестанского фронта. Весной 1920 года, когда сильно обострилось положение в Семиреченской области, Фурманов направляется туда.

Об этом времени вспоминает жена писателя А. Н. Фурманова («Дмитрий Фурманов», Ивановское обл. изд-во, 1941, стр. 64.):

«Тяжелая обстановка в Семиречье заставила Фрунзе направить в г. Верный (ныне Алма-Ата) Фурманова в качестве уполномоченного Реввоенсовета Туркестанского фронта и председателя Военного совета 3-й дивизии.

Реввоенсовет Туркестанского фронта разрешил Фурманову подобрать десятка полтора политических работников для работы в Верном».

---

[1] Архив Института мировой литературы им. Горького (в дальнейшем именуемый: Архив ИМЛИ), II-52, 1579.

«...Перепутанность национальных взаимоотношений, ненадежность гарнизонов и воинских частей в Семиречье,— пишет она дальше,— вызывали тревогу, неимоверно усложняли и затрудняли будущую работу. Реввоенсовет фронта предоставил Фурманову громадные полномочия».

В первых числах марта 1920 года группа политработников выехала из Ташкента.

Впоследствии один из участников событий, выведенный Фурмановым в «Мятеже», поделился своими воспоминаниями:

«Мне пришлось быть вместе с группой Фурманова, когда он отправлялся из Ташкента в качестве уполномоченного Реввоенсовета Туркфронта в Семиречье, в город Верный. Уже в Ташкенте Фурманов начал собирать материалы, характеризующие Семиречье, его экономику, этнографию, а главное — соотношение классовых сил». (И. Никитченко, В дни мятежа (Воспоминания очевидца), газ. «Казахстанская правда», 15 марта 1941.)

За время пребывания в Семиречье Фурманов написал ряд очерков и статей по живым следам событий. Они были опубликованы в семиреченской «Правде» (статьи «Два съезда» — 30 мая 1920 г., «Два освобожденные уезда» — 18 апреля 1920 г., обращение «К крестьянам Чуйской долины» — 6 мая 1920 г.), а также в иваново-вознесенской газете «Рабочий край» («В стране хлопка» — 29 апреля 1920 г., «На китайской границе» — 27 мая 1920 г.).

По своей всегдашней привычке Фурманов многое запечатлел в своем дневнике.

В упоминаемой выше статье И. Никитченко рассказывает:

«В грозные дни, когда сама жизнь висела на волоске, Фурманов ни на минуту не забывал записывать свои наблюдения и впечатления. Нам не раз приходилось видеть Дмитрия Андреевича за его рабочим столом в штабе или в Белоусовских номерах склоненным над дневником или просто над каким-нибудь штабным бланком, испещренным его заметками. Как только удавалось улучить свободную минутку, он заносил свои мысли и наблюдения на бумагу».

В дневниках первой половины 1920 года есть страницы, которые можно рассматривать как заготовки будущего произведения. Это каждодневные записи писателя, в которых описаны события, предшествовавшие мятежу. Они имеют датировку: «1920 г.» и состоят из отдельных глав со следующими названиями: «В пути», «От Бурной», «От Мерке до Пишпека», «Сюгаты», «От Сюгаты

до Верного». Затем под датой «Апрель 1920 г.» идут главы: «Арест Джиназакова и общее положение», «Охота», «Положение», «Первые дни», «С четвертым полком». В 1936 году эти материалы были опубликованы в журнале «Октябрь» (март, № 3).

Очевидно, писатель имел в виду именно эти записи, когда 5 ноября 1923 года отметил в своем дневнике: «Я пользуюсь, как и при писанье «Чапаева», своими записными книжками, кой-что оттуда даже списываю целиком, доподлинно, не изменяя ни единого слова. Но больше — перерабатываю, пишу заново»[1].

В июле 1920 года Фурманов написал очерк «История мятежа в Верном 12—19 июня», опубликованный в верненской газете «Правда» (№ 137). Затем этот очерк был опубликован в журнале «Пролетарская революция» (1923, № 11).

Долгое и тщательное изучение своеобразной и сложной социально-экономической обстановки Семиречья послужило основой для создания «Мятежа».

10 сентября 1923 года автор делает запись в своем дневнике:

«Занят только «Мятежом», только «Мятеж», он один»[2].

Спустя несколько дней (21 сентября) он пишет: «Как делался «Мятеж»:

1. Все присланные десять томов «дела» были просмотрены один за другим, и из каждого выписывалось (отмечалось в книжку, нумеруя том и страницу) самое важное.

2. Вторично читал, уже имея в виду не просто ознакомление с материалом, а определенную систему подготовки самого материала к обработке. И потому положил перед собой десять пустых листов с заголовками «11 июня», «12» и т. д. до 20-го включительно. Каждая страница тома повествовала о деяниях какого-нибудь из тех дней — я эту страницу, этот том и заносил на соответствующий лист. Теперь закончил и эту работу. Получилось, что весь материал разбит по дням — хронологически. Писать буду день за днем — основное в смысле подготовки, пожалуй, что и сделал.

3. Материал есть. Каждый из этих документов — в папку за очередным номером, и, кроме того, за этим же номером вы-

---

[1] Цит. по книге Г. Владимирова «Творческий путь Фурманова», Ташкент, 1953, Госиздат УзССР, стр. 172.

[2] Там же, стр. 173.

писываю на отдельный лист, вкратце указывая, что это за бумага.

4. Теперь все выписки просмотрю, взвешу, обдумаю, скомпаную мысленно в одно целое; прикину примерную последовательность изложения и — айда писать...»[1]

Однако Фурманов не ограничился только этим материалом. В архиве ИМЛИ хранится большой фактический материал, которым пользовался автор в процессе подготовительной работы над «Мятежом». Здесь и сведения о национальном движении на Востоке, о возникновении и развитии басмачества в Фергане, протоколы заседаний верненской партийной организации, декреты Совнаркома Семиреченской области, протоколы Военного совета 3-й Туркестанской стрелковой дивизии и многое другое. Среди них — и те подлинные исторические документы, которые вошли в книгу. «Разбираюсь с уймой документов» [2],— свидетельствует Фурманов в своем дневнике.

Долго не может решить автор, как писать — от собственного имени или от третьего лица.

«Очень опасаюсь,— замечает он в то время,— как бы не вышло бахвальства. А с другой стороны, не хочу и совсем замалчивать наши заслуги и затемнять правду наших дел» [3].

Автор испытывает большую неловкость оттого, что должен выступить главным действующим лицом. Он решает дать предисловие к книге, в котором хочет разъяснить, что материал построен на действительных фактах и что именно ему довелось возглавлять организацию, ликвидировавшую мятеж. В дневнике того времени есть в связи с этим всевозможные записи. Среди них: «Разъяснения по поводу «Мятежа», конспективная запись предполагаемого предисловия и пр.

С особой остротой вновь возникает проблема жанра произведения.

«Как писать? Этот вопрос стал передо мною как и тогда, когда зарождался «Чапаев». Не знаю. Право, не знаю. Повестью? Но там будет немало и подлинников-документов» [4].

---

[1] Д. А. Фурманов, Сочинения в трех томах, Гослитиздат, 1952, т. третий, стр. 238.

[2] Архив ИМЛИ, II-62, 1579.

[3] Там же.

[4] Г. Владимиров, Творческий путь Фурманова, Ташкент, 1953, Госиздат, УзССР, стр. 174.

Долгие поиски формы — как и в работе над «Чапаевым» — определялись стремлением автора с абсолютной точностью передать события во всем их неповторимом своеобразии. Фурманов считал это своей первейшей обязанностью и своим партийным долгом. Потому так органически вплетены в повествование всевозможные документы, воззвания, листовки, телеграммы. Потому, надо думать, автор в конечном счете отказался от любовно-романтической линии, намечавшейся в первоначальных набросках, где он писал:

«Ввести такой элемент: Мамелюк, влюбленный в Наю, желающий овладеть ею, и, следовательно, избавиться предварительно от меня — тайно пробирается в крепость, изменяет нам и подговаривает всех нас арестовать, расстрелять, а для виду арестовать и его. Тот, кому он это в крепости говорил (положим, Караваев), впоследствии на следствии все открывает, и Мамелюка сессия арестовывает. На суде он все откровенно рассказывает, говорит пламенно о пламенной любви своей к Нае. Его приговаривают к расстрелу. Ная молит меня спасти его. Грубая сцена ревности, и мой гнев на ее просьбу, укоры: «Он же изменник, подумай, за кого ты просишь! Надо в таких случаях забыть о личных симпатиях. Дело и борьба выше всего! Его надо расстрелять» [1].

По той же причине, возможно, не было использовано автором в книге и лирическое его обращение к жене и другу, товарищу по работе А. Н. Фурмановой, которое он писал в мятежной крепости, ожидая расстрела.

Здесь еще раз сказалась его особая скромность, нежелание акцентировать внимание читателя на своей личности.

В некоторых записях Фурманов называет «Мятеж» «историческим очерком», но в черновой записи оглавления помечено: «Мятеж» (роман)» [2]. Кроме того, в заметке с добавлениями к книге также значится: «В «Мятеж» (роман)» [3].

В процессе работы над произведением творчески переосмыслялись дневниковые записи. Так в главе «От Бурной» упоминаемых выше дневников есть сухая и лаконичная запись о вознице — мужичке из новоселов: «Мужичок-украинец, из новоселов (новоселами называются переселенцы, явившиеся сюда всего не-

---

[1] Архив ИМЛИ, II-62, 2022.
[2] Там же, 2029.
[3] Там же, 2022.

сколько лет), попавшийся нам возницей, оказался весьма смышленым хозяином, порядочным человеком и «прогрессивным» работником, сочувствующим коммунистической партии. От него мы узнали, что новоселы с киргизами живут довольно дружно, что вражда идет только между киргизами и старожилами-переселенцами, кулаками-колонизаторами; что новоселы сочувствуют советской власти, а старожилы ее ненавидят и т. д.»[1]. В книге этот возница получает имя Ивана Карпыча, его образу умного рачительного хозяина, радушного человека, глубоко сочувствующего советской власти, посвящена целая подглавка. В живом и непосредственном диалоге с ним автору удается раскрыть очень существенные стороны жизни Семиречья, особенности ее социальных конфликтов.

В дневнике о таком кульминационном моменте, как митинг в мятежной крепости, сказано лишь в нескольких словах: «Вчера, 13, часа в 3—4 отправились в крепость. Я говорил больше часу, и масса стояла молча»[2]. От этой скупой дневниковой записи писатель идет к созданию самой драматической в произведении сцены, где уполномоченный произносит свой знаменитый монолог, проникнутый глубокой мыслью о партийном долге и коммунистической морали.

В главе из дневника «От Мерке до Пишпека» лишь затронут один из узловых вопросов, получивших свое развитие в книге. Сущность его изложена в одном-единственном абзаце:

«После, примерно, часового разговора на разные политические темы мы подошли к тому, о чем крестьянин может говорить без отдыха три дня и три ночи — к земельному вопросу. Выяснилось, что киргизское население не сможет запахать тех наделов, которые получило. В силу исторических обстоятельств, в силу того, что привычка к скотоводчеству и недостаток с/х инвентаря — оставляет киргиза далеко позади от русского крестьянина...»[3].

В книге автор сумел передать всю сложность и остроту этого «земельного вопроса», используя высказывания самих крестьян, тонко раскрывая их психологию и настроения.

Многое же из дневников, как писал и сам автор, почти целиком вошло в книгу. Это касается главным образом описаний природы, этнографических особенностей края и проч.

---

[1] Журнал «Октябрь», 1936, № 3, стр. 172.
[2] Архив ИМЛИ, II-62.
[3] Журнал «Октябрь», 1936, № 3, стр. 174.

Фурманов закончил работу над рукописью 25 сентября 1924 года. Но до 4 ноября он продолжал еще работать над нею. В основном это была стилистическая правка.

Первые две части рукописи подверглись незначительным переделкам.

Тщательнее работал Фурманов над третьей — кульминационной главой — «Мятеж». Страницы с описанием митинга в крепости испещрены авторскими поправками.

Вот отрывок из начала главы:

«В грозной обстановке грянул мятеж. Сытое крестьянство проклинало советскую диктатуру, не хотело хлеб отдавать по продразверстке, изгоняло и убивало продовольственных агентов, издевалось над приказами советской власти и, вооруженное, чувствовало себя спокойно, надежно, в безопасности.

А тем более теперь, когда освободилась эта *крестьянская армия* — она штыком и пулей подтвердит любое требование, что выставят мужички!

Но все это глохло пока внутри: нужен был какой-то повод, который прорвал бы заставы и тогда...

Она будет — она непременно будет, но где, как начнется? Какая форма? Какая сила? Мы ничего не могли провидеть сквозь нависшую мглу больших и малых тревог. (Ждали)».

В этом тексте появляются замены и добавления, существенные по своему содержанию: вм. «крестьянская армия» — «свойская, семиреченская армия»; к глаголу «глохло» добавляются: «зрело, копилось, готовилось к действию», что усиливает впечатление напряженности обстановки, ожидания катастрофы.

Интересно, что в первоначальном рукописном варианте внутренний монолог уполномоченного был гораздо менее динамичен, в нем отсутствовали повелительные интонации, та форма наказа, призыва, которая сообщает этому отрывку такую силу и выразительность:

«...Ты ведь не на празднике, а посреди мятежной, грозной стихии... Ты *постарайся узнать...* те нужды, которыми жила толпа за две минуты до этого митинга...»

В новой редакции описательные обороты «ты постарайся узнать» заменяются категорическим требованием: *«узнай»*. Появляется афористичность и отточенность формул: «ты не на празднике — ты на поле брани, будь, как воин, вооружен до зубов» и т. д.

В архиве ИМЛИ хранится и машинописный текст романа. Он не имеет почти никаких расхождений с законченной рукописью.

До выхода книги в свет в журналах публиковались отрывки из «Мятежа». В «Молодой гвардии» за 1924 год была напечатана первая глава романа «По Семиреченскому тракту» (№ 9 и 10); в журнале «Красная новь» в разделе «Из прошлого гражданской войны» печатались отдельные отрывки из романа (1925, № 1).

В марте 1925 года «Мятеж» вышел первым изданием в Госиздате, с подзаголовком: «Очерки революционной борьбы в Семиречье» и с предисловием А. С. Серафимовича. В этом же году появилось и второе издание. Третье издание вышло в 1926 году, составив II том подготавливаемого самим автором собрания сочинений. Книга вышла спустя несколько месяцев после смерти писателя. По этому изданию делались все последующие публикации. В основе текста настоящего собрания сочинений также лежит текст третьего издания. В соответствии с ним восстановлены и все имена действующих лиц.

Между этими тремя изданиями «Мятежа» нет значительных расхождений. Фурманов почти не исправлял его, готовя к новому изданию. Те разночтения, которые существуют, касаются замены отдельных слов и выражений и не носят принципиального характера.

Вместе с драматургом С. Поливановым Фурманов написал пьесу «Мятеж». Была инсценирована, в основном, третья часть романа. 12 декабря 1925 года в «Правде» сообщалось о том, что эта пьеса принята к постановке Театром революции, она была поставлена и театром имени МГСПС.

По роману Д. А. Фурманова композитором Л. А. Ходжа-Эйнатовым была создана опера «Мятеж» (впервые поставлена 21 июля 1938 года в Ленинграде в Академическом Малом оперном театре).

Интерес к «Мятежу» не был случайным. Как характеризовал его А. С. Серафимович в своем предисловии к первому изданию: «...это кусок революционной борьбы, подлинный кусок, с мясом, с кровью, рассказанный просто, искренно, честно, правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно» [1].

---

[1] Дмитрий Фурманов, Мятеж, 1925, Госиздат, М.— Л., стр. 3.

Позднее в статье «Умер художник революции» А. С. Серафимович рассказал о своем читательском восприятии книги.

«...я читал «Мятеж». Я читал всю ночь напролет, не в силах оторваться, перечитывал отдельные куски, потом долго ходил, потом опять перечитывал. И я не знал, хорошо это написано или плохо, потому что не было передо мной книги, не было комнаты, я был в Туркестане, среди его степей, среди его гор, среди его населения, типов, обычаев, лиц, среди товарищей по военной работе, среди мятежников, среди удивительной революционной работы» [1].

М. Сотскова

---

[1] А. Серафимович, Собр. соч., 1948, Госиздат, т. X, стр. 336.

СОДЕРЖАНИЕ

МЯТЕЖ

Дмитрий Андреевич
Фурманов

Собрание сочинений, т. 2

Редактор *А. Ноткина*
Художественный редактор
А. Лепятский
Технический редактор *Ф. Артемьева*
Корректоры *Э. Зайчикова*
и *Е. Патина*

*

Сдано в набор 7/VII-1960 г.
Подписано к печати 11/XI-1960 г.
A09283. Бумага 84×108 1/32—12,75 печ.
л.=20,91 усл. печ. л. 19,36+4 вкл.=
=19,56 уч.-изд. л. Тираж 60 000.
Заказ № 1010.
Цена 8 р. С 1/I-1961 г. цена 80 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа.
Минск, Красная, 23.